

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1977

СОДЕРЖАНИЕ

К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Филин Ф. П. (Москва). Советское языкознание: теория и практика . . .	3
Березин Ф. М. (Москва). Советскому языкознанию — 60 лет	13

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Пiotровский Р. Г. (Ленинград), Бектаев К. Б. (Чимкент). Машинный перевод: теория, эксперимент, внедрение	27
Чернышева И. И. (Москва). Актуальные проблемы фразеологии . . .	34
Таджиев Д. Т. (Душанбе). Проблемы изучения сложноподчиненного предложения	43
Милославский И. Г. (Москва). Синтез словосочетания и производного слова	53
Поцелуевский Е. А. (Москва). Сравнительная степень и свободное употребление прилагательных	62

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Боголюбов М. Н. (Ленинград). Датировки в арамейских надписях эпохи Ашоки	72
Раевский М. В. (Тула). Основа презенса глаголов на <i>-jan</i> и статус удлиненных согласных в западногерманском	78
Тарланов З. К. (Петрозавдск). Опыт системного анализа личных местоимений в восточнолегуинских языках	89
Еремينا Л. И. (Москва). Поэтика психологически мотивированного слова	97
Рогожников Р. П. (Ленинград). Об эквивалентах слова в русском языке	110
Богатова Г. А. (Москва). Типология слова и историческая лексикография	117
Пюрбеев Г. Ц. (Москва). О некоторых инновациях в синтаксисе предложения монгольских языков	125

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Дзедзелевский И. А. (Ужгород). <i>М. Г. Булахов</i> . Восточнославянские языковеды	132
Ахманова О. С. (Москва). <i>Р. А. Будагов</i> . Человек и его язык	137
Пазухин Р. В. (Ленинград). <i>Ю. С. Степанов</i> . Методы и принципы современной лингвистики	140
Верещагин Е. М. (Москва). <i>Ф. М. Березин</i> . Русское языкознание конца XIX — начала XX в.	145
Инфантова Г. Г. (Таганрог). <i>О. А. Лаптева</i> . Русский разговорный синтаксис	149
Мокиенко В. М. (Ленинград). <i>К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова</i> . Фразеологичен речник на българския език	155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1, комн. 64.

Зав. редакцией *И. В. Соболева*



ФИЛИН Ф. П.

СОВЕТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

За шестьдесят лет советское языкознание прошло большой и сложный путь¹. В небольшой юбилейной статье можно наметить лишь некоторые, наиболее характерные его особенности.

Как известно, в нашей стране языкознание имеет давние традиции. Оно было представлено такими именами, как М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, И. И. Срезневский, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртене, А. А. Шахматов, целой плеядой блестящих востоковедов. Вклад дореволюционных лингвистов в отечественное и мировое языкознание очень значителен. Однако не следует забывать, что в условиях царской России достижения языковедов, независимо от намерений последних, были известны лишь узкому кругу лиц. Языкознание (как и другие научные дисциплины) было наукой для немногих, кто мог получать достаточное образование. Только после Великой Октябрьской социалистической революции в процессе бурного развития народного просвещения оно становится наукой для масс. Создается письменность для многих ранее бесписьменных народностей, возникают новые литературные языки, расширяются их функции. Происходит культурная революция, без которой было бы невозможно построение социалистического общества. В проведении культурной революции значительная роль принадлежала советским языковедам. Надо было усовершенствовать правописание старописьменных языков, исследовать происходившие в них изменения, создать новые алфавиты, разработать теоретические основы вновь складывавшихся литературных языков, подготовить огромное количество программ, учебников и учебных пособий для всех звеньев народного образования, широко развернуть лексикографическую работу.

Со всеми этими задачами важного государственного значения советские языковеды справились с честью. Неправильно полагать, что эта огромная практическая работа проводилась будто бы вслепую, без соответствующего развития теории языкознания. Заново, на марксистско-ленинской основе осмысливалась сущность языка, его общественная обусловленность и его роль в обществе, получила мощный импульс разработка теории национальных языков, взаимоотношения литературных языков и диалектов, возникли оригинальные направления в фонологии и т. д. Без серьезного развития теории языкознания осуществление громадного языкового строительства, проведенного в нашей стране, было бы невозможно.

Происходит значительное расширение круга изучаемых языков. Многие ранее малоизвестные или вовсе неизвестные языки народов СССР (не говоря уже о бесчисленных диалектах) позволяют открывать много

¹ История советского языкознания еще не написана, хотя фрагментов ее опубликовано немало. Самыми значительными из них являются книги: «Советское языкознание за 50 лет» (М., 1967) и «Теоретические проблемы советского языкознания» (М., 1968).

нового и даже неизвестного в свойствах языка и его развития. Индоевропеоцентризм, суживавший рамки языкознания, перестает доминировать в разработке теоретических проблем. На базе фактов прежде всего языков народов СССР возникают концепции типологии перодственных языков, универсальные историко-лингвистические построения (пусть во многом гипотетические). Создано сводное описание всех языков нашей страны².

Устранение индоевропеоцентризма вовсе не означало, что интерес к изучению индоевропейских языков ослабел. Наоборот, в советскую эпоху бурно развивается славистика, особенно исследование русского, украинского и белорусского языков, возникают оригинальные и разветвленные школы германистов и романистов, в разной степени изучаются все известные науке индоевропейские языки, живые и мертвые. Советские языковеды в настоящее время исследуют языки народов черной Африки, коренного населения Америки и Австралии, всех континентов земли. Ведется расшифровка письменности майя, протоиндийских и ряда других загадочных письмен. Фронт наших лингвистических исследований стал общемировым.

Такой разворот работ потребовал огромного роста кадров языковедов. До революции языковедов было несколько сотен. Географически они распределялись крайне неравномерно (работали они в основном в Петербурге, Москве и в немногих тогда университетских городах). Теперь в научно-исследовательских институтах, университетах и педагогических институтах имеется несколько десятков тысяч лингвистов, исследователей и педагогов. Выросли мощные лингвистические центры на Украине, в Белоруссии, Грузии, Армении и в других союзных республиках. Печатается много языковедческих журналов и неперiodических изданий, выходит в свет огромное количество книг, сборников, брошюр. Можно без преувеличения сказать, что наша страна благодаря Октябрю стала великой лингвистической державой.

В чем заключаются особенности советского языкознания на протяжении его истории и теперь? На этот вопрос ответить очень непросто, так как среди советских языковедов существовало и существует много различных направлений и школ, что представляет собою нормальное явление в развитии любой науки, без чего немислимо продвижение вперед в познании языка, его закономерностей. Следует только определить, в чем состоит различие между направлениями и школами.

Критерием тут является отношение к единственно верной основе познания мира — марксизму-ленинизму, неизбежность основ которого подтверждена всем ходом истории современного общества. Решение частных проблем, связанных со спецификой языка, описание различных явлений может быть неодинаковым, так как нам многое еще остается неизвестным. Если различие в освещении тех или иных вопросов не противоречит положениям марксистско-ленинской философии, существование научных школ и направлений вполне оправдывается. Имеются, например, разные гипотезы о времени и месте образования и распада праславянского языка, об условиях и времени происхождения аканья и оканья в славянских языках, о том, существует ли в современном русском языке фонема /ы/ или нет и т. д., и т. п. Различия в мнениях по такого рода бесчисленным вопросам, которыми постоянно приходится заниматься языковедам, обычно не имеют прямой философской значимости. Все здесь зависит от достаточности или недостаточности фактической аргументации. На этом уровне можно говорить о едином мировом языкозна-

² См. пятитомный труд «Языки народов СССР», М., 1966—1968.

нии, когда явления и их связи не служат специальным доказательством какой-либо философской концепции. Хорошо написанная грамматика японского языка, независимо от философской направленности ее автора, нужна всем, кто изучает японский язык или хочет извлечь из нее нужные сведения. Это не значит, однако, что все разные направления и школы являются одинаково ценными и продуктивными. Критерием их оценки является практика.

Конкретно-описательная сторона познания играла и всегда будет играть огромную роль в науке. Без хорошо проверенных фактов не может быть сколько-нибудь серьезной лингвистической теории. Однако из этого вовсе не следует, что языкознание принадлежит к таким научным дисциплинам, которые не имеют отношения к философии. Поэтому нельзя не пожалеть о том, что даже среди некоторых советских языковедов бытует мнение, будто бы неизвестно, что в языкознании является марксистским и что не марксистским, или что марксистско-ленинская философия определяет лингвистические исследования только «в конечном счете», причем остается совершенно неясным, как можно расшифровать выражение «в конечном счете» (это «в конечном счете» может обозначать и нечто необязательное, стоящее на заднем плане). Делаются даже попытки создавать универсальные лингвистические концепции, которые могли бы примирить и объединить любые методологические направления. Все подобного рода рассуждения — или плод недоразумения или желание приоткрыть двери для чуждых подлинной науке философских взглядов. Классики марксизма-ленинизма неопровержимо доказали, что не может быть научных дисциплин, стоящих вне философии.

Правильно понять структуру языка, его общие свойства и закономерности его развития, взаимоотношение языка и мышления и их отношение к объективной действительности, социальную обусловленность языка и роль языка в обществе, происхождение языка, историю языка, неразрывно связанную с историей племен, народностей и наций, и многое другое, что относится к существенным характеристикам языка и происходящим в них процессам, можно только при условии творческого применения марксистско-ленинской методологии. Главной особенностью советского языкознания на протяжении всей истории его развития являются поиски построения марксистско-ленинского учения о языке, и в этом отношении у нас имеется немало достижений. Именно в этом заключается специфика советского языкознания, в этом его важнейшие заслуги перед мировой наукой о языке. Марксистское языкознание начинает развиваться и в других социалистических странах, его представители имеются и за их пределами. Ему принадлежит будущее.

Путь к построению марксистско-ленинской лингвистики был и будет не прост. Имели место ошибки и срывы. Н. Я. Марр, И. И. Мещанинов и их последователи ставили перед собой задачу создать марксистскую науку о языке, но выполнить ее не сумели, допустив вульгарно-материалистические и иные промахи. В связи с этим недоброжелатели советского языкознания поспешили заявить, что после «падения Н. Я. Марра» из-под советской лингвистики будто бы была «выбита методологическая основа и образовался теоретический вакуум». А коль скоро возник вакуум, то он должен был заполняться «новыми и новейшими» модными «теориями», имеющими хождение на Западе. Подобного рода заявления совершенно не соответствуют действительности. Более того, их следует назвать клеветническими. Конечно, советские языковеды не отгораживались и не будут отгораживаться от западноевропейского языкознания, изучают его и используют его конкретно-исследовательские достижения. Однако некоторая часть наших лингвистов стала некритически заимствовать

всякого рода идеалистические взгляды западноевропейских лингвистов-методологов и пропагандировать их как новейшие открытия в науке о языке. Но эти некритические заимствования не отражали и не отражают коренных процессов, происходящих в советском языкознании. К тому же шумиха, поднятая вокруг некоторых «модных теорий», резко пошла на спад (и не только в нашей стране). После «падения Н. Я. Марра» никакого теоретического вакуума не образовывалось.

Во-первых, работы Н. Я. Марра, И. И. Мещанинова и тех советских лингвистов двадцатых — сороковых годов, которые так или иначе находились под влиянием их теории, отнюдь не были сплошными ошибками и недоразумениями³. В этих работах было поставлено много проблем, без освещения которых невозможно построение общей теории языкования. Язык был признан социально обусловленной категорией, порожденной обществом, что и теперь не вызывает сомнений. В связи с этим был поставлен вопрос о реконструкции всей картины развития языка, начиная от времени его происхождения до наших дней. Поскольку человеческое общество развивалось, проходило (и проходит) разные этапы своей организации, имел место и прогресс языка. Это тоже несомненно. Языков имелось и имеется очень много, каждый из языков обладает своими характерными особенностями, но у всех языков в их прогрессивном развитии должно быть что-то общее, которое пусть опосредствованно, но должно так или иначе соответствовать изменениям, происходившим на протяжении многих тысячелетий в обществе. Так возникла стадиальная теория языка.

Идея стадиального развития языка сама по себе не нова (ср. гипотезы Гумбольдта, Шлейхера и др.), но в работах советских языковедов двадцатых — сороковых годов она была впервые ориентирована на марксистское учение об обществе. Стадиальная теория в связи с допущенными серьезными ошибками и трудностями объективного характера себя не оправдала, но это не означает, что проблема прогресса языков мира, связанного с развитием общества, скомпрометирована. Для ее решения важно определить существенные признаки, общие для всех (или больших групп) языков, и найти их общественное содержание. Язык имеет внутренние законы развития, но не все в них имманентно. В ряде работ советских лингвистов того времени (В. И. Абаева, К. Р. Мегрелидзе, С. Л. Быховской, особенно С. Д. Кацнельсона и др.) было немало сделано важных наблюдений по истории языка и мышления на материалах различных языков, не утративших своего значения и теперь. Лучшие традиции советских языковедов двадцатых — сороковых годов остались актуальными. Особенно следует отметить, что с тридцатых годов значительное развитие получают тинологические исследования, для чего имелись исключительно благоприятные условия благодаря наличию в Советском Союзе большого количества языков самого различного строя. Эти исследования стимулировались практическими потребностями описания фонетико-фонологического и грамматического строя, а также словарного состава этих языков, которые до революции в большинстве своем были слабо или вовсе не изучены. В указанной области лингвистических исследований возникли оригинальные научные направления. Так, И. И. Мещаниновым и его последователями были намечены прин-

³ Попытка оценить труды Н. Я. Марра *sine ira et studio* предпринята в статьях: В. И. Абаева, Н. Я. Марр (1864—1934). К двадцатипятилетию со дня смерти, ВЯ, 1960, 4; Р. Р. Гельгардт, Некоторые общелингвистические идеи и фольклористические интересы акад. Н. Я. Марра в освещении научной критики, ВЯ, 1976, 3. Не следует забывать, что Н. Я. Марр был крупнейшим филологом-кавказоведом, избранным еще до первой мировой войны действительным членом Российской академии наук.

ципы синтаксической типологии языков, учитывающие различия в структуре предложения, слова и грамматических категорий. Типологическая классификация велась и продолжает вестись современными советскими лингвистами на основе учета как формальных, так и содержательных признаков явлений грамматического строя. В частности, в этой связи И. И. Мещаниновым была выдвинута теория «понятийных категорий», во многом предвосхитившая исследования языковых универсалий, которые широко ведутся в наше время в советском и зарубежном языкознании.

Во-вторых, ошибочно отождествлять советское языкознание первых десятилетий его истории с «новым учением о языке» Н. Я. Марра. В это время работала большая когорта советских лингвистов, которая шла к марксизму в науке о языке независимыми от Н. Я. Марра путями. Успехи этих языковедов были значительными. В частности, советские (а не американские) языковеды заложили основы современной социолингвистики. Неодинаковая социальная обусловленность разных уровней языка, социальные диалекты, своеобразное использование языковых средств разными классами и классовыми прослойками на разных этапах истории, роль языка в обществе, культура и язык и иные вопросы этой области знания широко освещались в работах В. Ф. Шишмарева, В. М. Жирмунского, Н. М. Каринского, Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского, Б. А. Ларина и многих других ученых. Тот, кто судит о происхождении и развитии современной социолингвистики непредвзято, хорошо знает фактическое положение дел. Например, швейцарский профессор П. Бранг в своем докладе «Über die Aufgaben der sprachsoziologischen Forschung, vornehmlich am Beispiel der russischen Literatursprache» на VII Международном конгрессе славистов, состоявшемся в Варшаве в августе 1973 г., признал, что советская социолингвистика двадцатых — тридцатых годов занимала ведущее место в мире.

После некоторого спада в пятидесятые годы, вызванного известными всем событиями, советская социолингвистика вновь начинает развиваться успешно. Свидетельством тому являются известные работы И. К. Белододеда, Р. А. Будагова, М. М. Гухман, Ю. Д. Дешериева, Л. Б. Никольского, А. Д. Швейцера и многих других наших современников. Социолингвистика — емкая дисциплина. Она охватывает все стороны воздействия общества на язык и роль языка в обществе, его воздействия на общественное развитие. Таким образом, социолингвистика является одним из краеугольных камней общей теории языка.

Советская социолингвистика, опираясь на марксистско-ленинское учение об обществе, имеет громадное преимущество над немарксистскими социолингвистическими направлениями, поскольку она руководствуется объективными законами общественного развития. Современные немарксистские социолингвисты (прежде всего американские) накопили много интересных наблюдений, очень полезных для дальнейшего развития теории языка, но они беспомощны в должной классификации материалов и в объяснении социальных причин языковых изменений. Их схемы, игнорирующие классовую структуру капиталистического общества, во многом оказываются надуманными и искажающими фактическое положение дел. Чтобы избежать путаницы, необъективности и получить правильную перспективу, нужно иметь ясное представление о классовой структуре общества, антагонистичной в досоциалистическую эпоху и гармоничной при зрелом социализме, об объективных законах общественного развития.

Специфической особенностью советского языкознания, относящейся также к социолингвистике в широком смысле этого слова, является

учение о национальных языках и донациональном языковом состоянии. Как известно, язык — один из важнейших признаков нации, а сама нация — историческая категория, возникающая в процессе становления буржуазного склада общества. Для национального языка характерно образование полифункциональных литературных языков (охватывающих все виды языкового общения) с нормами, обязательными для всех образованных людей, замедление диалектного дробления и затем увыстриющийся процесс отрицания диалектной раздробленности. В нацию входит все население, объединенное общностью языка, территории, экономической жизни и психического склада (проявляющегося в общности культуры). Как показала дискуссия, проведенная несколько лет тому назад на страницах журнала «Вопросы истории», признаки нации могут варьироваться, но сущность ее определения остается неизменной. Из этого следует, что национальный язык и литературный язык не являются тождественными категориями, как полагают некоторые наши лингвисты. Если бы мы национальным называли только литературный язык, то впади бы в непримиримое противоречие с марксистско-ленинским определением нации. Общность языка — один из обязательных компонентов нации. Если бы мы отождествили литературный язык с национальным языком, то должны были бы исключить из состава нации всех, кто не владеет или теперь не владеет литературным языком. В эпоху Пушкина подавляющее большинство русского населения было неграмотно и говорило только на диалектах и нелитературном городском просторечии. Из кого же в то время состояла русская нация, которая уже несомненно существовала? Да и в наше время еще миллионы русских пока не в достаточной степени владеют литературным языком и говорят на полудиалектах, а некоторая часть населения сохраняет архаические говоры. Национальный язык — язык нации во всех его разновидностях (исключая отмирающие теперь условные жаргоны, понятные только узким кругам лиц), объединенных общей основой (житель Архангельска хорошо понимает курянина, если даже не прибегает к литературному языку), среди которых ведущая, определяющая роль принадлежит литературному языку. Конечно, каждый национальный язык имеет свои специфические особенности (разная степень диалектной расчлененности, своеобразие соотношений разновидностей языка и т. п.), но общее — происхождение в эпоху становления капитализма и принадлежность к важнейшим особенностям самой нации — остается у всех национальных языков.

Литературный язык существовал у многих народностей задолго до возникновения национальных связей, когда наций еще не было (ср. хотя бы высокоразвитые древнегреческий и латинский литературные языки). Сами термины «национальный язык» и «литературный язык» обычно не смешиваются (по крайней мере в марксистской литературе), что уже само по себе свидетельствует о несовпадении их содержания. Если бы они были абсолютными синонимами, то один из них был бы лишним.

Марксистско-ленинская история (всеобщая и частная) является важным ориентиром для построения истории как отдельных языков и их семей (групп), так и языка как существеннейшей особенности всех людей, начиная с древнейших времен до наших дней. В свою очередь данные языкознания дают много ценных сведений для истории человечества. Установка на исторический материализм, стремление использовать его громадные возможности — характерная черта советского языкознания.

То, о чем говорилось выше, обычно относят к «внешней лингвистике». Нужно сказать, что деление науки о языке на лингвистику внутреннюю и внешнюю очень условно, так как в языке все имеет общественную значи-

мость, поскольку язык является средством общения. Все же как обстоит дело с так называемой внутренней лингвистикой?

Как «устроен» язык — этот вопрос всегда был и остается центральным в языкознании. Подавляющее большинство лингвистических работ, общих и частных, теоретических и сугубо практических, посвящено этой проблеме. Язык — особого рода система, присущая только человеческому обществу и порожденная им, универсальное средство общения, накопления и передачи знаний. Система эта имеет чрезвычайно сложную структуру, элементы которой так или иначе взаимосвязаны между собой так, что изменение одного звена явлений обычно влечет за собой изменение других звеньев. Возникнув, язык приобретает определенную самостоятельность, свои особые внутренние законы, что и объясняет наличие на земном шаре множества различных языков, средствами которых может передаваться одно и то же содержание. Это свойство языка не позволяет прямолинейно сводить его структуру и ее изменения к структуре общества и его истории (попытки делать это приводили к вульгарно-материалистическим извращениям). В то же время самостоятельность языка не абсолютна, а относительна, поскольку все изменения в нем происходят в процессе общения. Толчком к изменениям всегда являются те или иные общественные причины (социально-классовые сдвиги, рост производства и культуры, а также и упадок их, что бывало в истории, перемены в окружающей среде, воздействие других языков и диалектов и многие другие факторы, которые нередко трудно поддаются учету).

В конкретно-описательных работах, особенно когда речь идет о фонетико-фонологических и грамматических уровнях, задача установить опосредствованное воздействие на язык общественных причин обычно не ставится, что вполне оправдывается поставленными исследователями целями. Однако, если самостоятельность языка возводится в абсолют и общественным факторам не придается должного значения, вступает в свои права философия. Признание полной независимости языка от общества (уподобление его «естественному порождению», своего рода биологическому феномену, имманентной саморазвивающейся системе и т. п.) представляет собой философский идеализм, научная несостоятельность которого доказана марксизмом-ленинизмом. Для советского языкознания абсолютизация независимости языка от общества несвойственна, тогда как в немарксистском языкознании ее разновидности представлены очень широко.

Вечным вопросом языкознания является проблема языка и мышления. Советские языковеды, опираясь на марксистско-ленинскую философию, на теорию отражения В. И. Ленина, не отождествляя язык и мышление, утверждают их диалектическую взаимосвязь. Язык, являясь средством выражения мышления, отражающего независимую от нашего сознания объективную действительность, оказывает воздействие на мышление. Это положение отнюдь не безразлично для исследования грамматических категорий, в частности, структуры предложения, да и других сторон языка. Разного рода грамматические концепции, которыми переполнено немарксистское языкознание, фактически отрывают язык от мышления (то мышление способно произвольно «порождать» языковые конструкции, то специфика языка определяет само видение мира и т. д.). Извечная борьба материализма и идеализма, постоянно принимая новые формы, продолжается и в современном языкознании. Само языкознание нередко используется в мировоззренческих целях. Достаточно хотя бы упомянуть различные школки «лингвистической философии» или попытки представить «порождающий механизм языка» как биологически унаследованное от родителей явление.

Крайне важным является понимание характера структуры языка и языковых изменений. Как известно, лингвистический структурализм (всех его направлений) провозгласил системность языка как его главную особенность и противопоставил системный подход к языку «атомарному». Это верно, что языковые явления взаимосвязаны и составляют макро- и микросистемы, которые нередко создают сложные переплетения. Однако неверно полагать, что системные отношения, связи являются в структуре языка главным или даже всем, а сами явления языка, их материальные субстанции — это нечто второстепенное или даже ничто (вспомним хотя бы о фонемах, которые, с точки зрения некоторых лингвистов, будто бы представляют собой всего лишь лишённые какой-либо материальности точки пересечения фонологических отношений). Неверно также представлять себе языковую систему как отлаженную логико-математическую структуру наподобие счётно-решающего устройства, в которой все изменяется по заранее заданной программе. Кто же мог подготовить, «задать» для языка такую программу, какое-то высшее существо? Но ведь наука и вера в бога (пусть математического) несовместимы. Язык полон противоречий, как противоречива сама жизнь, которую он отражает, его развитие шло и идет через преодоление созданных в нем обществом противоречий. Лингвистический структурализм создал различного рода полезные приемы описания языка, которые используются и должны быть использованы в марксистском языкознании, добыл немало разного рода позитивных сведений о языке, но практически в своих установках антиисторичен, а в философском смысле представляет собой одну из разновидностей идеализма, поэтому в методологическом отношении он для нас неприемлем. Задача существующих в нашей стране секторов (отделов, групп) структурной лингвистики, работу которых мы поощряем, ограничена: исследовать такие аспекты языка (а они имеются), которые поддаются математическим описаниям. Такие исследования могут иметь не только прикладное, но и теоретическое значение как составной элемент марксистско-ленинской науки о языке.

Начатки материалистического подхода к языку, к его внутренним закономерностям, имелись еще в языкознании первых веков его истории. Много верных методологических наблюдений имеется в трудах классиков дореволюционной отечественной лингвистики (я не говорю уже о богатейшем фактическом наследстве, оставленном нам ими). После Великой Октябрьской социалистической революции ориентация на диалектический материализм принимает все более целенаправленный характер. И. И. Мещанинов, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, А. Н. Гвоздев, Л. А. Булаховский, В. М. Жирмунский, Г. О. Винокур, Л. П. Якубинский, Д. В. Бурбих, Н. В. Юшманов, Д. Н. Ушаков, Б. А. Ларин, в двадцатые — сороковые годы принадлежавшие к младшему поколению лингвистов С. Д. Кацнельсон, А. И. Смирницкий, В. Н. Ярцева, М. М. Гухман, А. К. Боровков, А. Н. Кононов, Р. И. Аванесов, В. И. Борковский, Т. П. Ломтев, А. А. Холодович и многие другие, каждый по-своему и на разных материалах, разрабатывали такие важные проблемы, как структура предложения и его члены, грамматические категории, слово и его характерные признаки, учение о форме и содержании, сущность фонемы и еще длинный ряд явлений, исследование которых в их совокупности составляет общее учение об «устройстве» языка.

К настоящему времени советская литература о внутренней структуре языка, имеющая теоретическое значение, стала необозримо огромной, и называть имена и работы, не боясь впасть в субъективизм, очень трудно. И все же из этой литературы я бы выделил прежде всего работы В. Э. Панфилова, посвященные проблемам взаимоотношения язы-

ка и мышления, грамматики и логики, истории ряда грамматических категорий (например, числа и числительных), В. М. Солнцева (о языке как знаковой системе), О. С. Ахмановой, Р. А. Будагова, А. М. Бабкина, А. П. Евгеньевой, О. Н. Трубачева, Н. М. Шанского, Д. Н. Шмелева (о слове и лексической семантике, о фразеологизмах), Г. А. Климова (о диахронии структур предложения), А. В. Бондарко, В. И. Кодухова, Ю. С. Маслова, особенно Н. Ю. Шведовой (о грамматических категориях), Н. С. Чемоданова, Ф. М. Березина (история лингвистических учений)... Список этот можно было бы легко продолжить.

Иногда спрашивают (и не без подтекста), кого (и какие работы) можно назвать типичными представителями советского языкознания? На это нужно ответить так: советское языкознание представляет громадный коллектив лингвистов, стоящих на позициях марксистско-ленинской методологии, создавший огромную литературу. Советское языкознание настолько богато и разносторонне, что достижения его невозможно уложить в сжатые формулы. В нем имеется много школ и направлений. Но оно существует как методологическое целое, а не только как географическое понятие. Творческое применение марксистско-ленинской методологии несомненно принесет еще много важных открытий и позволит совершенствовать методы исследования.

Огромная работа, которая велась и ведется советскими языковедами, имеет двойное значение: познание языка, его строения и законов развития и применение этих познаний на практике, в жизни общества. Лингвистическая практика — понятие широкое. Все ступени народного образования включают в себя обучение языкам — родному литературному и иностранному языкам, для чего подготавливаются учебные программы, методические разработки, учебники и учебные пособия. В Советском Союзе русский язык добровольно принят всеми народами страны как средство международного общения, он же стал и одним из международных языков, что вызывает острую потребность подготовки соответствующих кадров преподавателей-русистов и большого комплекса учебной литературы о русском языке с учетом особенностей родных для обучающихся русскому языку языков. Современный учебный процесс требует постоянного усовершенствования и расширения технических средств (устройство лингафонных кабинетов и пр.) обучения языкам. Повышение общей культуры населения предполагает как ее существенный элемент повышение культуры речи, которое невозможно без языковедческих пособий.

В век научно-технической революции происходит необычайный рост специальной терминологии, в основном стихийный, малоуправляемый, что приводит к засорению терминологии ненужными иностранными словами (прежде всего американского происхождения), к терминологической неупорядоченности. Лингвисты в содружестве с представителями научно-технических дисциплин обязаны вмешаться в это дело. Много нерешенных проблем остается в собственных наименованиях на земле и в космосе.

Особое место занимает проблема «человек — машина — человек», а в ней вопрос о машинном переводе. В пятидесятых годах ожидалось, что машинный перевод с одного языка на другой осуществится в ближайшее время и получит широкое распространение. Это было бы событием огромного значения в культурной и научно-технической жизни человечества. Для осуществления задуманного предприятия стали во многих городах появляться секторы (отделы, кафедры, лаборатории) структурной и прикладной лингвистики. Однако проблема машинного перевода оказалась делом неизмеримо более сложным, чем предполагалось на первых порах. Она еще более осложнилась тем, что некоторая часть лингвистов вместо теоретически обоснованного поэтапного практического решения вопросов

машинного перевода занялась некритическим перенесением на почву советской лингвистики абстрактно-структуралистических направлений зарубежного происхождения со всеми их идеалистическими подосновами. Все предшествующее и существующее языкознание стало квалифицироваться как «традиционное» (с явным пренебрежительным и бранным оттенком слова «традиционное»), в лучшем случае заслуживающее занять (и то «в переработанном виде») низшее место в «новом» построении абстрактно-структуральной лингвистики. В большом количестве стали появляться «универсальные теории», «универсальные модели» языка, которые, впрочем, тут же лопались и лопаются, как мыльные пузыри. Находятся даже такие лингвисты, которые, не написав ни одной конкретно-исследовательской работы по какому-либо языку или языковым явлениям, занялись «чистой теорией», а фактически изложением (и нередко сумбурным) прочитанной западноевропейской структуралистической литературы и попутно отрицанием достижений советского языкознания, самого факта его существования. Однако жизнь берет свое. Для подавляющего большинства лингвистов (и не только в нашей стране) становится все более ясной бесплодность абстракционистской лингвистики, основывающейся на «философии» структурализма, научный крах ее представителей.

Структурально-абстракционистское направление и теория и практика машинного перевода совсем не одно и то же. В языке несомненно имеются такие стороны, которые должны изучаться математическими методами. Можно выразить надежду, что проблема машинного перевода, как и другие вопросы практической кибернетики, в конце концов будет успешно решена. И это будет громадным достижением человеческой мысли. Только не следует термин «прикладная лингвистика» непременно соединять с термином «структурная лингвистика». Прикладная лингвистика или языковедная практика, как уже было сказано выше, понятие несравненно более широкое. Соответствующие лингвистические ячейки правильнее было бы назвать инженерными (этот удачный термин предлагает Р. Г. Пиотровский).

Язык, как известно, явление многогранное, многоаспектное. Для его всестороннего познания применялись и будут еще более широко применяться методы физические, физиологические, психологические и иные. От содружества общественных и естественных дисциплин наука, и в том числе языкознание, только выиграет. В то же время языкознание никогда не потеряет свою специфику и всегда будет оставаться общественной наукой, поскольку ее предмет — язык — по самой своей природе был, есть и будет общественным явлением. Можно не сомневаться также в том, что методы изучения языка, как и других общественных явлений, будут оказывать все большее воздействие и на развитие естественных наук.

Советскому языкознанию шестьдесят лет. Достижения его значительны, а будущее его представляется как бесконечный ряд новых открытий, которые обогатят общество глубокими познаниями языка и всего того, что язык обозначает.



БЕРЕЗИН Ф. М.

СОВЕТСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ — 60 ЛЕТ

Советские языковеды, как и все советские люди, отмечая юбилейные даты образования советского государства, с законной гордостью взирают на путь, пройденный нашей страной. «Достижения родины Октября за шесть десятилетий являются убедительным свидетельством того, что социализм обеспечил невиданные в истории темпы прогресса всех сторон жизни общества», — говорится в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции».

Победа Великой Октябрьской социалистической революции вызвала грандиозную ломку не только в сфере общественно-экономических и социальных отношений, но и в области науки. Наука, в том числе и языкознание, была привлечена к служению народу, первому в мире социалистическому государству, новому обществу, практические нужды которого она была призвана обслуживать. Языкознание, в царской России считавшееся кабинетной наукой, приобрело большое практическое значение. Ленинская национальная политика положила конец многовековому гнету различных малых народностей и национальностей и открыла новые пути для культурного, экономического и социального развития всех народов нашей страны. За исторически короткий срок была создана письменность, выработаны литературные языки для малых народов и народностей, не имевших ранее своей графики, созданы грамматики, словари. Выработка письменности и литературных языков проводилась советскими языковедами вместе с представителями этих народов. Изменилась функциональная роль русского языка, который стал языком межнационального общения и международного сотрудничества.

Итоги языкового строительства в советской стране обобщены в постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик»: «Важным результатом успешного решения национального вопроса в нашей стране является всестороннее развитие языков всех социалистических наций и народностей Советского Союза. Более 40 народов, не имевших в прошлом своей письменности, обрели в советский период научно разработанную письменность и имеют теперь развитые литературные языки. Все нации и народности СССР добровольно избрали русский язык в качестве общего языка межнационального общения и сотрудничества. Он стал могучим орудием взаимосвязи и сплочения советских народов, средством приобщения к лучшим достижениям отечественной и мировой культуры»¹.

Деятельность советских языковедов по созданию новых литературных языков привела к углубленному практическому и теоретическому изучению самых разнообразных языков нашей страны, расширила диапазон исследовательской работы, поставила перед советскими языковедами новые специфические задачи.

¹ «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС», «Коммунист», 1972, 3, стр. 9.

Наряду с этими практическими первостепенной важности задачами перед советскими языковедами возникла необходимость перестроить на основах марксистской материалистической методологии саму теорию языкознания. Основой советского языкознания стала марксистско-ленинская философия, диалектический метод как всеобщий способ познания и революционного изменения действительности.

Методология любой частной науки, особенно науки общественной, какой благодаря своему объекту является языкознание, не может развиваться независимо от философии. Замечательно об этом сказал Ф. Энгельс: «Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли они, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или же они желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями»². Это высказывание Ф. Энгельса целиком относится не только к естествоиспытателям, но и к языковедам.

И если в первые годы развития советского языкознания в силу объективных причин в работах некоторых советских языковедов (Н. Я. Марр, Р. О. Шор и др.) встречаются вульгарно-социологические и иные ошибки, то в последующий период лингвисты все более углубленно анализируют теоретические проблемы языкознания с позиций диалектического материализма. Марксистская интерпретация таких важнейших проблем языкознания, как проблема сущности языка как общественного явления, проблема методологии и методов исследования, соотношения материального и идеального в языке, взаимоотношения языка и мышления, специфики языкового знака, социальной природы языка и многих других в настоящее время приобретает особенно большое значение потому, что, как подчеркивалось в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на XXV съезде партии, «в борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтралizmu и компромиссам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям»³.

На состоявшейся в ноябре 1974 г. Всесоюзной научной конференции по теоретическим вопросам языкознания в одном из докладов (А. С. Мельничук) справедливо отмечалось, что «в течение последней половины столетия язык и языкознание превратились в своеобразную арену упорной и непримиримой борьбы двух антагонистических философских лагерей — диалектического материализма, с одной стороны, и различных направлений идеализма и позитивизма, с другой»⁴. Удельный вес теоретико-лингвистической проблематики в современной идеологической борьбе неизмеримо вырос, и отставание с теоретической разработкой новых проблем советскими языковедами всегда используется буржуазным идеалистическим языкознанием, которое в ряде случаев стремится навязать свое осмысление и оценку некоторых лингвистических фактов. Некоторые советские языковеды не сразу, к сожалению, разобрались в несостоятельной философской базе квазилингвистических построений Н. Хомского, основанных на худших вариантах философского эклекти-

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 525.

³ «Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля 1976 года», в кн.: «Материалы XXV съезда КПСС», М., 1976, стр. 74.

⁴ А. С. Мельничук, Философские проблемы языкознания, «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний», М., 1974, стр. 100.

цизма. Нельзя не согласиться с мнением американского лингвиста Ч. Хоккета, который объяснял некоторую популярность взглядов Хомского в Советском Союзе тем, «что антиматериалистическая и антинаучная основа его взглядов до сих пор не была обнаружена»⁵. За последнее время советские лингвисты убедительно доказали порочность философской основы и лингвистических понятий теории Н. Хомского⁶.

Советскими лингвистами достигнуты определенные успехи в решении методологических вопросов языкознания на основе марксистско-ленинских позиций. В таких трудах, как «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» (1970), «Энгельс и языкознание» (1972), в работах В. З. Панфилова «Взаимоотношение языка и мышления» (1971), «Философские проблемы языкознания» (1977) и других подробно освещаются такие фундаментальные проблемы, как проблемы соотношения категорий мышления и категорий языка, понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма, природа лингвистических абстракций в свете ленинской теории познания, соотношение общей методологии языкознания, специальных лингвистических методов и методики изучения языка, соотношение индукции и дедукции при исследовании языка и другие вопросы.

Одной из основных проблем советской лингвистики, унаследованной от русского классического языкознания (А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртене, Н. В. Крушевский), является сложная проблема взаимоотношения языка и мышления. Материалистическое языкознание исходит из признания тесной связи между языком и мышлением. Однако это признание еще не решает всей проблемы, ибо идеалистические концепции тоже не отрицают такой связи. Особенность советского языкознания заключается в том, что сразу же на первых этапах его развития был поставлен вопрос не только о соотношении языка и мышления, но и вопрос об отношении сознания и бытия. В работах Н. Я. Марра, И. И. Мещанинова в 20—30-х годах преимущественное внимание обращалось на филогенезис языка и мышления в связи с производственными отношениями. Представители «нового учения о языке» ставили вопрос о выделении ряда ступеней в развитии языка и мышления — «до-логической», «первобытно-образной», «труд-магической» и т. д.

Однако связь языка и мышления носит более сложный характер, так как отношение между языком и мышлением включает также и отношения этих категорий к объективной действительности. Соответственно этому наметились и различные аспекты в определении специфики связи языка и мышления. Так, в конце 30-х годов возник социологический подход к решению проблемы языка и мышления. В работе К. Р. Мегрелидзе «Основные проблемы социологии мышления» (книга была закончена в 1938 г.) процесс мышления рассматривался как социальный процесс, вшлетенный в трудовую деятельность человека, как социогенез идей⁷. Для решения вопроса о связи языка и мышления К. Р. Мегрелидзе привлекал данные сравнительного языкознания, истории, философии, психологии и других наук. Этот аспект нуждается в дальнейшем развитии, поскольку процесс познания объективной действительности определяет

⁵ Ch. Hockett, The state of the art, The Hague, 1968, стр. 105.

⁶ См.: Н. М. Курманбаев, Заметки о картезианских основаниях генеративной лингвистики, ВЯ, 1975, 4; Н. Д. Андреев, Квазилингвистика Хомского, ВЯ, 1976, 5; В. М. Солнцев, Относительно концепции «глубинной структуры», ВЯ, 1976, 5; см. также рецензии Р. А. Будагова, О. С. Ахмановой на некоторые работы советских и зарубежных авторов.

⁷ К. Р. Мегрелидзе, Основные проблемы социологии мышления, Тбилиси, 1965 (2-е изд. — 1973).

ся как характером самой действительности, так и, в известной мере, биологическими и социальными особенностями человека.

Советские языковеды преимущественное внимание обращают на гносеологический аспект взаимодействия языка и мышления, рассматривая содержательную сторону языка, в которой зафиксированы результаты познавательной деятельности мышления. Гносеологические проблемы языка разрабатываются на основе марксистской диалектики, утверждающей, что мышление материализуется в языке, в звуках, что непосредственной действительностью мысли является язык, и что, наконец, «ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства, что они — только проявления действительной жизни»⁸.

В гносеологическом плане в советском языкознании вопрос о соотношении языка и логики в области «слова и понятия» решается путем определения лексического значения как системной соотнесенности слова к определенному понятию (С. Д. Кацнельсон, Н. З. Котелова, К. В. Крушельницкая), а в области «предложения и суждения» — признанием особого логико-грамматического уровня языка, выражаемого определенными грамматическими средствами (интонацией, ударением, специальными частицами) (В. З. Панфилов⁹). Введение логико-грамматического уровня позволяет разрешить проблему противоречивого соотношения предложения и суждения, способствует разъяснению теоретических вопросов взаимоотношения языка и мышления, помогает понять сущность актуального членения предложения.

Не рассматривая специально психологического аспекта взаимоотношения языка и мышления, представленного работами А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейна, следует указать на возникшие в последнее время кибернетический и семиотический подходы в изучении языка и мышления. Нока трудно что-либо сказать о конкретных результатах таких подходов. Очевидно только, что совместные усилия ученых разных специальностей — лингвистов, логиков, психологов, новых отраслей науки — кибернетики и семиотики — могут дать осозаемые результаты в решении сложных вопросов, связанных с данной проблемой, на основе положений марксистско-ленинской философии.

Дальнейшее развитие в свете диалектического материализма в советском языкознании получает теория системы и структуры языка. Заложное в русском языкознании понимание языка как упорядоченного целого, в котором существует определенный порядок и определенные связи (А. А. Потемня, И. А. Бодуэн де Куртенэ), в начальный период советского языкознания в работах Л. В. Щербы получает историческую окраску, и понятие системности языка начинает относиться и к диахронии, а не только к современному языковому материалу. Исследования советских лингвистов (Б. А. Серебренникова, В. М. Жирмунского, В. Н. Ярцевой, Э. А. Макаева) показали, что диахронический материал более наглядно и убедительно показывает системный характер языка на всех этапах его развития.

В работах 50-х годов понятие системы языка начинает приобретать межуровневый характер. Иерархическое расслоение системы языка привело к выделению таких самостоятельных уровней языка, как фразеология (в работах В. В. Виноградова) и словообразование.

В современном зарубежном структурном языкознании широко распространено идеалистическое понимание языка как системы чистых отношений. Основываясь на ленинских положениях об учете всеобщей

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 3, стр. 449.

⁹ В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М., 1963.

связи явлений и связи всех элементов отдельно взятой области явлений, учитывая марксистско-ленинское понимание категорий вещи, качества, свойства и отношения, части и целого, советские языковеды успешно разрабатывают диалектико-материалистическое понимание языка как системы. В работах В. М. Солнцева, А. С. Мельничука делается попытка осмысления онтологической природы языковой системы и языковой структуры¹⁰. Под системой языка понимается совокупность элементов языка, как целого, а под структурой — совокупность связей, характеризующих внутреннюю организацию этого единого целого. Дифференциация понятий системы и структуры языка, тесно связанных между собой, но не тождественных, предполагает изучение свойств одного и того же объекта — языка с точки зрения его целостности и взаимосвязанности элементов.

Диалектико-материалистический подход к системно-структурному пониманию языка, в отличие от структуралистского, предполагает признание связи языка с объективной действительностью, его социальной природы, является важной предпосылкой эффективного познания языка.

При решении всех этих вопросов советские языковеды руководствуются последовательным диалектико-материалистическим пониманием природы языка и его общественных функций, признанием первичности языковой субстанции и вторичности существующих в языке отношений. Именно такое материалистическое понимание природы языка, сформулированное Марксом, Энгельсом, Лениным, помогает советским лингвистам комплексно подходить к решению глоттогонических проблем языкознания, дает гарантию успеха в борьбе против попыток использования извращенных представлений о структуре языка и его свойствах, содержащихся в различных идеалистических направлениях современной буржуазной философии и идеологии (структурализм, лингвистическая философия, общая семантика и т. д.).

В современной идеологической борьбе большое значение приобретает выработка точной научной терминологии, адекватно отражающей новые понятия. Понятно поэтому, почему советские языковеды все больше и больше обращают внимание на раскрытие роли творчества В. И. Ленина в обогащении русской и мировой речевой культуры, на освещение всего стилевого многообразия ленинского языка. Ведущаяся в настоящее время в Институте русского языка АН СССР работа по подготовке «Словаря языка В. И. Ленина» направлена на то, чтобы показать все богатство, многогранность и выразительность лексических и фразеологических средств языка В. И. Ленина. Изучение словарного наследия В. И. Ленина особенно важно для исследований по терминологии и фразеологии, так как в произведениях Ленина сконцентрирована основная общественно-политическая лексика и фразеология конца XIX — первых десятилетий XX в. Это позволит показать роль Ленина в развитии марксистской научной терминологии, особенно в становлении русской общественно-политической терминологии научного коммунизма, поможет выснить вопрос о том, какое значение имели труды К. Маркса и Ф. Энгельса в формировании некоторых сторон языка и стиля В. И. Ленина¹¹.

¹⁰ В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971 (2-е изд. — 1976); А. С. Мельничук, Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970.

¹¹ Более подробно см.: Ф. П. Филин, О словаре языка В. И. Ленина, ВЯ, 1974, 6; И. Ф. Протченко, Лексика и словообразование русского языка советской эпохи, М., 1975, стр. 5—10.

Ясность лингвистической терминологии неотделима от четкости самих лингвистических идей автора. Большой недостаток некоторых недавних работ по языкознанию заключался в том, что ряд авторов завесой мудреных терминов прикрывали нечеткость собственных позиций. В некоторых книгах, претендующих на изложение оригинальных лингвистических теорий, эти теории излагались в такой терминологической «одежде», что терялась всякая связь с реально изучаемым языком. Плодотворное развитие любой лингвистической теории, ее способность овладевать умами языковедов зависит от ее доходчивого и ясного изложения. В. И. Ленин писал: «Максимум марксизма = максимум популярности и простоты...»¹². Он высмеивал псевдонаучный, «тарабарский» язык и добивался единства глубокого содержания с простым и точным языком. Это положение В. И. Ленина имеет непреходящее значение и для языковедческих работ.

Современная эпоха с ее необычайно динамичными и сложными процессами во всех областях науки приводит к усложнению процесса творчества, к углублению специализации в той или иной отрасли знания, в том числе и в общественных науках. От советских ученых требуется не только знание в своей специальной области, но и постоянная осведомленность о том, что пишут и их зарубежные коллеги и представители смежных наук. В постановлении ЦК КПСС от 14 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве» была поставлена задача дальнейшего повышения идейно-теоретического уровня и эффективности общественных наук, поиска новых путей, ведущих к более тесному интернациональному сплочению ученых-марксистов. Один из таких путей заключается во всемерном разворачивании информационно-рабочей. Этой цели служат выходящие с 1973 г. реферативные журналы «Общественные науки в СССР» и «Общественные науки за рубежом», серия «Языкознание», которые ставят своей целью ознакомить с лингвистической работой, ведущейся в союзных и автономных республиках, краях и областях нашей страны, а также дать своевременное изложение теоретических положений, содержащихся в работах зарубежных лингвистов, в первую очередь языковедов из социалистических стран.

Последнее десятилетие характеризовалось интенсивным развитием исследований по социолингвистике, изучением условий функционирования языка в обществе, влияния общества на изменения в языке, которое не осуществляется прямо, непосредственно, автоматически, а проявляется в его внутренней структуре. Советские языковеды, занимающиеся вопросами социальной лингвистики (И. К. Белодед, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Ф. П. Филин и др.), подчеркивают, что общественная природа языка определяет все его функции, проявляется на всех уровнях языковой структуры. Предпринимаются попытки создания понятийного аппарата социолингвистики (А. Д. Швейцер).

Опыт развития национальных языков в СССР, массовое двуязычие в нашей стране, существование различных сфер применения языка с необходимостью ставит перед советскими языковедами задачу изучения функциональной стороны языка, его существенных функций, связи между функциональным и внутривидовым развитием языка.

Языковая жизнь социалистических наций и народностей СССР является блестящим примером жизнестойкости провозглашенного В. И. Лениным принципа равноправия всех народов и языков, ленинского положения о том, что «демократическое государство безусловно должно при-

¹² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 32, стр. 442.

знать *полную свободу* родных языков и отвергнуть *всякие привилегии* одного из языков»¹³.

Выступая против насильственного утверждения какого-либо языка в качестве государственного, Ленин четко представлял себе еще в условиях дореволюционной России, что в будущем демократическом государстве роль межнационального средства общения в силу исторических причин уготована русскому языку.

Неудивительно поэтому, что после Октября все нации и народности СССР добровольно избрали русский язык в качестве общего языка межнационального общения и сотрудничества. В работах И. К. Белодеда («Развитие языков социалистических наций СССР», 1969; «Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе», 1972 и др.) получает теоретическое обоснование положение русского языка как языка межнационального общения. Характер связей русского языка с другими языками народов СССР обусловлен общностью социальной структуры этих народов, тесными экономическими, политическими и культурными связями. Это приводит к тому, что в языках социалистических наций появляется определенная общность в общественных функциях языков, в синтаксических конструкциях, в семантической системе. Русский язык не только обогащает национальные языки в СССР, но и сам в свою очередь обогащается за счет лексических и стилистических выразительных средств этих языков.

В советских условиях происходит интенсивное взаимодействие различных языков, в результате чего наблюдается обогащение как вновь возникших литературных языков, так и языков, имеющих долгую литературную традицию. Проблема взаимообогащения языков является новой проблемой, характерной для советского языкознания, и составляет одну из задач советской социолингвистики. В процессе такого взаимообогащения возрастает роль русского языка как языка межнационального общения. В советском обществе национальные языки и язык межнационального общения (русский) взаимно дополняют друг друга. Такое взаимодействие русского языка с национальными младо- и старописьменными языками, взаимодействие этих языков между собой привело к появлению новой лексической категории — общего лексического фонда языков народов СССР. Исследующие в последнее время эту проблему советские языковеды И. К. Белодед, Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Г. П. Ижакевич и др. полагают, что этот фонд неправомерно отождествлять с интернациональной лексикой, так как этот фонд богаче по содержанию и разнообразнее по составу языков, которые служат источниками его пополнения и развития¹⁴. Авторы полагают, что перспективы дальнейшего развития и сближения социалистических наций и народностей в СССР предполагают тенденцию к дальнейшему развитию и расширению общего лексического фонда, в связи с чем возникает задача изучения объема этого фонда, границ его применения, путей и способов заимствования лексических и иных элементов из одного языка в другой. Изучение общего лексического фонда представляется важным еще и по причине появления сложившейся в нашей стране новой исторической общности — советского народа.

¹³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 25, стр. 71—72.

¹⁴ См.: Ю. Д. Дешериев, Н. С. Корлятуху, И. Ф. Протченко, Основные теоретические и практические вопросы взаимодействия языков народов СССР, в кн.: «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР», М., 1969; Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Развитие языков народов СССР в советскую эпоху, М., 1968; И. Ф. Протченко, Лексика и словообразование русского языка советской эпохи, М., 1975; «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР», Киев, 1976; и др.

В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» отмечалось, что русский язык стал не только «языком взаимного общения всех наций и народностей Советского Союза», но и «одним из общепризнанных мировых языков!»¹⁵. Русский язык в настоящее время изучается примерно в 90 странах мира; общее число изучающих составляет около 20 млн. человек, причем число изучающих русский язык за пределами СССР возрастает в среднем на один миллион человек в каждые два года. Для всесторонней помощи изучающим русский язык за рубежом был создан Институт русского языка им. А. С. Пушкина, который проводит большую методическую работу по составлению программ для изучения русского языка, изданию учебников и учебных пособий по русскому языку для различных стран мира. С 1967 г. издается специальный журнал «Русский язык за рубежом». Превращение русского языка в один из языков широкого международного общения связано с расширением его функционального назначения: это язык Ленина, язык идей братства и сотрудничества, прогресса и мира между народами, идей пролетарского интернационализма. И этим, прежде всего, объясняется его притягательная сила, большой интерес к практическому его изучению. В то же время за рубежом значительно увеличивается количество теоретических публикаций, посвященных исследованию различных аспектов русского языка. Зарубежные исследователи-русисты все чаще обращаются к опыту советских ученых, интенсивно занимающихся изучением современного русского литературного языка.

Большое внимание уделялось исследованиям стилей современного русского литературного языка. Интенсивно развивающаяся в советском языкознании функциональная стилистика ставит своей целью изучение особенностей и функционирования языка в разных стилях речи, соответствующих определенным областям человеческой деятельности. Функциональная стилистика исследует не только стили литературного языка, но и другие функциональные стили, в частности, технический, газетный, разговорный и т. д. Заметно возрос интерес к такой области, как теория разговорной речи. Разговорная речь понимается как разновидность языковой системы, противопоставляемой книжному языку и характеризующейся такими особенностями, как спонтанность, особая интонация, влияющая на синтаксис, паралингвистические характеристики (мимика, жест) и др. В синтаксисе разговорной речи выделяются синтаксические конструкции, образующие синтаксическую подсистему в рамках синтаксиса литературного языка. Все это позволяет ставить вопрос об изучении синтаксических особенностей, относящихся к языку, и синтаксических особенностей, характерных для речи.

С середины 50-х годов исследования советских языковедов в области сравнительно-исторического языкознания сопровождаются постановкой ряда методологических и методических проблем. Прежде всего стали разрабатываться вопросы, связанные с дополнением сравнительно-исторической методики приемами внутренней реконструкции, данными ареальной лингвистики. Расширение языкового материала индоевропейских языков за счет привлечения фактов других языков привело к более тесному соединению сравнительно-исторической проблематики с идеями и методами типологического языкознания.

Советские компаративисты стремятся заменить плоскостную реконструкцию индоевропейского языка-основы выделением его временных пластов —

¹⁵ Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1972, стр. 22.

«раннего» и «позднего» этапов развития индоевропейского языка; соответственно реконструкция расчленяется на «дальнюю» и «ближнюю».

В современных сравнительно-исторических исследованиях все более распространяется точка зрения, согласно которой утверждается научно-познавательная значимость праязыковой гипотезы. Восстановление, например, индоевропейского языка-основы сейчас не является конечной целью компаративистских исследований. В работах советских языковедов-компаративистов неоднократно подчеркивается, что реконструкция праязыковой схемы должна рассматриваться как своеобразная точка отсчета при изучении истории языков. В этом заключается научнометодическое значение реконструкции языка, поскольку реконструированная праязыковая схема позволит нагляднее представить историю развития конкретной группы родственных языков или отдельного языка.

Сравнительно-историческое изучение различных языковых групп в советском языкознании получило неодинаковое развитие. Высокого уровня достигло сравнительное славянское языкознание. Продолжая и развивая идеи А. А. Шахматова о генезисе славянства вообще, советские славяноведы достигли значительных успехов в разработке теории балто-славянской языковой общности, ее содержания в языковом и этногенетическом аспекте, в вопросах формирования восточной, западной и южной ветвей славянства. При реконструкции большее внимание стало уделяться привлечению данных диалектологии, выявлению проблем относительной хронологии фонетических, морфологических, синтаксических и лексических процессов. Показательной в этом плане является монография Ф. П. Филина «Происхождение русского, украинского и белорусского языков» (1972), обобщившая все достижения советского и зарубежного сравнительно-исторического славяноведения за последние шестьдесят лет и по-новому освещающая происхождение восточнославянских языков. Делая упор на выявление диалектных явлений в области фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса, Ф. П. Филин уточняет вопрос о природе славян, ареале распространения восточнославянских языков, периоде распада общеславянского языка, формах контактирования славянских языков. Выявленные автором различные зоны диалектных явлений, существовавшие до возникновения восточнославянских языков, привели его к важному выводу о том, что начала современных наречий каждого из этих языков старше самих языков.

Многолетние исследования советских германистов нашли свое выражение в четырехтомной «Сравнительной грамматике германских языков» (1962—1966). Интенсивно ведутся исследования по сравнительно-историческому изучению иранских, тюркских языков.

Если в послереволюционный период теоретическая разработка проблем и принципов этимологии не была объектом исследования, то за последнее время наметился значительный прогресс в этой области. Этимология обогащается новыми принципами исследования — привлечением типологии семантических изменений наряду со словообразовательным аспектом. Значительные результаты в этимологических исследованиях достигнуты О. Н. Трубачевым, В. И. Абаевым и др. Крупный вклад в этимологические исследования внесли «Историко-этимологический словарь осетинского языка» (I, 1958; II, 1973) В. И. Абаева, «Этимологический словарь картвельских языков» (1964) Г. А. Климова, «Этимологический словарь тюркских языков» (1974) Э. В. Севортяна.

Менее разработаны принципы применения сравнительно-исторического метода в области синтаксиса. Одной из главных причин этого является трудность реконструкции синтаксических архетипов. С некоторой степенью достоверности можно восстановить определенную синтаксиче-

скую модель, но нельзя реконструировать ее материальное словесное наполнение, если под этим наполнением понимать слова, встречающиеся в одной и той же синтаксической конструкции. Более результативными являются реконструкции словосочетаний, наполненных словами, обладающими единой грамматической характеристикой. Плодотворность такого подхода показана на материале германских языков в исследованиях В. Н. Ярцевой, а на материале тюркских языков в работах Н. З. Гаджиевой.

В исследованиях по сравнительно-историческому синтаксису в настоящее время преимущественное внимание обращается на анализ средств выражения синтаксических связей в родственных языках.

Многообещающим в работах советских компаративистов следует признать широкое использование типологических критериев в сравнительном языкознании, поскольку такое использование делает более надежными выводы сравнительно-исторических исследований. Историко-типологические исследования на разных уровнях языковой системы представлены в книге Э. А. Макаева «Общая теория сравнительного языкознания» (1977), в монографиях «Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков» (1972), «Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности» (1972), «Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Фонология. Эволюция морфологического типа», т. I (1975), «Типология грамматических категорий. Мещаниновские чтения» (1975) и других работах. По-новому освещается типология языковых состояний с учетом внешней функциональной стороны языка в книге Г. В. Степанова «Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи» (1976).

Характерным для историко-типологических исследований грамматических фактов является выявление структурной общности по мере перехода от плана выражения к плану содержания, от незначимых единиц к значимым. Сопоставление родственных языков происходит не только в плане выявления общих признаков в структуре языков, но и в их функциональном аспекте, т. е. при изучении как функций одних и тех же категорий в разных языках, так и способов выражения одних и тех же грамматических категорий в разных языках. Следует подчеркнуть разнотипность подходов к проведению типологического сравнения языков, и в то же время отметить отсутствие обобщающих монографических трудов в этой области языкознания; преобладают сборники статей, в которых авторы приводят заслуживающий внимания материал; однако обращает на себя внимание отсутствие типологических работ в области финноугроведения, монголистики и некоторых других отраслей, в то время как у советских языковедов имеются большие возможности и оптимальные условия для опосредования самых различных языковых семей в плане их сравнительно-типологического изучения.

Если в типологических исследованиях внимание обращается на объединение признаков на том или ином уровне языковой системы в определенные типы и выявление типовых линий развития (ср. работы Б. А. Сребренникова), то естественно предположить, что эти типы, представляющие совокупность некоторых признаков, могут встречаться, пересекаясь, либо во всех, либо в большинстве языков земного шара. Пересечение языковых признаков в различных языках приводит в результате к установлению некоторых общих закономерностей, характерных для всех или большинства языков, называемых универсалиями.

В современном зарубежном языкознании интерес к языковым универсалиям обнаруживается лишь в начале 60-х годов, в то время как

в советском языкознании уже в 40-х годах И. И. Мещанинов указывал, что типология, вовсе не ограничиваясь регистрацией только общих сходжений, должна выяснять общий языковой субстрат. Он указывал, что таким общим языковым субстратом является выражение синтаксических отношений с их разнообразным содержанием. Высказанная И. И. Мещаниновым мысль о сочетании типологических исследований с выявлением языковых универсалий начинает привлекать пристальное внимание советских лингвистов.

В сравнительно-историческом языкознании за последнее время важнейшее, определяющее значение получает историческая диалектология и диалектография, поскольку эти дисциплины позволяют определить исторические основы диалектного членения, воссоздать социально-исторический контекст, в рамках которого осуществлялись языковые движения, установить сферу распространения диалектных изоглосс с учетом историко-культурной ориентации носителей языка. Если до последнего времени историческая диалектология являлась одной из наиболее отсталых областей языкознания, то в настоящее время все чаще встречаются попытки создания цельных и систематических исследований по исторической диалектологии какого-либо конкретного языка. К этому циклу исследований следует отнести такие труды, как работу К. В. Горшковой «Историческая диалектология русского языка» (1972), А. В. Десницкой «Проблемы исторической диалектологии албанского языка» (1973), Г. Б. Джаукяна «Введение в армянскую диалектологию» (1972) и др. Общей проблемой для исследований по исторической диалектологии является анализ взаимоотношения литературных языков и диалектов в разные периоды развития национальных языков, выявление диалектного состава этих языков, восстановление архаичных и древнейших явлений.

Работы по исторической диалектологии и диалектографии неотделимы от изучения языка исторических документов, которые составлялись в разных местах и которые лучше всего отражают особенности отдельных территориальных диалектов.

В связи с этим в советском языкознании начала оформляться новая лингвистическая дисциплина — лингвистическое источниковедение, занимающееся всесторонним изучением памятников того или иного языка. Особенно значительное развитие получило изучение памятников русского языка, проводимое в Институте русского языка АН СССР. За период с 1963 по 1976 г. Институтом было издано девять источниковедческих сборников и изданий различных памятников. Так, впервые были изданы «Вести-куранты. 1600—1639 гг.» (1972) и «Вести-куранты. 1642 — 1644 гг.» (1976), содержащие анализ первых русских рукописных газет XVII в. Эти материалы дают представление о той языковой базе, на которой впоследствии развились научный и публицистический стили русского литературного языка, говорят о живых изменениях в русском языке XVII в. Исследование различного рода таможенных книг, канонических текстов, грамот московских князей и других источников дают более четкое и ясное представление о фонетике московского говора, о его лексическом составе, морфологии и синтаксисе. Изучение языка памятников позволит определить их территориальную принадлежность, выявить более древние пласты языка, дать возможности для выводов относительно древней письменной культуры каждого языка.

Советские лингвисты интенсивно занимаются изучением функционирования и развития языка в эпоху научно-технической революции, которая поставила перед общественными науками и языкознанием, в частности, целый ряд новых задач, требующих специальных методов исследования.

Одной из характерных особенностей НТР является все более расши-

ряющееся применение электронно-вычислительной техники в процессе передачи и переработки информации в различных сферах деятельности современного общества. Поэтому для прикладной лингвистики в СССР областью приложений в технике связи (анализ и синтез речи, методы компрессии и преобразования речи и т. д.) открылась новая область актуальных задач. Автоматизация таких информационных процессов, как сбор, накопление, хранение, поиск и переработка информации в области информационного обслуживания науки и техники и управления народным хозяйством требуют решения широкого спектра чисто языковых вопросов, которые находятся в компетенции прикладной лингвистики. По существу это вызвало к жизни новую ветвь прикладной лингвистики, которую можно назвать вычислительной лингвистикой. Именно вычислительная лингвистика является в настоящее время наиболее важной и актуальной ветвью прикладного языкознания. На нее падает решение всех лингвистических вопросов (которые могут быть объединены понятием так называемого «лингвистического обеспечения»), возникающих при проектировании и разработке практических автоматизированных информационных систем различного назначения (система накопления и поиска информации, система обработки отраслевой информации, система перевода научно-технической информации и т. д.).

За последнее десятилетие прикладная лингвистика в СССР достигла определенных успехов в этих важнейших направлениях, обеспечивающих потребности электронно-вычислительной техники и связи. Так, проведены обширные исследования лексико-статистической структуры текстов естественного языка, отработаны методы составления частотных словарей и проведения трудоемких лексикографических исследований. Ведутся исследования принципов построения информационных языков, предназначенных для записи и обработки информации, перевода текстов с естественных языков на информационные языки. Разрабатывается система машинного перевода научно-технических документов, проводятся углубленные исследования структуры различных уровней языка, включая и наиболее сложный — семантический. Перспективные области для теоретических и прикладных исследований открываются в связи с различными задачами в рамках проблемы «искусственный интеллект».

Однако следует сказать, что практические результаты этих исследований еще недостаточны. Основные успехи в решении лингвистических вопросов для нужд народного хозяйства достигнуты в промышленности без участия лингвистов-прикладников, которые, увлекаясь созданием так называемых «лингвистических теорий», забывают о практических потребностях народного хозяйства. Отрыв от практики не способствует и развитию самой теории, которая становится пустой абстракцией. Это наиболее наглядно выявилось на примере создания систем машинного перевода в нашей стране. Чрезмерное увлечение ложной «теорией» привело к серьезному отставанию в части практики и завело в тупик ряд теоретических направлений языкознания. Некоторые советские лингвисты, видимо, забыли высказывание Энгельса о том, что «чистые теоретики в сфере общественных интересов встречаются только на стороне реакции, и именно потому эти господа в действительности вовсе не теоретики, а простые апологеты этой реакции»¹⁶. Работа по развитию теории требует специальных знаний, но это вовсе не область, обособленная от практической деятельности.

Для советского языкознания за все время его существования характерной чертой была связь теоретических проблем языкознания с практи-

¹⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 25, ч. 1, стр. 4.

ческими нуждами советского общества. Естественно, что промышленность, многочисленные коллективы, разрабатывающие в нашей стране автоматизированные информационные системы, вправе ожидать от прикладной лингвистики быстрейшего решения актуальных задач лингвистического обеспечения информационных и информационно-вычислительных систем. Более активное участие в решении актуальных научно-технических задач сегодняшнего дня и ближайшего будущего позволит прикладной лингвистике проверить свои теоретические построения и будет способствовать развитию самой теории языкознания.

История и конкретные достижения советского языкознания привлекают пристальное внимание зарубежных языковедов как из социалистических, так и капиталистических стран. Некоторые языковеды из капиталистических стран стремятся принизить достижения советского теоретического языкознания, а то и вовсе отрицают их. Признается, например, что в советском языкознании блестяще выполняются и дают значительные результаты исследования, проводимые на основе конкретного фактического материала, но в то же время утверждается, что достижения зарубежной лингвистики проникают в Советский Союз с большим трудом и запозданием. Трудно согласиться с этим утверждением, так как, например, почти все работы Н. Хомского (если признавать их новыми «достижениями» лингвистики) переведены на русский язык, периодически издаются тематические сборники «Новое в лингвистике», содержащие переводы работ зарубежных языковедов. Основные библиотеки Советского Союза получают все зарубежные лингвистические журналы. Все советские языковеды, в той или иной мере владея по крайней мере одним из европейских языков, имеют возможность знакомиться с современной лингвистической литературой. Не осталась незамеченной в советском языкознании и порождающая грамматика, выдаваемая некоторыми учеными за последний крик лингвистической «моды» и вызывающая скептическое к себе отношение со стороны советских языковедов.

Принципы советского языкознания, покоящиеся на марксистско-ленинском понимании языка как общественного явления, на положениях материалистической гносеологии, не устаревают и не подвержены моде; их нельзя менять произвольно; они выработаны всем предшествующим ходом развития советской науки о языке и обуславливают те методы, следуя которым можно понять языковую действительность во всех ее проявлениях.

Реальность современной эпохи заключается в том, что невозможно отрицать идейное могущество марксизма-ленинизма как идеологической основы всего комплекса наук, изучающих объективную действительность¹⁷. Поэтому многие ученые капиталистических стран, в том числе и языковеды, все чаще обращаются к марксистской теории. Это обращение еще не служит показателем того, что они полностью придерживаются марксистской ориентации в вопросах языка, но оно является знаменатель-

¹⁷ Ср., например, следующее высказывание известного буржуазного идеолога З. Бжезинского: «Марксизм представляет собой новый, исключительно важный и творческий этап в становлении человеческого мировоззрения. Марксизм означает победу активно относящегося к внешнему миру человека над пассивным, созерцательным человеком и в то же время победу разума над верой... Марксизм ставит на первое место систематическое и строго научное изучение материальной действительности, так же, как и руководство действием, вытекающим из этого изучения» (Z. Brzezinski, *Between two Ages. America's role in the technotronic era*, New York, 1971, стр. 73. — цит. по ст.: Т. Ойзерман, Исторический материализм и лжемарксистская философия истории, «Коммунист», 1976, 17, стр. 93).

ным, так как свидетельствует об их попытках найти надежную основу в своих теоретических построениях в принципах марксизма¹⁸.

За шестьдесят лет своего существования советское языкознание достигло значительных успехов. Объективно мыслящие зарубежные языковеды пытаются осмыслить специфические особенности и пути развития советской лингвистики, использовать все положительное и ценное в исследованиях советских языковедов. Признание во всем мире завоевал советский опыт языкового строительства, основанный на уважении к национальным языкам, развитии их функциональных стилей. Этот опыт служит примером для языкового строительства народов многих стран Азии, Африки, Латинской Америки. Введение в языковую практику многообразных типов языковых систем, разработка теоретических вопросов фонетики, грамматики, лексики и лексикографии, внедрение в лингвистику новых идей описательного, сравнительно-исторического и других методов, разработка вопросов социолингвистики, прикладной лингвистики — все это подчеркивает широкую многоаспектность советского теоретического языкознания и делает его особым направлением в мировой науке о языке.

¹⁸ См., например, об этом: А. Д. Ш в е й ц е р. Философские основы американской социолингвистики, ВЯ, 1977, 1, особенно стр. 26.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ПИОТРОВСКИЙ Р. Г., БЕКТАЕВ К. Б.

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД: ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ВНЕДРЕНИЕ

Статьи Р. Г. Котова и М. П. Чхаидзе о машинном переводе (МП), напечатанные в журнале «Вопросы языкознания» (1976, 5), свидетельствуют об оживлении интереса лингвистической общественности к этой важной кибернетической, инженерно-лингвистической и общезыковедческой проблеме, которая разрабатывается в нашей стране уже более двадцати лет.

Создание действующих систем МП, обеспечивающих оперативную переработку информации на иностранных языках в ИПС и АСУ, относится к классу сложных эвристических задач, связанных с фундаментальной проблемой создания искусственного интеллекта. Решение задач такого типа проходит обычно три этапа: создание теории, экспериментальная проверка теории, внедрение результатов в практику.

Успешное решение всякой научной проблемы зависит от того, насколько гармонично сбалансированы и органично связаны между собой эти этапы. История науки показывает, что противопоставление теории практическим задачам эксперимента и внедрения или наоборот обычно приводит к роковому исходу. Поэтому, рассматривая прошлое и настоящее советского МП, вряд ли стоит противопоставлять теорию МП практическим задачам эксперимента и внедрения. Гораздо важнее рассмотреть существующие модели МП с точки зрения их методологической функции, лингвистической объяснительной силы, итогов экспериментальной проверки и результатов промышленного внедрения.

Этому теоретико-инженерному подходу и будет посвящена настоящая статья.

Истоки современного инженерно-лингвистического подхода к МП следует искать в исследованиях и разработках коллектива, возглавлявшегося в 50-х и начале 60-х годов Д. Ю. Пановым и И. К. Бельской. Этот подход был ориентирован на проведение большого конкретного лингвистического анализа языкового материала, анализа, который учитывает характер сочетаемости и типовые контексты и которому большую помощь оказывает лингвистическая статистика¹. И. К. Бельская не успела развить свои взгляды в законченную теорию: возглавляемый ею и Д. Ю. Пановым исследовательский коллектив распался в начале 60-х годов. В 1964 г. И. К. Бельская умерла.

Дальнейшее развитие инженерно-лингвистический подход получил в работах общесоюзной группы «Статистика речи» (СтР). Формирование

¹ Д. Ю. П а н о в, И. К. Бельская и ее исследования по алгоритму автоматического лингвистического анализа, в кн.: И. К. Б е л ь с к а я, Язык человека и машина, М., 1969, стр. 11—12.

научной стратегии этой группы осуществлялось на основе следующих теоретико-лингвистических и кибернетических соображений.

1. Построение лингвистического алгоритма машинного перевода и реализация его на ЭВМ представляет собой сложнейшую задачу, которую невозможно решить сразу, но которая должна решаться путем последовательных приближений (итераций)².

2. Естественный язык представляет собой открытую, нежесткую, динамическую систему, состоящую из размытых (нечетких) множеств, расплывчатых свойств и связей³. Напротив, осуществляющий МП автомат пользуется закрытым, жестким и статическим машинным языком. Поэтому построение лингвистического алгоритма, а затем его машинное программирование связано с необходимостью ослабить действие антиномии диахронии и синхронии, а также парадокса между нечеткостью, бесконечностью и толерантным построением лингвистических множеств⁴, с одной стороны, и четкостью, конечностью и фиксированностью множеств языка машины, с другой⁵. Антиномия синхронии и диахронии должна преодолеваться с помощью специальных машинных программ пополнения и коррекции алгоритма МП. Парадокс между «мягкой» системой естественного языка и «жесткой» системой языка автомата ослабляется с помощью детализации и экспликации лингвистических единиц и связей, а также с помощью вероятностно-статистических приемов.

3. Система языка во всех ее деталях является ненаблюдаемым объектом. Прямому наблюдению могут быть подвержены только речь и система индивидуального идиолекта. Поэтому получить такие описания систем входного и выходного языков, которые были бы пригодны для построения алгоритма МП, можно только путем моделирования этих систем. Это моделирование осуществляется двойным путем: а) либо через информационный эксперимент с носителем языка (при этом с помощью структурно-статистических коррективов необходимо преодолеть парадокс языка и идиолекта)⁶; б) либо путем вероятностно-статистического исследования выборки текстов, представляющей ту генеральную совокупность, которая впоследствии будет перерабатываться компьютером⁷.

4. Лингвистический алгоритм МП должен строиться как система бинарных соответствий, выполненная с помощью методов сопоставительной (контрастивной) грамматики⁸ при условии детализации и экспликации. Это значит, что каждому «микроэлементу» и каждой «микросвязи» входного языка должны быть поставлены в прямое соответствие одна или несколько единиц и связей выходного языка без обращения к искусственному языку-посреднику⁹.

² Ср.: R. Piotrowski, *Zagadnienia językoznawcze przekładu maszynowego*, «Kwartalnik neofilologiczny», Warszawa, 1961.

³ Р. Беллман, Л. Заде, *Принятие решений в расплывчатых условиях*, «Вопросы анализа и процедуры принятия решений», М., 1976, стр. 172 и сл.; Р. Г. Пиотровский, *Текст, машина, человек*, М., 1975, стр. 207—214.

⁴ Ю. А. Шрейдер, *Равенство, сходство, порядок*, М., 1971, стр. 78—113.

⁵ R. Piotrowski, *The antinomies of linguistics and automatic interpretation of the text*, «3rd International Congress of applied linguistics», Copenhagen, 1972, стр. 155.

⁶ Р. Г. Пиотровский, К. Б. Бектаев, А. А. Пиотровская, *Математическая лингвистика*, М., 1977, стр. 11—12, 359—361; Н. С. Georgiev, R. G. Piotrowski, *A new method of measuring meaning*, «Language and speech», 19, 1, 1976.

⁷ П. М. Алексеев, *Статистическая лексикография*, Л., 1975.

⁸ Ср., например: В. Г. Гак, *Сопоставительная типология французского и русского языков*, Л., 1977.

⁹ Р. Г. Пиотровский, В. А. Чижковский, *О двузвучной ситуации*, «Статистика речи и автоматический анализ текста» (СтРААТ), Л., 1971.

В русле этих положений, образующих основу теории, которую называют инженерной лингвистикой текста, в 60-е годы было выполнено большое число информационных, статистических и структурно-составительных исследований по английскому, французскому, немецкому, испанскому и русскому языкам¹⁰. Эти исследования показали, что текст представляет собой многоуровневую избыточную информационную систему, верхний ярус которой занимает лексика и лексическая семантика, составляющие наиболее информационный пласт языка. Ниже располагается морфология и «грубый» синтаксис, затем идут семантико-синтаксические отношения и, наконец, наименее информационным «нижним» ярусом оказывается стилистика.

Представление текста в виде многоярусной информационной системы позволило определить последовательность построения общей системы МП, которая включает следующие этапы: «грубый» лексический (пословный и пооборотный) МП, лексико-грамматический МП, предусматривающий устранение лексической многозначности и первичную грамматическую организацию выходного текста, семантико-синтаксический (и даже стилистический) «высококачественный» перевод¹¹.

С середины 60-х годов группа СтР приступила к составлению и машинной реализации алгоритмов, воплощающих первый и второй этапы построения общей системы МП. Центральное место здесь занимают автоматические словари (АС), которые позволяют путем пословного и пооборотного перевода извлекать из иностранного текста его основную информацию. Таким образом работающий АС реализует первый лексический этап МП. В группе СтР было построено и опробовано три таких алгоритма и программы — «АлгАС Крисевича»¹², «АлгАС Вертеля»¹³ и «АлгАС Петровской»¹⁴. Наиболее удобным и надежным с точки зрения промышленной эксплуатации оказался АлгАС Крисевича.

Одновременно составлялись и реализовались на ЭВМ семантические алгоритмы устранения многозначности слов и словосочетаний¹⁵, а также

¹⁰ Библиографию этих работ см. в книге: К. Б. Бектаев, *Статистика речи, 1957—1972 гг.* Библиографический указатель, Алма-Ата, 1972, стр. 21—63, 71—87.

¹¹ См.: R. G. Piotrowski, H. C. Georgiev, *La traduction automatique en U.R.S.S.*, «Revue roumaine de linguistique», XIX, 1, 1974, стр. 77. На описанную стратегию ориентируется в целом и Всесоюзный центр переводов (ВЦП), координирующий работы в области МП (см.: В. Н. Герасимов, Ю. Н. Марчук, *Современное состояние машинного перевода, «Машинный перевод и автоматизация информационных процессов»*, М., 1975, стр. 5—15). В этом же направлении работают и зарубежные группы, осуществляющие промышленный и экспериментальный МП.

¹² В. С. Крисевич, *Организация и работа автоматического словаря для машинного перевода*, в кн.: «Статистика текста» (СТ), II — Автоматическая переработка текста, Минск, 1970, стр. 312—320. Алгоритм В. С. Крисевича был опробован на двух капитальных англо-русских АС — АС по полупроводниковой технике и АС оборотов по сельскохозяйственной технике — см.: В. В. Гончаренко, Э. М. Добрускина, *Лексический перевод английских научно-технических текстов с помощью ЭВМ, «Автоматическая переработка текста. Тематический сборник»* (АПТ), Кишинев, 1972, стр. 5—40. В настоящее время этот автоматический словарь полностью перестроен применительно к ЕС—ЭВМ.

¹³ Е. В. Вертель, *Автоматический немецко-русский словарь для перевода научно-технических текстов*, сб. «Частные вопросы автоматического анализа текстов», Минск, 1972.

¹⁴ М. П. Ионичэ, В. М. Петровская, *Программа машинного перевода французских глагольных форм на русский и молдавский языки*, «Уч. зап. [Бельск. пед. ин-та им. А. Руссо]», 40, 1970.

¹⁵ Л. И. Трис, *Об одной модели распознавания лексических значений неоднозначных слов*, СтРААТ — 1972, Л., 1973; ср.: Ю. Н. Марчук, *Опыт машинной реализации дистрибутивной методики определения лексических значений*, СтРААТ — 1972; В. Н. Блани, *Об одном подходе к формализации семантики*, «Вопросы общей и прикладной лингвистики», Минск, 1975; и др.

морфолого-синтаксические алгоритмы¹⁶. В настоящее время алгоритмизация лексических, морфолого-синтаксических и семантико-синтаксических аспектов МП опирается на многоцелевой автоматический русский словарь МАРС. Этот словарь представляет собой систему наборов лингвистических сведений, алгоритмических и программных средств, организованную в виде «банка» лингвистических данных: МАРС обеспечивает порождение различных единиц русского текста в зависимости от конкретного лингвистического алгоритма, в том числе алгоритма МП¹⁷.

Нужды информационно-статистического исследования текста, а затем программирование лексических, семантических и морфолого-синтаксических алгоритмов потребовали создания целой системы сервисных программ и стандартных модулей, которые используются как для первичной обработки текста, так и при построении сложных алгоритмов и программ¹⁸.

Исследовательские группы, реализовавшие инженерно-лингвистический подход, широко практиковали в 60-х и в 70-х годах экспериментальную проверку построенных алгоритмов МП. Группа Ю. А. Моторина и Ю. Н. Марчука показала результаты работы лексико-морфологической системы МП английских общественно-политических текстов¹⁹. Что касается группы СтР, то она осуществляла показ своих программ не только в узком профессиональном кругу (первая стадия экспериментальной проверки), но постоянно демонстрировала работу машинных алгоритмов научной общественности Москвы, Ленинграда, Минска, Кишинева и других городов, в том числе представителям других коллективов МП (см. «Известия» 30 V 1970; «Молдова социалиста» 23 X 1974; «Советская индустрия» 26 XII 1974; «Тюменская правда» 29 V 1974; «Казахстанская правда» 19 I 1977 и т. д.). Эти эксперименты, позволившие отобрать и отшлифовать наиболее перспективные с точки зрения запросов потребителя алгоритмы, подготовили почву для промышленной эксплуатации отечественных систем МП.

Первая в СССР промышленная эксплуатация системы лексического МП осуществлена в 1976 г. в Чимкентском пединституте (ЧПИ) по заказу Института химии АН КазССР²⁰.

Система включает АС общеупотребительной лексики и АС общеупотребительных оборотов, построенные в Минском, Кишиневском и Ленинградском коллективах СтР²¹ и АС отраслевой химической терминологии,

¹⁶ О. А. Афаюва, Автоматическое устранение грамматической многозначности английских *ing*-овых форм, СтРААТ — 1972; А. А. Коверин, Д. М. Скитневский, Опыт грамматического анализа на ЭВМ французских научно-технических текстов, «Дистрибутивно-статистическое описание текстов», Иркутск, 1973.

¹⁷ Л. Н. Беляева, Е. М. Лукьянова, Многоотраслевой русский автоматический словарь для нужд машинного перевода, «Международный семинар по машинному переводу. Москва, 25—27 ноября 1975. Тезисы докладов и сообщений» (МСМП), М., 1975, стр. 48—49.

¹⁸ Описание библиотек таких сервисных программ и модулей читатель может найти в работах: А. В. Зубов, Переработка текста естественного языка в системе «человек — машина», СтРААТ, Л., 1974; Д. М. Скитневский, Система программирования лингвистических алгоритмов, СтРААТ — 1974, Л., 1974, стр. 163—182.

¹⁹ Ю. А. Моторин, Ю. Н. Марчук, Реализация автоматического перевода на современных серийных ЭВМ общего назначения, «Вопросы радиоэлектроники», серия ЭВТ, 1970, 7.

²⁰ Эксплуатация системы осуществляется коллективом, куда входят проф. К. Б. Бектаев (руководитель хозяйства), канд. филол. наук П. В. Садчикова, А. Т. Кобзева, В. Н. Москвина, Л. П. Приходько, Г. И. Шамшова. Научно-консультационную и программистскую помощь проводят проф. Р. Г. Пиотровский, канд. филол. наук Л. Н. Беляева и ст. научн. сотр. И. И. Чайковская (Ленинград).

²¹ С. В. Ястребова, Список общеупотребительных лексем, СТ, II, Минск, 1970; Л. Н. Беляева, П. В. Садчикова, И. И. Чайковская, Англо-русский словарь общеупотребительных оборотов, «Инженерная лингвистика и оптимизация преподавания иностранных языков. Сборник научных работ», Л., 1976.

составленный П. В. Садчиковой в ЧПИ²². Система реализована на ЭВМ семейства «Минск» с помощью АлгАС Кричевича. Временные характеристики работы системы следующие: английский текст длиной в 1 тыс. словоупотреблений (около трех полных страниц среднего объема) перерабатывается вместе с вводом и выводом на печать за 20—25 минут.

В настоящее время работа системы осуществляется в режиме адаптации к узкой тематике документов и к информационно-лингвистическим запросам потребителя. Эта адаптация осуществляется путем постоянного пополнения, корректировки и специализации АС. В дальнейшем планируется широкое интерредактирование получаемых на ЭВМ результатов через дисплей.

Рассмотрим основные принципы промышленного адаптивного МП на конкретном примере.

Приведенный в таблице (стлб. 1) фрагмент американского патента по нефтехимии (его следует читать сверху вниз) был переведен с помощью того общезыкового и отраслевого АС, который используется для перевода статей и монографий по указанной тематике (стлб. 2). Однако этот перевод нельзя назвать удовлетворительным: в нем, во-первых, отсутствует цифровая информация, а во-вторых (и это главное) — не учитываются лингвистические особенности патентных текстов. Так, например, английское словосочетание *in accordance with*, употребленное в патентных текстах, должно переводиться только как *в соответствии с*, а патентное *in which* имеет русским эквивалентом оборот *отличающийся тем, что*. Аналогичным образом *claim* имеет в патентных текстах значение «пункт патентной формулы».

Короче говоря, для перевода патентных документов пришлось построить особый словарь, учитывающий идиоматику этих текстов. Использование такого АС значительно повышает качество перевода патентных текстов (см. стлб. 3).

Машинный перевод высокого качества (стлб. 4) можно получить осуществляя редактирование выработанного автоматом текста перед выдачей его на печать. Для этого фрагменты перевода последовательно высвечиваются на экран дисплея и корректируются редактором перевода. Корректировка рассматриваемого фрагмента на дисплее заняла 40 секунд²³.

Описанная система может быть применена для перевода текстов с языков, использующих не только латинскую и кириллическую графику, но также слоговой и иероглифический алфавит. В частности, в ЧПИ начаты работы по осуществлению промышленного перевода японских химических текстов.

Само собой разумеется, что эксплуатация АС в Чимкентском пединституте является лишь первым шагом на пути создания советских систем промышленного МП. Однако этот опыт говорит в пользу последовательно-экспериментального решения проблемы МП, сбалансированного с теоретической инженерной лингвистикой текста.

Говоря о перспективах развития МП, нельзя ограничивать их только описанными подходами. Решение этой проблемы проглядывает в некоторых нетривиальных инженерно-лингвистических алгоритмах, находящихся за пределами традиционного МП. В качестве примера можно указать на автоматизированную систему тезаурусного распознавания смысла текста, опирающегося на идеи искусственного интеллекта, — систему,

²² К. Б. Бектаев, П. В. Садчикова, Лексико-грамматические объекты отраслевого автоматического словаря, МСМП, 1975, стр. 16—17.

²³ Авторы приносят свою благодарность директору Института электроники АН ЛатвССР акад. Э. А. Якубайтису за предоставленную возможность провести эксперимент в ВЦ Института по интерредактированию машинного перевода на дисплее.

Фрагмент адаптивного машинного перевода американского патента¹

Английский текст	Русск. пер., осущ. ЭВМ с помощью общего и отраслевого АС	Русск. пер., осущ. ЭВМ с помощью общего АС и отраслевого патентного АС	Русск. пер., отред. с помощью дисплея
1	2	3	4
.	.	П. 2.	П. 2.
2	000000	10	10
.	10	10	10
A	10	10	10
PROCESS	ПРОЦЕСС	ПРОЦЕСС	ПРОЦЕСС
IN	СОГЛАСОВАНО, В СООТВЕТСТВИИ С	В СООТВЕТСТВИИ С	В СООТВЕТСТВИИ С
ACCORDANCE	10	10	10
WITH	10	10	10
CLAIM	ТРЕБОВАНИЕ — ПУНКТ — ПРЕТЕНЗИЯ — ТРЕБОВАТЬ	ПУНКТ ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ	ПУНКТОМ ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ
1	000000	ОДИН	ОДИН
IN	В — НА — ЧЕРЕЗ — С — ВО	ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ТЕМ, ЧТО	ОТЛИЧАЮЩИЙ ТЕМ, ЧТО
WHICH	КОТОРЫЙ — КАКОЙ — ЧТО	10	10
FROM	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТ
ABOUT	10	10	10
0.01	000000	0.01	0.01
TO	К — В — ДО — 10	К — В — ДО — 10	ДО
2	000000	2	2
PERCENT	ПРОЦЕНТОВ	ПРОЦЕНТОВ	ПРОЦЕНТОВ
OF	10	10	10
A	10	10	10
POUR	ДЕПРЕССАНТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ДЕПРЕССАНТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ДЕПРЕССАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ
POINT	10	10	10
DEPRESSANT	10	10	10
IS	ДОБАВЛЯЕТСЯ К	ДОБАВЛЯЕТСЯ К	ДОБАВЛЯЕТСЯ К
ADDED	10	10	10
TO	10	10	10
THE	10	10	10
SYNTHETIC	НЕОЧИЩЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕФТЬ	НЕОЧИЩЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕФТЬ	НЕОЧИЩЕННОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ
CRUDE	10	10	10
OIL	10	10	10
.	.	.	.

¹ В машинном переводе используются следующие условные обозначения: 000000 — отсутствие эквивалента в словаре, 10 — слово либо не переводится на русский язык, либо входит в уже переведенный оборот.

- ЗАПРОС:** ПРОШУ ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЩУЮ ТЕМУ ДОКУМЕНТА
далее идет французский текст документа
- ОТВЕТ:** ДОКУМЕНТ ОТНОСИТСЯ К ТЕМЕ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ КОМПОНЕНТЫ.
- ЗАПРОС:** ПРОШУ ДАТЬ МАШИННЫЙ РЕФЕРАТ ДОКУМЕНТА.
- ОТВЕТ:** В ДОКУМЕНТЕ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: РЕЦЕПТУРА ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА, КРАТКО ОПИСАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ЧАСТЬ, РАССМОТРЕНЫ СВЯЗУЮЩЕЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧЕСКОЕ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, АКРИЛОВОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. РАССМАТРИВАЕТСЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТАКИХ КОМПОНЕНТОВ, КАК ПЛАСТИФИКАТОР И ПИГМЕНТ, ПРИВОДЯТСЯ ИНГИБИРУЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ, СОЛИ ЦИНКА, СТРОНЦИЯ, СВИНЦА. РАСТВОРИТЕЛЬ. ИССЛЕДОВАНЫ ЛЕГУЧИЕ СОЛЬВЕНТЫ, СПИРТЫ. ДОБАВКИ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИККАТИВЫ. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОПИСАНЫ ПОЛИМЕРЫ: ЭПОКСИДЫ, АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ. КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА. ПРИ ЭТОМ ОЦЕНИВАЕТСЯ ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРА. ИЗУЧЕН ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР.
- ЗАПРОС:** ПРОШУ ДАТЬ СВОЙСТВА ПЛЕНКИ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
- ОТВЕТ:** МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНКИ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА, Т. Е. ТВЕРДОСТЬ, ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОДЛОЖКОЙ. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ КОРРОЗИИ. ПОД ЭТИМ ПОНИМАЕТСЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ, СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ РЕАКТИВАМ: ЩЕЛОЧАМ. ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕНКИ. ОЦЕНИВАЕТСЯ ДЕКОРАТИВНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ.

Рис. 1. Образец аннотирования французского текста по окраске металлических поверхностей, осуществляемого в ходе диалога между читателем-специалистом и ЭВМ

которая реализована в Кишиневском коллективе СтР²⁴. Эта система, работающая в диалоговом режиме на ЭВМ семейства «Минск», уже сейчас выдает связный русский реферат иностранного научно-технического текста (см. рис. 1). Дальнейшее совершенствование автоматического тезаурусного реферирования может привести к созданию совершенно оригинальной системы МП, осуществляющей подобно тому, как это делает опытный переводчик, не буквальный перевод, но свободный содержательный пересказ иностранного текста.

Таким образом, машинный перевод нельзя рассматривать как узкоприкладную ветвь современного языкознания. Подобно другим разделам инженерной лингвистики, МП служит полем для приложения различных лингвистических концепций. Тем самым машинный перевод выполняет по отношению к теории языка важную методологическую функцию, существо которой состоит в выработке критериев истинности в ходе познания лингвистической действительности.

²⁴ А. Н. Попеску, М. С. Хажинская, Тезаурусный метод составления алгоритма для автоматического реферирования французского научно-технического текста, АПТ, Кишинев, 1972; Р. Г. Пиотровский, Инженерная лингвистика и искусственный интеллект, «VIII Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Моделирование информационных процессов целенаправленного поведения (тезисы симпозиума, Тбилиси, 9—12 ноября, 1976 г.)», Тбилиси, 1976, стр. 530—532.

ЧЕРНЫШЕВА И. И.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАЗЕОЛОГИИ

Фразеологические исследования в нашей стране достигли в последние пятнадцать — двадцать лет внушительного размаха. В многочисленных работах по изучению устойчивых словесных комплексов (УСК) различных типов получено много нового и оригинального как для фразеологии отдельных языков, так и для общей теории фразеологии. Несомненно также и то влияние, которое оказали работы отечественных лингвистов на развитие этой области за рубежом¹.

Однако при всем положительном, что имеется во фразеологических исследованиях, сейчас назрела настоятельная необходимость проанализировать некоторые проблемы, неблагоприятно сказывающиеся на дальнейшем плодотворном развитии этого раздела языкознания.

К таким проблемам относятся в первую очередь значительные расхождения ученых в понимании объекта фразеологии и как следствие этого неупорядоченность фразеологической терминологии. Основные термины, такие, как «фразеология», «фразеологизм», «фразеологическая единица», в трудах наших языковедов неоднозначны.

Под фразеологизмами, например, понимаются не только семантически преобразованные УСК ограниченной (словосочетания) и неограниченной (словосочетания и предложения) синтаксической структуры, но и все прочие УСК, т. е. и такие, которые не претерпели семантических преобразований, но обладают семантической отдельностью или отдельностью номинации.

Отсутствие однозначности термина «фразеологизм» способствует приобретению последним новых значений при анализе других уровней языка. Так, в частности, термин «фразеологизм» в настоящее время используется при исследовании морфологического состава слова в словообразовании. Выделено, например, понятие «морфологического фразеологизма»² для обозначения слов, семантическая неразложимость которых как будто бы противоречит их морфемной структуре, т. е. имеет место невыводимость общего значения из значения составляющих частей; или термин «деривационный фразеологизм»³ для обозначения слов, возникающих при регулярном словообразовании.

Препятствием для унификации терминов «фразеологизм», «фразеологическая единица» является в настоящее время отсутствие единой точки зрения на объем фразеологии как лингвистической дисциплины. Это, конечно, не означает, что у исследователей данной области лингвистики нет четкого представления о том, какие устойчивые словесные комплексы характерны для того или иного языка или для определенного множества языков. Как раз механизм образования и структурно-семантические

¹ Ср., например: U. We i n r e i c h, Problems in the analysis of idioms, сб. «Substance and structure of language», Berkeley — Los Angeles, 1969; Th. Sch i p p a n, Einführung in die Semasiologie, Leipzig, 1975; H. B u r g e r, unter Mitarbeit von H. J a k s c h e, Idiomatik des Deutschen, Tübingen, 1973; и др.

² Е. С. К у б р я к о в а, Основы морфологического анализа (на материале германских языков), М., 1974, стр. 49.

³ Там же, стр. 51.

свойства различных разрядов УСК наиболее исследованы. В некоторых работах при помощи специализированных методов показаны кардинальные отличия фразеологических единиц от всех других видов образований. Например, в работе Н. Н. Амосовой на основе контекстологического метода анализа строго выделены «уникальные» образования английского языка («идиомы» и «фраземы») и различные виды серийных и моделированных сцеплений слов, устойчивых фраз («узально ограниченные сочетания», «грамматико-стилистические конструкции», «фразеолоиды», «паремии»), которые категорически выводились автором за пределы фразеологии. Фразеологизмы в узком объеме как единственный объект фразеологии выделяются в концепциях таких ведущих отечественных фразеологов и лексикографов, как А. М. Бабкин, В. П. Жуков и др.

Однако параллельно с характеристикой фразеологического пласта были установлены и другие виды УСК, получившие в ряде работ специальные терминологические обозначения. В нашей работе, например, под общим названием «устойчивые сочетания слов нефразеологического типа» описаны единицы, среди которых выделены такие разряды, как лексические единства, фразеологизованные образования и моделированные (типовые) образования⁴. Парадигматический план изучения различных классов УСК, их структурно-семантическое описание даны, хотя и не в полном объеме, в целом ряде фразеологических работ.

В чем же заключаются основные расхождения фразеологов? Они сводятся в принципе к четырем точкам зрения:

1. Объектом фразеологии как лингвистической дисциплины является лишь один разряд УСК. Это — семантически преобразованные сцепления слов, соотносимые со словом и его синтаксическими функциями (Н. Н. Амосова, В. П. Жуков, А. М. Бабкин и др.).

2. Объектом фразеологии являются семантически преобразованные сцепления слов, соотносимые как со словом, так и с предложением (А. В. Кунин, А. Д. Райхштейн и др.).

3. Объектом фразеологии являются устойчивые словесные комплексы любого структурно-синтаксического типа с семантическим преобразованием и без такового, но обладающие отдельностью номинации (В. Л. Архангельский, Н. М. Шанский и др.).

4. Объектом фразеологии является «сочетаемость лексем» (М. М. Копыленко, З. Н. Попова).

При четвертом понимании фразеологии происходит объединение двух различных объектов: во-первых, семантической валентности слов в синтагматике, во-вторых, узальной воспроизводимости словесных комплексов, приобретших семантическое обособление, т. е. знаковые свойства. На кардинальное отличие этих двух фактов языка указывала еще Н. Н. Амосова⁵.

В последние годы наметился определенный поворот к третьей точке зрения⁶, что не в последнюю очередь связано с современными тенденциями лингвистики и, прежде всего, ее социолингвистического направления, объектом которого является исследование функций языка как общественного явления.

⁴ И. И. Чернышева, Фразеология современного немецкого языка, М., 1970, стр. 62—79.

⁵ Н. Н. Амосова. Современное состояние и перспективы фразеологии, ВЯ, 1966, 3, стр. 68—69.

⁶ Ср. рассмотрение фразеологической проблематики в работах: Л. И. Ройзензон, Лекции по общей и русской фразеологии, Самарканд, 1973; С. Г. Гавриш, Фразеология современного русского языка, Пермь, 1974; М. Д. Степанова, I. I. Сегнушев, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, М., 1975; и др.

Изучение функциональных свойств УСК как особых языковых единиц в общественной коммуникации является, таким образом, частью общей большой задачи, стоящей перед социалингвистикой. Поиски строгих критериев, позволяющих объединить разряды весьма различных УСК в единую систему, всегда представляли значительные и, как казалось, непреодолимые трудности. Это явилось причиной появления таких известных во фразеологии критериев фразеологичности, как воспроизводимость, устойчивость, семантическая уникальность, семантическая нерегулярность, компликативность и др. Нередко в дискуссиях о критериях фразеологичности назывались вторичные признаки. К таким, на наш взгляд, относятся, например, признаки воспроизводимости, в том числе и так называемой фразеологической воспроизводимости⁷, и устойчивости, понимаемой в том же смысле, что и воспроизводимость. Совершенно очевидно, что свойства воспроизводимости и устойчивости тех или иных сцеплений слов являются не первопричиной, а следствием того, что данные образования входят в семантическую систему языка.

Сущность фразеологизмов, т. е. семантически преобразованных сцеплений слов, равно как и других разрядов УСК, может быть объяснена и понята только из знаковой природы языка и его важнейших функций. Устойчивость и воспроизводимость фразеологических и других сложных знаков является следствием того, что им, наряду с другими языковыми знаками (например, лексемами)⁸, присуща определенная семантика. Они, наравне с другими языковыми знаками, осуществляют определенные номинации. Сложные или составные знаки (УСК) показывают по сравнению со знаками простыми (словами или лексемами) определенную специфику в семантическом и функциональном отношении. И это свойственно не только одному разряду УСК, таким, как фразеологизмы или идиомы. Здесь отличие значений и функциональных характеристик выступают особенно четко (ср. работы А. М. Бабкина, В. Л. Архангельского, В. П. Жукова, А. В. Кушина, Ю. Ю. Авалиани, И. И. Чернышевой, С. Г. Гаврина, Х. Бургера, Х. Якше и многих других)⁹.

Семантические и функциональные различия, выражаемые отдельными словами или словосочетаниями, наблюдаются и у других разрядов УСК, например, у глагольных аналитических конструкций или глагольно-именных словосочетаний типа *дать согласие — согласиться, одержать победу — победить, принять решение — решить*. Или нем. *in Empfang nehmen — empfangen, Gebrauch machen — gebrauchen*. Эти глагольно-именные сочетания воспроизводятся по продуктивной структурно-семантической модели переменных словосочетаний «переходный глагол + существительное», однако роль компонентов в сочетании и общее значение синтаксической модели здесь отличаются от переменных словосочетаний. Глагол в данной конструкции десемантизирован и специализирован для выражения семантики существительного. Последнее всегда является однородным образованием с коррелятивным глаголом данного оборота. Как

⁷ Л. И. Ройзензон, указ. соч.

⁸ Особенностям языковых знаков и их кардинальному отличию от всех прочих знаков семиотических систем посвящена значительная специальная литература (см. в кн.: «Общее языкознание. Формы существования, функция, история языка», М., 1970, гл. II — Знаковая природа языка). Некоторые исследователи считают, что «знаковое использование» не превращает языковую единицу в знак и что слово в целом знаком не является (В. М. С о л ц е в, *Язык как системно-структурное образование*, М., 1974).

⁹ Этой проблеме был также посвящен специальный симпозиум «Фразеологизм и слово», см. материалы симпозиума в кн.: «Труды Самаркандского государственного университета им. А. Навои», Новая серия, 178, Вопросы фразеологии, III, Самарканд, 1970; «Вопросы фразеологии», V, Самарканд, 1972, ч. 1 и 2.

же ведут себя в языке эти две соотносительные единицы, другими словами, дублируют ли они друг друга? Ответ на этот вопрос содержится частично, например, в предисловии к известному «Фразеологическому словарю русского языка» под ред. А. И. Молоткова, где по этому поводу говорится: «Описательный оборот такого типа — широко распространенная и очень продуктивная конструкция современного русского языка. Она возникла и развивалась в языке не как лексический дублет глагола, а как грамматически более емкий прием характеристики глагольного действия. Например: можно сказать *одержать блестящую победу* и нельзя *победить „блестяще“* (?), можно *наносить огромный вред* и нельзя „огромно“ (?) *вредить* и т. п.»¹⁰. На аналогичные функции данных конструкций указывают также и ученые-германисты¹¹. В современном немецком языке, например, аналитические конструкции выполняют ряд функций, которые восполняют определенные пробелы системы глагола в выражении вида. Ср. *in den Streik treten* «забастовать» (*Ingressivum*) — *streiken* «бастовать» или определенные размежевания глагольной аналитической конструкции от коррелятивного глагола при стилистической маркированности: *in Erfahrung bringen* «выяснить» (канцелярский штамп) — *erfahren* «выяснить» (нейтр.).

Учитывая данное обстоятельство, т. е. фактор наличия специфических функционально-семантических особенностей языковых единиц в зависимости от их структурной организации, представляется обоснованной точка зрения, согласно которой объектом фразеологии как лингвистической дисциплины целесообразно считать не какой-то один тип устойчивых словосочетаний, а всю совокупность устойчивых сцеплений слов. Подобно лексикологии, объектом которой являются лексемы различного типа (с прямыми и переносным значениями), и во фразеологии должны изучаться УСК, обладающие «семантической отдельностью» во всем многообразии их семантической и структурной организации.

При такой постановке вопроса можно сделать вывод, что лексикология может объединять изучение как лексем, так и УСК, что и имеет место в нашей литературе. Однако здесь будет уместно напомнить о том, что УСК никак не дублируют лексику, а представляют собой особые единицы языка, отличающиеся семантическим своеобразием и особыми функциональными характеристиками, изучение которых требует специализированных методов исследования, особенно для центрального разряда УСК — фразеологизмов¹².

Среди актуальных вопросов фразеологических исследований следует также назвать проблему модели, которая в настоящее время требует уточнений в отношении моделирования центрального пласта УСК — фразеологических единиц. Если в более ранних работах целого ряда исследователей (Н. Н. Амосовой, А. В. Кунина, И. И. Чернышевой и многих других) считалось, что значение фразеологической единицы имеет единственный характер и что она не образуется по модели, которая определяла бы собой и структуру, и конкретный смысловой результат воспро-

¹⁰ «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, М., 1967, стр. 15.

¹¹ К.-Н. Daniels, Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Nominaler Ausbau des verbalen Denkkreises, Düsseldorf, 1963; Р. Р. Асфандиярова. Аналитические конструкции и их глагольные корреляты в современном немецком языке. АКД, М., 1968; И. И. Чернышева, Фразеология как система и ее связь с системой лексики. АДД, М., 1964; и др.

¹² Обзор данного аспекта был дан в ст.: В. Л. Архангельский, Методы фразеологического исследования в отечественном языкознании (60-е годы XX в.), сб. «Вопросы лексики и фразеологии современного русского языка», Ростов-на-Дону, 1966.

изводимого по ней образования, то сейчас этот тезис пересматривается¹³. Дело в том, что среди фразеологизмов имеются классы, обладающие выраженными структурными признаками, типа бинарных (парных) и компаративных сочетаний, что в известной мере предопределяет их семантические характеристики. Поэтому некоторых исследователей компаративных фразеологизмов конкретный языковой материал приводил, например, к установлению модели этих единиц на основе логико-лингвистического критерия¹⁴. Наличие сходства фразеологизмов не только в родственных, но и в разноструктурных языках приводит к выводу, что во фразеологии должны быть определенные элементы семантического моделирования, основывающиеся на определенных общих логических и ассоциативных процессах человеческого мышления, которые при равных материальных условиях способствуют возникновению идентичных или близких фразеологических единиц языка.

Обращаясь к наиболее актуальным задачам изучения УСК на современном этапе, необходимо обратить внимание на следующее.

В результате многочисленных работ отечественных лингвистов, работавших на фразеологическом материале русского, английского, немецкого, французского и многих других языков, лингвистический статус УСК различных разрядов исследован в широком объеме. Вместе с тем в этой части изучения фразеологии есть участки, и весьма важные, не нашедшие еще однозначного описания. Это прежде всего относится к семантике центрального пласта УСК — фразеологическим единицам.

Конечно, в специальной литературе по проблеме значения фразеологизмов содержится много важных обобщений и наблюдений. К ним относится установление того непреложного факта, что значение фразеологических единиц предполагает обязательное наличие определенного коннотативного компонента, который является ведущим. Это связано с природой их образования и функциональной значимостью. Данные знаки косвенного типа номинации и вторичных функций, как показано в ряде работ, возникают в связи с необходимостью выразить субъективное отношение говорящего к миру объективных явлений, выразить содержание, которое ничуть не менее, а порою и более важно, чем объективное, т. е. сообщение о самом объекте высказывания. Это — экспрессия, эмоции, оценки, сложная гамма отношений к миру объективных явлений, к предмету речи, к собеседнику, к самой ситуации речи и т. д. Иными словами, все, что обозначено в лингвистике термином «коннотация»¹⁵.

Следующей особенностью фразеологического значения рассматриваемого типа является тот факт, что коннотативный компонент значения создается на основе образа. Наиболее существенным в прагматическом плане является создание образа на базе раздельнооформленного словесного комплекса. В этом состоит отличие значения фразеологизма от значения лексемы с переносным значением.

Значение фразеологизма с его выраженной коннотативной направленностью, образующееся на основе раздельнооформленного комплекса, обладает определенной спецификой. С этим связано, по письменным и устным свидетельствам наших виднейших фразеографов (А. В. Кунина, А. И. Молоткова), сложность проблемы адекватной передачи фразеологического

¹³ См. об этом: Л. И. Ройзензон, указ. соч., стр. 95; М. Д. Степанова, *И. И. Сеглушева*, указ. соч., стр. 211.

¹⁴ Р. А. Глазырин, *Сопоставительный анализ компаративных фразеологических единиц в современных германских языках*. АКД, М., 1972, стр. 14.

¹⁵ Е. Н. Голкина, *Природа значения фразеологической единицы*, сб. «Вопросы семантики фразеологических единиц. Тезисы докладов и сообщений, I, Новгород, 1971, стр. 114.

значения в фразеологическом словаре. Ср. об этом следующее высказывание А. И. Молоткова: «Если исключить те редкие случаи синонимии фразеологизма и слова, которые отмечаются в языке, то лексическое значение любого фразеологизма не может быть передано словом, через слово или лексическим значением слова. Оно может быть передано только описательно, тем или иным описательным оборотом, в котором будет дано не просто обозначение того или иного конкретного качества, того или иного предмета, явления и т. д., а также уточняющая его, сопутствующая ему, чаще развернутая смысловая характеристика. Практический анализ лексических значений фразеологизмов русского языка, осуществленный, например, во „Фразеологическом словаре русского языка“, подтверждает это положение»¹⁶.

Среди особых свойств значения фразеологических единств называются также известная «диффузность», «широта и недетализированность семантики»¹⁷, «широкая семантическая основа»¹⁸, что проявляется в практической «приложимости» фразеологической единицы к более широкому классу предметов. Например, *плыть по течению* «действовать, поступать так, как вынуждают обстоятельства»; *белая ворона* «человек, резко выделяющийся чем-либо (независимо от его профессионального и социального положения)»; *под занавес* «к самому концу, в самом конце чего-либо (применительно к разным видам ситуаций и действий, совершаемых человеком)» и др.¹⁹.

Исследование этой проблемы проливает свет на определенные «загадки» фразеологии, заключающиеся в том, что объяснение значений таких фразеологизмов в различных словарях обнаруживает значительные расхождения. Это особенно видно в тех случаях, когда можно сравнить данные крупных современных фразеологических словарей. Так, например, немецкий фразеологизм *das Herz auf dem rechten Fleck haben* в словаре В. Фридриха²⁰ дается со значениями: 1) «быть мужественным человеком», 2) «быть разумным, трезвым человеком», а в словаре Рёриха²¹: «быть деловым, бескорыстным, готовым прийти на помощь человеку». Совершенно очевидно, что оба очень авторитетных словаря давали указанные значения соответственно наиболее типичным речевым реализациям фразеологизма, которые находились в их картотеках.

Учитывая то обстоятельство, что значение рассматриваемого фразеологизма генетически восходит к свободному сочетанию слов *das Herz auf dem rechten Fleck haben*, букв. «иметь сердце на правильном месте», можно ожидать, что общее или широкое значение фразеологизма «быть настоящим человеком» может получить дальнейшие реализации, такие, например, как «быть прямым человеком», «быть открытым человеком», «быть честным человеком» и т. п. Аналогичное явление наблюдается и на материале русской фразеологии²².

Как же можно объяснить широкую семантическую основу значения, возникающую во фразеологизмах этого типа?

¹⁶ А. И. Молотков, Лексическое значение фразеологии, сб. «Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц», Тула, 1968, стр. 316.

¹⁷ Г. И. Крамореико, К вопросу изменчивости семантики фразеологических единиц, «Уч. зап. Смоленск. гос. пед. ин-та им. К. Маркса», XI, 1962, стр. 44.

¹⁸ М. Д. Степанова, И. И. Сегнущева, указ. соч., стр. 214 и др.

¹⁹ Примеры заимствованы из работы А. М. Эмировой «Некоторые актуальные вопросы современной русской фразеологии (Опыт семантического анализа фразеологических единиц)», Самарканд, 1973, стр. 61.

²⁰ W. Friedrich, Moderne deutsche Idiomatik, München, 1966, стр. 206.

²¹ L. Röhricht, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg i. B., 1974, стр. 415.

²² А. М. Эмирова, указ. соч., стр. 30—33.

Решение этого вопроса связано с современным направлением семасиологических исследований во фразеологии. В основе анализа семантики фразеологических единиц последних лет лежит тезис о том, что она должна изучаться как результат взаимодействия семантики различных уровней языка — лексического и синтаксического. УСК как знаки вторичных функций создаются на основе продуктивных моделей синтаксиса. Учет генетической связи значений переменных (свободных) синтаксических структур и значений УСК, возникающих на их основе, обещает быть перспективным, о чем свидетельствуют уже первые работы.

Одной из центральных проблем данного цикла исследований является выяснение того, в какой мере фразеологизация синтаксической единицы, например словосочетания, влияет на характер значения фразеологизма по сравнению с семантическим сдвигом лексемы. Другими словами, есть ли отличия в семантике, образующейся на базе словосочетания и отдельного слова? Первые такие наблюдения²³ показывают определенные общие семантические признаки у переменных и устойчивых словосочетаний. В отличие от лексемы, где номинация направлена на изолированный предмет, переменное и устойчивое сочетания отражают в том и другом случае определенную ситуацию. Если переменное (свободное) словосочетание передает конкретную ситуацию, то значение фразеологизма, возникая на основе переноса значения данной конкретной ситуации на аналогичные отношения других явлений, имеет своим денотатом не изолированное явление, а ситуацию. Ср. типичное употребление недавно возникшего фразеологизма *под занавес*: *Эта находка была сделана буквально под занавес нашей археологической экспедиции*.

Различный характер номинации, осуществляемый фразеологическими единицами, объясняет, как можно думать, и наличие значительного количества фразеологических единств с широкой семантической основой.

Вторым аспектом фразеологической семантики, требующим уточнений, является вопрос, в какой степени отдельность компонентов синтаксического целого базисной синтаксической единицы сохраняется во фразеологизме. Если в период фразеологических исследований после известных работ В. В. Виноградова считалось, что во фразеологических единствах (демотивированных — «сращениях» — и мотивированных) поглощается и теряется собственное значение слов-компонентов и они образуют неразложимое семантическое целое, то в последующие годы стало очевидным, что значение фразеологизмов в этом отношении не представляет единой картины. Вопрос о том, что семантическая целостность этих единиц нуждается в уточнении, был поднят исследователями различных языков²⁴.

Однако проблема слов-компонентов в составе фразеологического комплекса далеко не изучена в части развития значений этих слов в рамках замкнутого целого. Еще очень мало исследованы вторичные семантические процессы, приводящие к потенциальному обособлению слов-компонентов, их новой лексической и синтаксической валентности.

²³ А. М. Мелерович, О внутренней форме фразеологизма, сб. «Вопросы семантики фразеологических единиц (на материале русского языка)». I — Тезисы докладов и сообщений, Новгород, 1971; и др.

²⁴ В. П. Жуков, О семантической целостности фразеологизма, сб. «Вопросы семантики фразеологических единиц...», стр. 28; Ю. Ю. А в а л а н и, К семантическим связям слов в самостоятельной функции и в составе фразеологических единиц, сб. «Вопросы описания лексико-семантической системы языка. Тезисы докладов», 1, М., 1971, стр. 15, и другие работы автора; А. Д. Р а й ш т е й н, О семантической членности фразеологических единиц, «Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Горького», 66, М., 1972; е г о ж е, Немецкие устойчивые фразы и устойчивые предикативные единицы. ДД, М., 1974.

Следует обратить внимание на известный метод структурной семантики — метод семантического поля, который весьма эффективен для установления семантических различий и системных связей лексических и фразеологических единиц. Первые работы в этой области показывают перспективность такого анализа²⁵. Однако в целом парадигматический план УСК исследован в настоящее время более всесторонне, нежели синтагматический.

Без изучения речевого поведения языковых знаков, как известно, не может быть получена адекватная характеристика объекта. Это тем более актуально для языковых знаков типа фразеологизмов, для которых характерна значительная вариативность компонентного состава в речевом использовании вплоть до актуализации отдельных компонентов или группы компонентов комплекса. Без анализа данного явления наше представление об этих единицах языка не может обладать и не обладает должной достоверностью. Этим объясняется то обстоятельство, что сейчас центр тяжести во фразеологических исследованиях перемещается на уяснение функциональной эффективности УСК в общественной коммуникации²⁶.

Выявление функциональных свойств УСК перспективно в рамках лингвистики текста, поскольку различные виды УСК осуществляют различные номинации и имеют различный прагматический эффект. Это предопределяет их анализ дифференцированно по различным текстам в пределах функциональных стилей того или иного национального языка.

Почему именно лингвистика текста предоставляет здесь такие большие возможности? Если вслед за А. В. Бондарко различать между такими понятиями, как смысл текста и план содержания текста, где первое — семантическая или семиотическая категория, а второе — лингвистическая, относящаяся к оформлению текста, то в построении плана содержания текста устойчивые словесные комплексы различных типов занимают в ряде случаев ключевые позиции. Это в первую очередь видно на текстах, характеризующихся «параметром модальности»²⁷, т. е. текстах, в которых проявляется отношение автора к сообщаемым фактам (тексты художественной прозы, публицистики).

Общезвестен прием выражения смысла текста через заголовки-фразеологизмы, как правило, ситуативно модифицированные, что особенно часто имеет место в определенных газетных жанрах. Например: *Когда молодо — не зелено* («Лит. газ.», 1975, № 39, стр. 3), *Вагон и ныне там* («Комс. правда», 1977, № 92, стр. 2), *Ложка дегтя* («Веч. Москва», 1977, № 60, стр. 2). Отметим попутно, что неслучайным является тот факт, что в приведенных примерах фигурируют фразеологизмы пословичного типа. Согласно наблюдениям за функционированием этих единиц в германистике²⁸, сфера их употребления показывает существенные изменения: наблюдается резкое сокращение употребительности этих единиц в разговорной речи и их широкое использование в письменном варианте литературного языка, где они выполняют стилистические функции.

К недостаткам исследования функционального аспекта фразеологии в настоящее время следует отнести: 1) слабое использование количествен-

²⁵ М. И. Семко, Семасиологическое исследование лексико-фразеологического поля, связанного с понятием «desertion» (на материале английских публицистических текстов). АКД, М., 1974; М. Ю. Тихонова, Лексико-фразеологическая микросистема «много» в современном русском языке. АКД, Самарканд, 1971.

²⁶ С. Г. Гаврин, Проблемы функционирования и развития фразеологического фонда русского языка в связи с общими вопросами теории фразеологии. АДД, Л., 1975, стр. 7.

²⁷ И. Р. Гальперин, О понятии «текст», ВЯ, 1974, 6, стр. 76.

²⁸ Н. В. Uger, Н. Jaksche, указ. соч., стр. 57 и др.

ного анализа употребления устойчивых словесных комплексов в тексте, что препятствует получению уточненных данных в области изучения соотношения «семантика — функция»; 2) недостаточную изученность текстообразующих потенций УСК в текстах различных типов.

Изучение текстообразующих потенций УСК, суть которых состоит в реализации лингвистических свойств данных единиц языка, предполагает: а) определение (уточнение) состава наиболее результативных единиц для данного текста (в прагматическом плане); б) определение (уточнение) типов реализаций компонентного состава для данного текста. Так, например, для текстов художественной прозы текстообразующие потенции УСК могут проследиваться в первую очередь на той части УСК, которые большинством советских лингвистов обозначаются как фразеологические единицы или идиомы. Эмотивная функция, выполняемая этими единицами, связана с их лингвистическими свойствами как языковыми знаками, возникающими на основе косвенной номинации. Ими являются: 1) особый, специфический только для этих единиц способ выражения коннотативного компонента семантики через разделенно-оформленный словесный комплекс; 2) потенциальная ситуативная вариативность компонентного состава, повышающая экспрессивный потенциал данных единиц; 3) вторичные семантические процессы во фразеологическом комплексе, следствием которых является потенциальная семантическая членимость компонентного состава и актуализация компонента или компонентов фразеологизма.

Изучение употребления фразеологизмов в тексте художественной прозы дает возможность установить как чисто языковые характеристики этих единиц в речевом использовании, так и индивидуальные приемы их включения в структуру текста. Одной из интереснейших проблем в этой связи является выяснение того, насколько типы вариаций компонентного состава (включая семантическую изоляцию отдельных компонентов в текстах художественной прозы, где они в известном отношении запрограммированы и связаны с сознательной литературной обработкой текста) характерны для речевой коммуникации в устном варианте языка. В текстах другой разновидности письменного варианта языка — деловой прозе, а также в информативных жанрах газеты анализ должен вскрыть другие функциональные особенности УСК. Как известно из исследований языка газеты²⁹, здесь на первый план выдвигаются различные разряды моделированных и серийных образований, узусализованных или же находящихся в стадии узусализации. В информативных жанрах прессы немецкого языка наиболее частотными УСК также являются моделированные и серийные образования, в том числе глагольные аналитические конструкции, реализующие свои полифункциональные свойства.

Изучение УСК в различных типах текстов письменного и устного вариантов языка должно, таким образом, дать адекватную картину многогранной специфики этих единиц в языковой коммуникации. Никакое искусственное ограничение фразеологических исследований одним разрядом УСК, даже если он является центральным и наиболее специфичным, не может быть оправданным с точки зрения функциональной значимости языковых знаков различных типов в общественной коммуникации.

Сказанное тем не менее не означает, что все разряды УСК целесообразно называть фразеологизмами, поскольку каждый из таких разрядов — фразеологические единицы, фразеологизованные образования, аналитические глагольные конструкции и др. — обладает различными текстообразующими потенциями, что является следствием реализации различных лингвистических свойств, присущих этим языковым единицам.

²⁹ В. Г. Костомаров, Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики, М., 1971.

ТАДЖИЕВ Д. Т.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Усложненность синтаксического строя характеризует таджикский язык, в процессе тысячелетнего развития которого сформировалась гибкая стилистическая система, употреблявшаяся для выражения самых разнообразных коммуникативных потребностей. Став языком социалистической нации, таджикский язык приобрел широкий функциональный диапазон. Он обслуживает самые различные стороны жизни народа. Существенное расширение социальной функции современного таджикского литературного языка нашло непосредственное отражение в его лексико-семантическом, стилистическом и, что особенно важно для нас, синтаксическом строе. В области синтаксиса особенное развитие получает сложное предложение, что связано с развитием сложных категорий мышления в эпоху социального и научно-технического прогресса.

Изучение сложноподчиненного предложения, как особой языковой единицы, несмотря на ряд ценных работ, не достигает того уровня, на котором находится исследование элементарных синтаксических единиц, «минимальных конструкций»; изучение сложноподчиненного предложения не привлекает, к сожалению, того внимания, которое в последнее время уделяется анализу единиц более высокого уровня — структуре текста.

Несомненным достижением советской синтаксической школы является установление того факта, что сложноподчиненное предложение представляет особую категорию, принципиально отличающуюся от простого предложения. Особенно важны разыскания А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, В. А. Богородицкого, В. В. Виноградова, Н. С. Поспелова, В. А. Белошапковой, явившиеся мощным стимулом всестороннего исследования данной проблемы.

Во-первых, сложное предложение «имеет свое собственное строение, вследствие чего части сложного предложения могут включать связочные средства или иметь другие структурные особенности, диктуемые строением сложного предложения как целого»; сложное предложение «имеет значение, не сводимое к сумме значений частей, обладает смысловой цельностью и, таким образом, составляет структурное и семантическое единство, функционирующее как одна коммуникативная единица»¹. Языковые единицы более высокого порядка представляют собой последовательности единиц предшествующего порядка, но в то же время не могут рассматриваться как суммы таковых (слог — последовательность фонем, но он имеет особые структурные и функциональные черты: специальные дополнительные просодические характеристики, сочетаемостные свойства и т. п.; простое предложение — не арифметическая последовательность слов, при его анализе выявляется особое качество предикативности, интонация и т. д.; сходным представляется отношение сложного предложения и простого предложения).

¹ В. А. Белошапкова, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967, стр. 16.

Во-вторых, сложное предложение в его характерном для индоевропейских языков виде далеко не универсально. Даже среди индоевропейских языков наблюдается такое положение, когда сложноподчиненное предложение в одном из языков (например, в русском) соответствует глагольно-именному обороту в другом языке (например, в таджикском). Ср. тадж. *Чӯброи ман ба ҳавз фиристодагӣ чӯброи тӯт буданд*²: русск. *Папки, которые я бросил в пруд, были туювыми*.

Придаточные предложения отличаются от простых предложений тем, что они не имеют, в отличие от простых предложений, коммуникативной направленности, сохраняя вместе с тем свойство предикативности. Если сопоставить простые предложения с придаточными в составе сложноподчиненных, а также с такой важной синтаксической единицей, как словосочетание, то их характеристика может быть представлена следующим образом:

	Предикативность	Коммуникативность
Словосочетание	—	—
Простое предложение	+	+
Придаточное предложение	+	—

Исследования сложноподчиненного предложения в течение многих десятилетий направлены на разработку их классификации³.

Общая тенденция развития теории — отход от классификации по какому-либо одному признаку и обращение к множественности критериев. Факты таджикского языка говорят о полной неприменимости классификации по одному признаку. Придаточные предложения в принципе целесообразно делить по их соответствию членам предложения, как это было принято в таджикских школьных и вузовских учебниках: чему соответствовало бы при таком делении, например, придаточное следствия. Классифицировать придаточные предложения по вводящим их союзам затруднительно вследствие многозначности некоторых союзов. Полисемия придаточных препятствует их классификации и на основании семантического критерия.

Важной вехой в истории разработки проблемы классификации сложноподчиненных предложений стал структурно-семантический принцип, выдвинутый В. А. Богородицким⁴ и развитый в трудах Н. С. Поспелова⁵. Важнейшей составной частью именно этой классификации явился принцип соотносительности придаточного предложения ко всему главному предложению или к одному из его членов. Идеи В. А. Богородицкого, обладающие как семантической, так и структурной направленностью, открывают широкие перспективы для исследования таджикского гипотаксиса. Как известно, среди таджикских союзов различаются синтаксические (например, *ки*)⁶ и семантические союзы. Существует закономерность, соответственно которой в таджикском языке синтаксические союзы обычно связывают придаточное с одним из членов главного пред-

² Примеры приводятся из произведений современных таджикских писателей: С. Аййи, С. Улугзаде, Р. Джалила, Дж. Икромӣ, Х. Карима, А. Шукухӣ, В. Азияй.

³ См.: И. А. Василеико, Учение о сложноподчиненном предложении в отечественном языкознании, «Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина», 34, 1954; Д. Т. Таджиев, Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском языке. АДД, Душанбе, 1971.

⁴ В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, М.—Л., 1935.

⁵ Н. С. Поспелов, О различиях в структуре сложноподчиненного предложения, сб. «Исследования по синтаксису русского литературного языка», М., 1956; е го же, Сложноподчиненное предложение и его структурные типы, ВЯ, 1959, 2.

⁶ Д. Т. Таджиев, О значении и употреблении союза *ки* в сложноподчиненном предложении, в кн.: «Научная конференция, посвященная 98-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. ТГУ им. В. И. Ленина», Душанбе, 1967.

ложения (или с группой членов), в то время как семантические союзы относят придаточное ко всему главному предложению: *Мусичае, ки дар шохи дарахт нишаста буд, нарида рафт* «Горлинка, которая сидела на ветке, улетела»; *Бинобар он ки дар он ҷо одамони ношинос ғам буданд, ман ба назди падарам надаромадам* «Так как там были и знакомые люди, я к отцу не вошел»; *Вақте ки ман дар университет мехондам, хоҳарам ҳоло хурд буд* «Когда я учился в университете, сестра моя была еще маленькой».

С другой стороны, в таджикском языке имеются союзы, которые выступают либо в функции синтаксического, либо в функции семантического союза. Например, союзы *то, то ки, то ин ки*, относя придаточное к одному слову, всегда выступают в синтаксической функции. Например: *Раиси комиссия тақлиф намуд, то ман баромада дар бораи ин зан гап занам* «Председатель комиссии предложил, чтобы я выступил и рассказал об этой женщине». Но, когда *то* относит придаточное предложение времени ко всему главному предложению, то он выступает как семантический, если придаточное находится в препозиции к главному предложению: *То реша дар об аст, умеди самар аст* «Пока корень в воде, имеется надежда на плод». Однако, когда такое придаточное в постпозиции, тогда союз *то* все же имеет синтаксическое значение, а само придаточное приобретает значение цели: *Вай дар шаҳр кор меҷуст, то музде пайдо кунад* «Он искал работу в городе, чтобы найти какой-нибудь заработок».

Ясная связь синтаксичности или семантической подчинительного союза с отнесенностью придаточного к одному члену или ко всему главному предложению, выявляемая на материале таджикского языка, ждет своего исследования для всех тех языков, в которых союзы разделяются на синтаксические и семантические, особенно — для иранских языков.

Союзы — отнюдь не единственное средство связи ⁷ главного и придаточного предложений; немалая роль принадлежит и коррелятам, соотношению форм глагольных времен, месту придаточного, интонации и т. п.

Как и для большинства других индоевропейских языков, в которых сформировалась структура сложноподчиненных предложений, для таджикского характерен следующий набор средств связи главного и придаточного:

1. Средства сегментного порядка

А. Субстанциональные средства:

1. Союзы.

Б. Субстанционально-реляционные средства:

2. Корреляты, т. е. соотносительные слова в главном предложении, к которым относятся постпозитивные придаточные.

3. Соотношение глагольных форм в главном и придаточном предложениях.

В. Реляционные средства:

4. Положение придаточного предложения относительно главного, т. е. способность находиться или не находиться в различных позициях (свойство «гибкости — негибкости»).

5. Отнесенность придаточного ко всему главному или к одному из членов главного предложения.

II. Средства суперсегментного порядка — интонации.

⁷ Д. Т о ч и е в, Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеш дар забони адабии тоҷик, Душанбе, 1972.

Эти средства связи или формальные характеристики сложного предложения служат основаниями для классификации его типов, по крайней мере, для таджикского языка. Проблема классификации сложноподчиненных предложений обсуждалась в литературе неоднократно, однако лишь в монографических исследованиях последнего времени начинают учитываться и такие средства связи, как соотносительные слова, соотношение глагольных форм, место придаточного.

Важнейшим свойством рассмотренных средств связи является их системный характер, их взаимосвязанность. Это свойство проявляется не только в соотносительности синтаксичности/семантической союзов с тем, поясняет ли придаточное предложение одно слово или все главное предложение, но и в соотносительности определенных категорий союзов, а также коррелятов с порядком предложений в составе гипотаксиса, т. е. с ролью признака гибкости в строе сложноподчиненного предложения.

Например, союз *ки* обуславливает преимущественную постпозицию придаточного. Но, когда он помещается не в начале придаточного причины, времени или условия, то придаточные должны находиться в препозиции. Например: *Духтарча ки дар гирду неши худ модари худро наёфт, ба гирья даромад* «Поскольку девочка не обнаружила матери возле себя, она заплакала». Свообразие союза *ки* в подобных предложениях в том, что он не только средство связи придаточного с главным, но и особое средство выделения предшествующего ему слова; об этом свидетельствует возможность следующих перестановок: *Духтарча дар гирду неши худ ки модари худро наёфт,...* — *Духтарча дар гирду неши худ модари худро ки наёфт,...*

Когда придаточное причины связано с главным посредством союзов *зеро*, *зеро ки*, *чунки*, *чаро ки*, то оно непременно находится в постпозиции. Союз *зам* в составе придаточного уступительного непременно помещается в конце придаточного, причем само придаточное должно быть в препозиции.

Таким образом, гибкость структуры предложения тесно связана и с природой союза.

Свойство гибкости связано и с коррелятами; их наличие лишает предложение гибкости, корреляты обуславливают обязательную постпозицию придаточного предложения. Более того, многие корреляты однозначно сигнализируют о семантической природе последующего придаточного. При этом корреляты связаны с вводящим придаточное предложение союзом *ки* не только синтагматически, но и парадигматически. Целый ряд коррелятов, соотносящихся с союзом *ки*, идентичны именным компонентам составных союзов, что видно из следующего преобразования: *Ғафсии сару рӯяш зам ба дараҷае буд, ки аз ғафсии шикамаш ғариб фарқ намекард* «Размеры (букв. „толщина“) его головы и лица были таковы („доходили до такой степени“), что почти не отличались от размеров его живота» — *Сару рӯяш ғафс буд, ба дараҷае ки аз ғафсии шикамаш ғариб фарқ намекард*.

Сочетание *ба дараҷае ки* (которое можно — в синхронном плане — рассматривать как коррелят + союз) и сложный союз *ба дараҷае ки* фактически являются двумя формами одного и того же элемента плана содержания. Исторически здесь можно видеть стандартизацию контактного варианта первоначально дистантного словосочетания, ведущую к формированию сложных союзов.

Существенно, что таких дистантных и контактных пар много. Ср.: *Вақте...ки и вақте ки* (вақт «время»); *ба шарте...ки и ба шарте ки* (ба шарте «при условии»); *бо мақсади он (ин) ...ки и бо мақсади он (ин)ки* (бо мақсади «с целью»); *ба дараҷае...ки и ба дараҷае ки* (дараҷа «степень»)

и т. п. В этом явлении мы сталкиваемся с динамической сферой языка, с той сферой, где синхронный подход позволяет обнаружить процесс.

Взаимозависимость средств связи проявляется и в ограничениях, наблюдаемых в распределении таких, казалось бы, различных средств, как соотношение глагольных времен, подчинительные союзы и порядок компонентов в сложноподчиненном предложении. Установлена связь между выбором видо-временных форм таджикского глагола, тенденцией к препозиции придаточного и употреблением таких союзов, как *чун*, *пас аз он ки*, *баъд аз он ки*, *пеш аз он ки*, *қабл аз он ки*, а также с семантикой предложения.

Например, союз *чун*, вызывающий обязательную препозицию придаточного, употребляется при значении предшествования действия придаточного предложения действию главного предложения; при этом, независимо от глагольных форм, оба действия отнесены к плану прошедшего: *Чун чаими ӯ ба ман афтод, лаълию палосаширо бар рӯи суфача монд...* «Когда его взгляд упал на меня, он положил свой поднос и палас на суфу...»; *Чун аз даҳани мардак овозҳои носазеху нофаҳмо мебароянд, Зеби аз наздаш мегурезад* «Когда из уст этого человека исходят неразборчивые и непонятные звуки, то Зеби убегает от него».

Своеобразие соотношения глагольных форм не только в том, что они выражают связь придаточного с главным, но и в том, что определяющая роль выпадает на долю глагольной формы предложения, находящегося в препозиции, независимо от того, является ли оно главным или придаточным. Этот малоизученный вопрос, требующий дальнейшего углубленного исследования, применительно к материалу условного предложения, освещен в монографии М. Н. Косымовой⁸.

Та же своеобразная система средств связи главного и придаточного предложений обуславливает существование бессоюзных сложноподчиненных предложений. В русской лингвистической науке имеется точка зрения, согласно которой среди бессоюзных сложных предложений нельзя выделять сложноподчиненные и сложносочиненные⁹. Существует, однако, и другой подход¹⁰. Богатство системы глагольных форм в таджикском языке позволяет их использовать в качестве одного из самых важных средств подчинения, к таким же средствам бессоюзного подчинения могут быть отнесены соотносительные слова, место придаточного предложения и интонация. Например: *Ароба мебуд, боз хубтар мешуд* «Если бы была арба, то было бы еще лучше».

Соотношение глагольных форм является в данном примере достаточным средством подчинения: нет никакого сомнения, что это бессоюзное сложноподчиненное предложение с придаточным условным. Эта точка зрения может быть подкреплена примерами сложноподчиненных предложений, не содержащих союза, но имеющих в составе главного предложения соотносительное слово: *Чунон хун резам, ҷаллоди амир ба возима ояд* «Я пролью столько крови (букв. „так пролью кровь“), (что) эмирский палач устратится».

В синтаксисе современного таджикского литературного языка к бессоюзным сложноподчиненным предложениям целесообразно относить и предложения типа: *Надонам, чаро наомад* «Не знаю, почему он не пришел». Относительное местоимение *чаро* нельзя считать эквивалентом

⁸ М. Н. Косымова, *Чумлай найрави шартӣ дар забони адабии тоҷик*, Сталинобод, 1961.

⁹ «Грамматика русского языка», II, ч. 2, М., 1954, стр. 382–403.

¹⁰ А. Н. Гвоздев, *Современный русский литературный язык*, ч. II, Синтаксис, М., 1958, стр. 256–264.

союза, так как возможна вставка союза перед ним: *Надо нам, ки чаро наомад* — и в такой форме предложение перестает быть бессоюзным.

Такие слова, как *чаро, кучо, чӣ* и т. п. усиливают подчинение, особенно, когда придаточное предложение стоит перед главным. Тогда подстановка *ки* оказывается возможной лишь при инверсии компонентов сложноподчиненного предложения: *Кучо рафтаанд, ба онҳо чӣ шудааст, аз ғор ва гирду неши он берун чӣ корҳо шуда ва чӣ воқеаҳо рӯй дода истодаанд, маълум набуд* «Куда они пошли, что с ними случилось, что происходило в пещере и вокруг нее, какие события там развивались... было неизвестно». Подстановка *ки* требует обязательной инверсии: *Маълум набуд, ки кучо рафтаанд, ба онҳо чӣ шудааст, аз ғор ва гирду неши он берун чӣ корҳо шуда ва чӣ воқеаҳо рӯй дода истодаанд*.

Существование бессоюзных сложноподчиненных предложений в таджикском языке представляется в силу приведенных соображений бесспорным. Отметим, что среди таджикских синтаксистов никто и не пытался оспаривать существование асиндетона как со значением подчинения, так и со значением сочинения¹¹.

Гибкость системы средств связи в сложноподчиненном предложении приводит к многозначности самих придаточных¹², например: *Пас аз он ки ба болои инҳо садоҳ туман ва мамлакати Туркистон ҳамроҳ шаванд, қозигӣ ва раисӣ ба мо нарасад, ба кӣ мерасад?* «После того, как (если) сверх всего этого присоединятся сотни тюменей и весь Туркестанский край, судебная и иная власть к нам не перейдет, — к кому же она перейдет?».

В этом предложении одно выраженное средство связи — союз *пас аз он ки* — указывает на то, что это сложноподчиненное с придаточным временным. В то же время соотношение глагольных времен и наклонений (*ҳамроҳ шаванд* — *мерасад*, т. е. настоящее-будущее время индикатива указывает на то, что это сложноподчиненное предложение с придаточным условия).

Следовательно, перед нами придаточное предложение двойственной природы — условно-временное, так что вариант перевода «Если на их сторону встанут...» был бы столь же закономерным, как и «После того как на их сторону встанут...».

Иначе обстоит дело в следующем предложении: *Қумрибӣ пас аз он ки аз шавҳараи муҷимлаи гарме надид, боз пас ба тағи дарвоза баромад* «После того как Қумрибӣ не встретила теплого приема со стороны мужа (не встретив...), она снова вышла за ворота».

В данном случае сложноподчиненное предложение следует рассматривать как содержащее придаточное времени, одновременно являющееся придаточным причины; эта двойственность объясняется, однако, не различным значением разных средств связи главного и придаточного предложений, как это происходило в первом примере, а тем, что общий смысл придаточного носит нерасчлененный характер причины и предшествования во времени.

¹¹ Д. Т. Таджиев, Бессоюзное сложноподчиненное предложение в современном таджикском языке, в кн.: «Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. ТГУ им. В. И. Ленина», Душанбе, 1970.

¹² Ср.: С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Некоторые вопросы изучения сложноподчиненных предложений в школе, «Р. яз. в шк.», 1964, 1, стр. 39—40: «Мы возвращались из театра с таким чувством, как будто побывали на большом и светлом празднике». В этом сложноподчиненном предложении совмещаются особенности конструкций двух типов: сложноподчиненное с придаточным сравнительным...; рассматриваемое придаточное со сравнительным союзом „как будто“ одновременно присоединяется и ко всему главному и к сочетанию „с таким чувством“».

Таким образом, полисемия в сложноподчиненном предложении возникает в том случае, когда обычно в одном и том же предложении одновременно наличествуют два (реже — три) средства связи, каждое из которых свойственно особому типу придаточного предложения в таджикском языке¹³. Нами засвидетельствованы следующие типы полисемантических сложноподчиненных предложений (см. табл.).

Типы придаточных	Опред.	Меры и степ.	Подоб.	Прич.	Следст.	Цели	Уступ.	Услов.
Подлежащее	+							+
Определительное		+	+		+		+	+
Образ действия			+		+	+		
Меры и степени			+		+			+
Места								+
Времени			+	+				+
Дополнительное			+					+
Причины						+		+
Уступительное		+	+					+
Условное			+				+	

Даже беглый взгляд на таблицу показывает, что чаще других встречаются дополнительные значения сравнения, следствия и условия. Это легко объяснить, исходя из свойств средств связи: для сложноподчиненных предложений с придаточными условными очень важное средство связи — соотношение времен и наклонений в главном и в придаточном: другие средства связи освобождаются для привнесения другого значения. Для придаточных сравнительных чрезвычайно существен порядок компонентов сложноподчиненного предложения; остальные средства связи тоже могут служить для выражения добавочных значений.

При таком своеобразном механизме гипотаксической полисемии предложение имеет не два, а три значения: *Табафро ҷамҷунон покиза лесида, ба рӯи сандалича мондаанд, ки гуё бо оби ҷӯш шуста, бо дастмоли сафеди тоза пок кардаанд* «Тарелку поставили на табуреточку, вылизав (ее) так начисто, как будто ее вымыли горячей водой и вытерли чистым белым полотенцем».

Соотносительное слово *ҷунон* в главном предложении указывает на то, что перед нами — сложноподчиненное с придаточным меры и степени. В то же время это соотносительное слово вместе с порядком предложений является показателем дополнительного значения следствия. С другой стороны, союз *ки гуё* привносит дополнительное значение подобия в придаточное предложение.

Семантика решающим образом влияет на формирование сложноподчиненного предложения. Так, придаточное следствия в силу своей семантики обязательно помещается в постпозиции. Интересно, что и другие типы придаточных предложений, когда значение следствия является их дополнительным значением, помещаются за главным предложением.

Следовательно, способность придаточного предложения обладать, наряду с основным значением, рядом дополнительных значений переплетается как с системой средств связи, так и со свойством гибкости. Например: *Ин духтар гуштиро ҷунон бо шиддат ва тезӣ мезад, ки аз сару рӯяи арағ мерехт* «Эта девушка сбивала масло с такой силой и бы-

¹³ Д. Т о ч и е в, Доир ба сермаънони ҷумлаҳои пайрав, журн. «Мактаби Советӣ», 1970, 1.

стротой, что с ее головы и лица лился пот». В этом сложноподчиненном предложении основной характеристикой придаточного является значение меры и степени, дополнительное же значение следствия обуславливает его постпозицию.

В целом необходимо отметить, что как сложность связи семантического плана с формальными свойствами, так и развитая полисемия придаточных говорят об отсутствии изоморфизма между планом содержания и планом выражения на уровне гипотаксиса, что должно учитываться при классификации.

Для классификации исключительный интерес представляет изучение закономерностей сочетаемости придаточных в составе сложноподчиненного предложения. Исследование этого вопроса, анализ реально встречающегося состава сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными может рассматриваться как альтернатива методике выявления «минимальных конструкций».

Не останавливаясь на вопросе о сложноподчиненных предложениях с однородными придаточными, следует отметить, что важнейшая задача состоит в описании и в выявлении закономерностей сочетаемости, во-первых, в сложноподчиненных предложениях с неоднородными соподчиненными придаточными, во-вторых, в сложноподчиненных предложениях с последовательным подчинением придаточных.

Всего нами выявлено свыше 40 типов комбинаций неоднородных соподчиненных придаточных предложений¹⁴.

Так, например, в сложноподчиненных предложениях с придаточными времени засвидетельствованы, кроме того, следующие типы обстоятельственных придаточных предложений.

1. Придаточное предложение следствия: *Ҳамин ки ӯ ба худ омад, лагаде ба шиками Давлат зад, ки ӯ тақон хӯрда, ба девори намади утов зада афтод* («Шарқи Сурх») «Придя в себя, он так пнул Давлята в живот, что тот от этого удара отлетел к стене, обитой кошмой».

2. Придаточное предложение причины: *Вақте ки ман ин машғи худро ба падар нишон додам, ӯ хурсанд шуд, чунки дар он ҳаптои намоёне набуд* «Когда я показал отцу свои упражнения, он обрадовался, так как явных ошибок в них не было».

3. Придаточное предложение уступительное: *Вақте ки ман ба ин ғишлоғ амин будам, ҳамин Мир Бадал хидмати бойғоро кунад ҳам, шикамаш сер набуд* «Когда я был старостой в этом кишлаке, то, хотя этот самый Мир Бадал и служил у баев, сытым он не был (никогда)».

4. Придаточное предложение меры и степени: *Ҳамин ки ин ҳаёл дар сари ӯ пайдо шуд, чунон банди он шуд, ки ҳатто баъзан Дарьяро дар пеши ҷашм ороштаи либоси арӯси мевид* «Как только эта мечта зародилась в его голове, она так (в такой степени) овладела им, что даже порой его глазам Дарья представлялась в украшении свадебного наряда».

5. Придаточное предложение цели: *Вақте ки Петухов аз ҳонаи вай берун меомад, шахтерон тозон омаданд, ки духтурро тезтар ба ёрии шахси осебдида бароранд* «Когда Петухов выходил из его дома, прибежали шахтеры, чтобы быстрее увести доктора для оказания помощи пострадавшему».

6. Придаточное образа действия: *Чун сайёдон рози худ пеш гирифтанд, рӯбоҳ аз ҳона баромад ва бе он ки ба деҳқон суҳане гуяд, равон шуд* (Ҳикояҳо) «Когда охотники продолжили свой путь, лиса вышла из норы и, не сказав крестьянину ни слова, ушла».

¹⁴ Д. Т. Оч и е в, Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиба, Душанбе, 1966.

Вторая группа — сложноподчиненные предложения с последовательно-подчиненными придаточными. Среди них наиболее распространены предложения, которые обычно имеют придаточное первой и второй степени: *Мирзобадеъ як баёз дошт, ки дар вай баъзе шеърҳои тағоиши Доӣ ва баъзе шеърҳои, ки дар зонаи Латифҷон-Маҳдум шундааст, ба хати худаш навиштагӣ буд* «У Мирзобаде был альбом, в котором его собственной рукой были записаны некоторые стихи его дяди Доӣ и кое-какие из стихов, которые он слышал в доме Лятифджана-Махдума».

По типам сочетаний придаточных в данном случае зафиксировано более 30 комбинаций. Нередко встречаются сложные предложения с большим числом придаточных.

Наконец, при анализе гипотаксиса немаловажное значение имеют парадигматические связи, ассоциативные отношения разного типа; внимание исследователей привлекают синонимические ряды и ряды с грамматико-семантической вариативностью, парадигмы различных разновидностей сложноподчиненного предложения и парадигмы, включающие синтаксические единицы разных уровней¹⁵.

Различными исследователями выдвинут ряд важных критериев, способствующих раскрытию той или иной стороны строя сложноподчиненного предложения. Но лишь привлечение совокупности критериев ведет к выделению объективно существующих типов: исследования в области таджикского гипотаксиса показывают, что различные критерии, различные содержательные и формальные признаки тесно между собой связаны и образуют своего рода организм, характеризующий те или иные типы предложений и то сочетание ряда признаков, то дополнительным распределением признаков.

К подобным взаимосвязанным характеристикам отдельных типов мы относим такие средства связи, как союзы и место придаточного предложения, а также подчинительная интонация, настоятельно требующая интенсивных экспериментально-фонетических исследований¹⁶. Не менее важны такие стороны анализа, как установление основного и дополнительного значения придаточного предложения, определение отнесенности придаточного к одному слову или ко всему главному предложению, исследование сочетаемости с несколькими придаточными и парадигматики гипотаксиса.

Следует учесть и возможность существования типов предложений, промежуточных между сложноподчиненными и сложносочиненными. В таджикском синтаксисе такой тип представлен сложным предложением, содержащим как подчинительный союз в уступительном предложении, так и сочинительный союз противительного значения в другом значении: *Агарчи барфҳои камарҳои кӯҳ об шуда, ба ҷолишон гилёҳои кас, ҷ рӯида буданд, вале қуллаҳои кӯҳ ҳанӯз қулоғҳои худро аз сар бадар накарда буданд* «Хотя снег на склонах гор растаял и на его месте появились зеленые растения, однако вершины гор еще не сбросили своих снежных шапок».

Вестороннему освещению рассмотренной проблематики способствовала детальная разработка общих и отдельных вопросов строя таджикского

¹⁵ Л. Максимов, О парадигматике сложноподчиненного предложения, «Р. яз. в нац. шк», 1968, 4; Д. Т. Таджиев, О парадигматике таджикского гипотаксиса, в кн.: «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков», Л., 1975; К. П. Орлов, Парадигматика сложноподчиненных предложений. Учебное пособие, Тула, 1976.

¹⁶ З. И. Клычникова, Интонация как средство связи частей сложного предложения, «Phonetica», 12, № 3—4, Basel, 1965, стр. 171—174.

сложноподчиненного предложения в исследованиях таджикских синтаксистов¹⁷, а также работы в области синтаксиса персидского языка¹⁸.

Предложенная программа изучения сложноподчиненного предложения, основывающаяся на достижениях советской синтаксической школы и конкретно разработанная на материале таджикского сложноподчиненного предложения представляется более перспективной, чем методика трансформационного анализа.

В связи с этим любопытно отметить признание английского лингвиста Э. Боумэн, пришедшей к выводу, что трансформационный анализ английского сложного предложения приводит к тем же результатам, что и традиционный анализ¹⁹.

¹⁷ В. С. Расторгуева, Краткий очерк грамматики таджикского языка. Приложение к таджикско-русскому словарю, М., 1954; «Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис, китоби дарси барои мактабҳои олии», Душанбе, 1963; «Забони адабии ҳозираи тоҷик, Синтаксис. Барои студентони факултетиҳои филологияи мактабҳои олии», Душанбе, 1970, стр. 212—215; М. Б. Шахобова, Подчинительный союз *ки* в современном таджикском литературном языке. АКД, Сталинабад, 1954; Х. Хусейнов, Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави замон дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Сталинобод, 1960; М. Н. Косимова, Чумлаи пайрави шартӣ дар забони адабии тоҷик. Сталинобод, 1961; В. Н. Мещеряков, Вопросы синтаксиса сложноподчиненного предложения современного таджикского языка в аспекте конструктивной омонимии при союзе *ки*. АКД, Душанбе, 1967; Ш. Рустамов, Чумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1968; С. Атабulloев, Сложноподчиненные предложения с придаточным подлежащим в таджикском литературном языке. АКД, Баку, 1969; Ф. Зикриёев, Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и сравнительными придаточными в современном таджикском литературном языке. АКД, Душанбе, 1970.

¹⁸ А. Арендс, Синтаксис персидского языка, М.—Л., 1941; В. С. Расторгуева, Краткий очерк грамматики персидского языка. Приложение к персидско-русскому словарю, М., 1953; Ю. А. Рубинчик, Сложные предложения с придаточными определительными в современном персидском языке, М., 1969; А. М. Шафая, Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. АДД, Баку, 1967 (здесь дан краткий обзор работ персидских ученых, которые затрагивали проблемы синтаксиса); D. C. Philloft, Higher Persian Grammar, Calcutta, 1919; H. Yensen, Neupersische Grammatik, Heidelberg, 1931; G. Lazard, Grammaire du persan contemporain, Paris, 1957; G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, Paris, 1963.

¹⁹ E. Bowman, A Comparison of Traditional and Transformational Analyses of Certain Types of Complex Sentence, «Journal of English Linguistics», 3, March 1969, Washington, стр. 8—17.

МИЛОСЛАВСКИЙ И. Г.

СИНТЕЗ СЛОВСОЧЕТАНИЯ И ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА

Представим ситуацию, когда мы должны дать мотивированное наименование какому-либо предмету или явлению. Очевидно, что таким наименованием будет словосочетание или производное слово. Цель предлагаемой работы состоит в том, чтобы показать сходство и различие основных проблем, которые возникают в процессе синтеза словосочетания и производного слова.

Разумеется, возможность наименования через производное слово значительно уже, чем через словосочетание. Производное слово может передать весьма ограниченный круг номинативных значений, словосочетание — практически неограниченный комплекс значений. В самом деле, обозначить «маленький дом» можно и с помощью соответствующего словосочетания, и с помощью производного слова *домик*. Однако только словосочетанием можно обозначить «высокий дом», «новый дом», «белый дом», «пятиэтажный дом», «дом на горе», «дом рядом с гостиницей» и мн. др. Можно полагать, что определение круга словообразовательных значений представляет собой задачу, в основном решенную для русистики¹.

Сказанное, однако, не означает того, что решены все проблемы, относящиеся к своеобразной синонимии обоих способов. Например, не до конца ясно, какой способ предпочтительнее для каждого конкретного случая. Например, единичность для «соломы» практически можно выразить только словообразовательным способом: *соломина* (ср. *изюмина* и *ягода изюма*, *льдина* и *глыба льда* и т. п.). Не ясно также, каково стилистическое различие между параллельными наименованиями; ср. *медвежонок* — *детеныш медведя* и *кенгуренок* — *детеныш кенгуру* и т. п. Все эти вопросы остаются за пределами данной работы. Очевидно, что как словообразовательный, так и синтаксический способы обозначения проявляют свою специфику даже в тех случаях, когда оба способа выступают как реально возможные. Сходства и различия между словообразовательным и синтаксическим способами обозначения касаются как содержательной, семантической стороны, так и стороны асемантической, бессодержательной, формальной.

1. Семантические сопоставления

Можно утверждать, что в ряде случаев семантические структуры словообразовательного и синтаксического наименований при различии собственно языковых значений совпадают. Например, *запеть* и *начать петь*, *бывший президент* и *экс-президент* и т. д. Характерно, что таким свойством обладают не только префиксальные образования, префиксы в которых отдельные ученые иногда рассматривают в качестве переход-

¹ См., например: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970 (далее — «Гр. 70»); И. С. У л у х а н о в, Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. АДД, М., 1975.

ных случаев между морфемой и словом². Такие же отношения могут существовать между синтаксическим и суффиксальным образованиями: *небольшая роща* и *рощица*, *множество комаров* и *комарьё* и т. д.

Более распространенным является такой случай, когда при совпадении семантик обоих наименований словообразовательная структура оказывается менее информативной, чем синтаксическая. *Генеральшица* и *жена генерала* — синонимы, однако в словообразовательной структуре производного слова нашли отражение только семы «генерал» и «лицо женского пола». Сема, обозначающая характер семейных отношений, в синтаксической структуре представлена слитно с семой «женский пол», а в словообразовательной структуре не представлена вовсе. Не выраженными эксплицитно в словообразовательной структуре слова могут быть семы, реализуемые обычно не только в лексике (см. выше), но и в грамматике. Например, *пожарище* и *место бывшего пожара* — синонимы, однако сема «прошедшее время» в словообразовательной структуре, в отличие от синтаксической, отсутствует.

Семантическая «недостаточность» словообразовательной структуры особенно явственно ощущается при сопоставлении широко представленных в разговорной речи образований типа *читалка*, *публичка*, *тимирязевка*, *загранка* и т. п. с синтаксическими образованиями *читальный зал*, *публичная библиотека*, *тимирязевская академия*, *заграничная командировка*. Именно эта семантическая «недостаточность» дала основание исследователям видеть в производном слове аналог фразеологической единицы, значение которой не сводится к простой сумме значений частей, составляющих эту единицу³. Нельзя не подчеркнуть, что эта аналогия носит ограниченный характер. Она справедлива для анализа фразеологических единиц (в том смысле, как это понимал В. В. Виноградов⁴) и производных слов со значением предмета, реже лица. Причем эти слова должны быть образованы или от прилагательных, или от существительных, с предлогом и без него, с общим значением времени, пространства, или от существительных с помощью суффиксов со значением подобия.

Действительно, лексико-синтаксическая структура фразеологического единства *кот заплакал* в принципе может быть по-разному семантически истолкована. Это и «очень мало», и «совсем ничего», и «бессмысленно», и «трагично» и т. д. Точно так же *электричка* может в принципе обозначать не только поезд, но любой другой предмет, связанный с электричеством; *подснежник* — не только цветок определенного вида, но другое растение, находящееся под снегом; *вечерник* — не только учащееся вечернего учебного заведения, но и другое лицо или предмет, функционирующее вечером; *стенка* — не только предмет мебели, но и любой другой предмет, чем-либо напоминающий стену и т. п.

В других случаях словообразовательная структура производного либо семантически «достаточна» сама по себе, либо может рассматриваться как достаточная при условии, что невыраженное значение может быть выведено из лексического значения производящего и значения дериватора: *горбун* — лицо, имеющее горб; *школьник* — лицо, учащееся в школе⁵. Аналогом приращенного значения в производном слове является сдвиг

² См. об этом: Д. Н. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). АДД, М., 1969.

³ «Морфология и синтаксис современного русского языка», М., 1968.

⁴ В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1972, стр. 25—27.

⁵ См. об этом: Н. А. Янко-Триницкая, Закономерность связей словообразовательного и лексического значений в производных словах, сб. «Развитие современного русского языка», М., 1963; И. Г. Милославский, О регулярном приращении значения при словообразовании, ВЯ, 1975, 6; его же, Семантическая структура русских производных существительных со значением предмета, ФН, 1975, 6.

значения в словосочетаниях: *ходить на лыжах, ходить за больным, ходить в школу, ходить в шляпе* ⁶ и т. п. Возможны случаи, когда значение словосочетания может быть однозначно истолковано лишь в контексте (*вызов врача, постройка колхоза*). Той же двусмысленностью обладают и некоторые производные слова (*телятник, молочник*).

Итак: 1) словообразовательная структура производного может полностью совпадать со значением словосочетания; 2) словообразовательная структура производного может быть менее информативной, чем соответствующее словосочетание, и в этом смысле представлять собою аналог фразеологического единства; 3) словообразовательная структура может представлять собою комплекс выраженного и предсказуемого значения. В последнем случае словообразовательная структура аналогична тем словосочетаниям, значение которых шире буквального.

Справедливости ради необходимо отметить и сравнительно редкий случай: 4) словообразовательная структура выражает значение более узкое, чем семантическое содержание производного. Рассмотрим в качестве примера слово *баранина*. Словообразовательная структура этого слова состоит из производящего *бараний* и суффикса с категориальным значением *-ин(a)*, конкретное значение «мясо» является предсказуемым приращенным значением ⁷. Однако семантическая структура шире его структуры словообразовательной, поскольку данное производное обозначает не только мясо барана, но и овцы (ср. *петушатина* и *курятина*). Аналогичные явления имели место и в словосочетании; например, словосочетание *прекрасная игра актеров* означает, что хорошо играли не только актеры, но и актрисы, хотя слово *актер* само по себе не может обозначать лиц женского пола ⁸.

2. Формальные сопоставления

Мотивированное наименование в форме словосочетания может, как известно, представлять три типа элементарных отношений между главным и зависимым словом: согласование, управление, примыкание. Те же наименования в форме производных слов могут представлять собою либо 1) соединение основы с суффиксом, либо 2) соединение основы с префиксом, либо 3) разные виды сложения, включая и аббревиативные, либо 4) субстантивацию, либо 5) те или иные комбинации предшествующих четырех типов ⁹.

Если исключить из рассмотрения субстантивацию, то все столь различные способы образования производных слов представляют собою, как и словосочетание, не что иное, как усложнение, распространение одного элемента другим, в частном случае и нулевым элементом.

В процессе такого распространения возникают различные трудности. Первая заключается в том, чтобы выбрать из ряда синонимичных морфем именно ту, которую требует производящая основа. В самом деле, для выражения значения *уменьшительности* или указания на женский

⁶ См., например: Н. Н. Прокопович, Л. А. Дерibas, Е. Н. Прокопович, Именное и глагольное управление в современном русском языке, М., 1975.

⁷ Ср. известный спор о «буженине» между Г. О. Винокуром и А. И. Смирницким в изложении Е. А. Земской («Современный русский язык. Словообразование», М., 1973) и Ю. Д. Апресяна («Идеи и методы современной структурной лингвистики», М., 1966); см. также: И. Г. Милославский, План содержания у русских суффиксов, «Вестник МГУ» (Филология), 1974, 4.

⁸ Ср. аналогичный случай в связи с надписью «Подарок первокласснику» в книге И. П. Мучника «Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке», М., 1971, стр. 181.

⁹ См. подробнее в «Гр. 70», стр. 41—43.

пол, например, существует около десятка разнообразных суффиксов. Однако каждая конкретная производящая основа допускает соединение лишь с каким-то одним (реже двумя) словообразующими аффиксами одного и того же значения. Например, *актер* — *актриса*, ср. устаревшее *актерка*, маловероятное *актерша* и совсем невозможные *актериха* (*кунчиха*) или *актерина* (*графиня*). Принципиально те же проблемы возникают и при синтезе словосочетания. Здесь тоже происходит выбор сопологаемых элементов¹⁰. Так например, по-русски блины *пекут*, а рыбу *жарят*, хотя существо действий при этом совпадает. О блинах вообще нельзя сказать что их жарят, а рыбу можно и печь, но действие при этом совсем не то, что при печении блинов.

Свет по-русски *гаснет*, время *кончается* или *истекает*, дождь тоже может *кончатся*, но не может *гаснуть* или *истекать*, хотя может и *прекращаться* в отличие от света или времени. Число примеров такого типа может быть легко увеличено. При этом нельзя не заметить, что приведенные примеры называют одно и то же действие не только функционально, но и по сути. Тем самым названные факты противостоят оппозициям типа *баран блеет*, *курица кудахчет*, *собака лает*, где совершаемые действия функционально совпадают, но по сути различаются. Нельзя не заметить, что описанные трудности выбора соответствующих компонентов словосочетания характерны не только для такой связи, как управление. Такие же трудности имеются и при согласовании (*собачий холод*, *проливной дождь*), и при примыкании (*яйцо всмятку*, *скоростижно скончатся*).

Как известно, существуют словосочетания, требующие принудительного распространения (*девушка редкой красоты*, *юноша высокого роста*, *читать Иванова гением*). Принципиально таким же образом организируются производные слова, образованные с помощью так называемых конфиксов (*раскричаться*, *сокурсник*, *по-французски*).

Хотя и при образовании слов, и при образовании словосочетаний мы имеем дело с одной и той же проблемой выбора, однако для словосочетаний эта проблема стоит не совсем так, как для образования слов. При образовании словосочетаний обычно широко представлены синонимические возможности. Например, *сильный дождь*, *ужасный дождь*, *проливной дождь*; *скоростижно умереть*, *неожиданно умереть*, *внезапно умереть* и т. д. При словообразовании «синонимия» в производных обычно не представлена. В тех же случаях, когда такая «синонимия» существует (*певец* — *певун*, *писатель* — *писец* — *писарь* и т. п.), она используется для актуализации различного рода приращенных, не представленных в словообразовательной структуре значений.

Однако, несмотря на указанное различие между синтезом словосочетания и синтезом производного слова, эти два процесса имеют чрезвычайно много общего. Главное в этом общем — непредсказуемость синтагматических свойств производящего элемента. Наиболее отчетливо и остро эта непредсказуемость была осознана в практике преподавания иностранных языков, где на одно из первых мест «выдвигается паспортизация индивидуальных сочетательных свойств каждого слова»¹¹. Повидному, синтаксисты, лексикологи и лексикографы единодушны в том,

¹⁰ См. об этом, например: Т. П. Л о м т е в, Вопросы выбора глаголов при синтезировании предложения в неродном языке, в его кн.: «Общее и русское языкознание», М., 1976.

¹¹ И. Г. О л ь ш а н с к и й, Сочетаемость слов как проблема лексикологии и лексикографии, сб. «Вопросы учебной лексикографии», М., 1969, стр. 53—71, а также другие статьи в том же сборнике.

что синтагматические свойства слов едва ли можно представить каким-либо более содержательным и точным способом, чем в форме словаря¹².

В последнее время становится все более популярной мысль о том, что и морфемы, как слова, обладают собственными синтагматическими свойствами, нуждающимися в специальном изучении¹³. Однако специалисты по словообразованию не рассматривают синтагматические свойства морфем как непредсказуемые¹⁴.

Так, И. С. Улуханов и Е. А. Земская устанавливают следующие ограничения в сочетаемости морфем: 1) семантические, 2) лексические, 3) формальные¹⁵. Против такой классификации и приводимых авторами фактов возражать трудно. Однако привлекает внимание тот факт, что имеющиеся к настоящему времени наблюдения относительно сочетаемости морфем, во-первых, касаются весьма ограниченного числа фактов и, во-вторых, изобилуют исключениями. В самом деле, общие семантические ограничения зависят от нескольких обстоятельств. Во-первых, могут быть образованы только такие слова, которые обозначают какой-либо феномен объективной действительности. Во-вторых, значение дериватора не может вступать в противоречие со значением производного. В-третьих, определенные лексико-грамматические группы производных соединяются или не соединяются с определенным кругом дериваторов. Из этих трех обстоятельств лишь первое носит универсальный характер. Второе имеет исключения (*счастливец, преогромный, частотность, жалостливость*) из правил. Причем такого же типа исключения характерны и для словосочетаний¹⁶. Третье также не может не иметь исключений хотя бы в силу некоторой расплывчатости самого понятия лексико-семантической группы¹⁷.

Такого же типа вероятностная зависимость связывает глаголы определенной семантики и определенные падежные формы в заданном значении. Таков, например, творительный в значении прямого объекта при глаголах типа *руководить, заведовать, командовать*. Однако и здесь не без исключений: *возглавлять, направлять, курировать* и т. п.¹⁸ (см. об этом также ниже).

Ограничения в сочетаемости морфем, имеющие лексический характер, также имеют вероятностный характер. Действительно, отсутствие существительных со значением лица женского пола от *выходец, матрос, пилот* можно объяснить стремлением избежать нежелательной омонимии. Однако, как отмечают исследователи, омонимия не может воспрепятствовать образованию слов типа *комсомолка, пионерка*¹⁹. Наличие непроизводного слова для выражения заданного значения тоже

¹² О. С. Ахманова, А. А. Драздаускас, Л. А. Драздаускаене и др., Синтаксис как диалектическое единство коллигации и коллокации, М., 1969.

¹³ См.: V l. S k a l i ě k a, N y p o s y n t a x, S a S, X X X I, 1, 1970. Ср. также: В. В. Лопатин, Словообразование как объект грамматического описания, в кн.: «Грамматическое описание славянских языков», М., 1974, стр. 57.

¹⁴ См.: И. С. Улуханов, О закономерностях сочетаемости словообразовательных морфем (в сравнении с образованием форм слова), в кн.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967.

¹⁵ И. С. Улуханов, указ. соч.; Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973.

¹⁶ См., например: И. Г. Милославский, О соотношении номинативных и синтагматических свойств языкового знака, ИАН ОЛЯ, 1975, 4.

¹⁷ См., например: Э. В. Кузнецова, Части речи и лексико-семантические группы слов, ВЯ, 1975, 5.

¹⁸ См.: Л. В. Щербачева, Второстепенных членах предложения, в его кн.: «Избранные работы по языковедению и фонетике», I, Л., 1958, стр. 99.

¹⁹ См.: Е. А. Земская, указ. соч., стр. 201, 202.

не всегда является помехой для сочетаемости морфем; ср. *пробка* и *предохранитель*, *посещение* и *визит* и др.

Видимо, следует вновь подчеркнуть, что язык устроен не по принципу однозначного соответствия между знаком и феноменом внешней действительности. Один и тот же знак может обозначать не один, а несколько феноменов, а один феномен может быть обозначен не одним, а несколькими знаками²⁰.

Связанная с этим свойством языка непредсказуемость свойств сочетаемости знака представлена не только на уровне морфем, но и на уровне словосочетаний. Так, например, по-русски можно сказать *большой человек* в значении «яркий», «интересный», «выдающийся», ничуть не смущаясь тем, что то же словосочетание может обозначать и просто физически крупного человека. Одновременно можно отметить, что наличие словосочетаний типа *прекрасный человек*, *замечательный человек* не мешает созданию сочетания *золотой человек*.

Допуская всевозможные оговорки относительно силы действия семантических и лексических ограничителей сочетаемости морфем, нельзя не процитировать сочувственно слова Г. О. Винокура: «Вряд ли вообще в русском языке можно найти ряд таких аффиксов, которые бы все целиком, как парадигма, одинаково участвовали и в образовании одних слов от более или менее значительного числа основ. Какое-то количество подобных параллельных образований непременно должно быть, потому что иначе в языке не было бы и соответствующих морфем. Но сплошь да рядом наблюдаем или отсутствие ожидаемого образования от одних слов, при наличии его в других однотипных случаях, или же однотипные по функции образования, создаваемые разными аффиксами. Именно поэтому и невозможно сказать заранее, какие из таких образований действительно существуют в языке, а каких нет в употреблении и даже в возможности»²¹.

Таким образом, остаются лишь формальные ограничения, управляющие процессом синтеза производного слова. Однако полученные к настоящему времени наблюдения над этим типом правил выбора весьма скромны и в большей степени касаются не самого выбора, а тех разного рода преобразований и взаимоприспособлений, которые происходят уже после того, как сам выбор сделан. Указанные правила составляют часть того аспекта изучения языка, который называют морфонологией²².

Процесс формального преобразования, взаимоприспособления характеризует не только производные слова, но и словосочетания. Особенности таких взаимоприспособлений зависят в словосочетаниях от типа связи между элементами. В частном случае — при примыкании — эта взаимоприспособляемость может быть равна нулю. Тогда, в частности, и возникают такие производные слова, как *быстрорастворимый*, *долгоиграющий* и т. п.

Отсутствие морфологической оформленности распространяющих компонентов в случаях типа *партсобрание*, *телепередача* является причиной дискуссий о том, представляют ли³ собою указанные образования слова или словосочетания²³. Полностью понимая аргументы сторонников ана-

²⁰ S. K a r c e v s k i y, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, 1, 1929.

²¹ Г. О. В и н о к у р, Форма слова и части речи в русском языке, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1959, стр. 400.

²² См.: N. S. T r u b e t z k o y, Das morphologische System der russischen Sprache, TCLP, 5/2, 1934.

²³ См.: А. И. М о л о т к о в, Есть ли в русском языке аналитические прилагательные? ВЯ, 1960, 6; М. В. П а н о в, Об аналитических прилагательных, в кн.: «Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского», М., 1974.

литических прилагательных, нельзя не отметить того, что элементы типа *парт-* и *теле-* лишены относительной свободы перемещения²⁴. Такая свобода — редчайшее явление для элементов слова²⁵ и норма для полнозначных элементов словосочетания. Однако в приведенных выше примерах фиксированный порядок слов — при отсутствии морфологической оформленности — выступает, по-видимому, как грамматическое средство. Таким образом, «словность» элементов типа *парт-*, *теле-* могла бы быть доказана относительной свободой их перемещения. Однако такой свободой эти элементы обладать не могут не столько потому, что они — не слова, сколько потому, что их аналитичность навязывает определенному порядку слов грамматическую функцию.

Однако иногда эти элементы «отрываются» от своего обычного места. Именно так происходит в песне А. Н. Пахмутовой на слова Н. Н. Доброразова, посвященной Мюнхенской олимпиаде: *Замерли вокруг люди, смотрят на экраны теле.*

Формальное присоединение элементов словосочетания друг к другу происходит при согласовании. Это — весьма простой случай, поскольку в основе процедуры лежит относительно простое деление русских существительных по признаку «грамматический род». Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев согласуемые формы прилагательных (и причастий) не несут никакого номинативного значения, а выполняют лишь синтаксическую, строевую функцию. По степени относительной простоты указанное явление в области словосочетания напоминает некоторые простые явления морфонологии. Например, необходимость закрытия производящей основы согласным, что достигается, как известно, либо путем усечения конечной гласной (*кенгуру* — *кенгурёнок*, *Тбилиси* — *тбилисский*, *сосать* — *сосу*), либо путем наращения согласных *ј* (*купе* — *купейный*), *в* (*жить* — *живу*), *ш* (*кино* — *киношник*) и др. Как известно, все эти морфонологические образования полностью лишены номинативного содержания.

Гораздо более сложные проблемы возникают при синтезе словосочетания, построенного на управлении. Здесь необходимо, во-первых, правильно выбрать форму предлога (в частном случае предлог может отсутствовать) и, во-вторых, форму соответствующего падежа. При этом решение вопроса о том, необходим ли предлог и, если да, то какой именно, может зависеть от семантики главного слова (*надеяться на успех*, *опираться на акцию*, *верить в победу*), но может и не зависеть от нее. Так, в словосочетаниях *жить в Сибири*, *жить на Украине*, *сказать из зависти*, *сказать в шутку*, *сказать по неосторожности* употребление предлога ни в какой степени не зависит от главного слова, а определяется тем, какое существительное следует за предлогом²⁶.

Известно, что предлог может выполнять и чисто строевую, связующую функцию (*верить в победу*) и иметь собственное номинативное содержание (*идти в лес*). Это различие в функции предлогов связано с их способностью или неспособностью противопоставляться другим предлогам в тождественной синтагматической позиции. Противопоставляемые предлоги (*идти в дом*, *идти из дома*, *идти от дома* и т. д.) в данной позиции содержательны, непротивопоставляемые — формальны (*сомневаться в искренности*). Однако имеют место и случаи свободной вариативности предлогов,

²⁴ См.: О. С. А х м а н о в а, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957.

²⁵ См. редкие примеры *блодолиз* и *лизоблюд*, *управдом* и *домоуправ*.

²⁶ См.: [В. А. Б е л о ш а п к о в а], Словосочетание, в кн.: «Современный русский язык», ч. II (Морфология. Синтаксис), под ред. Е. М. Галкиной-Федорук, М., 1964, стр. 281—282.

не связанной с содержательной функцией предлогов (*говорить о погоде* и *говорить про погоду, гулять у дома* и *гулять около дома*).

Принципиально таким же образом осуществляется выбор соответствующей падежной формы. Эта форма может зависеть, хотя подчас и неоднозначно, от лексико-семантической принадлежности главного или подчиненного слова (*читал утром, писал вечером* и *лишился крова, коснуться руки*). Номинативное значение падежной формы возникает лишь там, где возможно противопоставление форм (*дать ему* и *дать его*)²⁷. Однако и здесь возможно варьирование (ср. *покровительствовать ему* и употребившееся еще в XIX в. *покровительствовать его*)²⁸.

В работе о падежах Е. Курилович говорит о том, что падежная флексия и предлог представляют собой единое целое²⁹. Этот тезис вполне согласуется с современными лингвистическими представлениями. Однако в таком случае следует признать, что традиционная система падежей, даже с усовершенствованиями А. Н. Колмогорова и В. А. Успенского³⁰, не отражает всего многообразия предложно-падежных форм в русском языке. Совершенствование наших теоретических представлений об обобщенной предложно-падежной системе русского языка тем более необходимо, так как только в рамках такой системы мы можем определить место таких предложно-падежных вариантов, как *нужный заводу* и *нужный для завода, присутствовать при разговоре* и *присутствовать во время разговора* и т. п.

Принципиально такие же проблемы возникают при образовании производных слов. Здесь тоже происходит взаимоприспособление сопологаемых частей: различного рода чередования, наращення, усечения, наложения. Все эти видоизменения формы морфем также рассматриваются как функция от определенного типа производящих или дериваторов. Все эти видоизменения также не универсальны. Как правило, обсуждаемые видоизменения содержательно пусты, однако это не всегда так. Например, в противопоставлении *цветок — цветы* отсутствие *-ок* во множественном числе не несет содержательной нагрузки, однако в противопоставлении *цветочник — цветник* элемент *-оч-* содержательно весьма важен.

В противопоставлении *брат — братья* приращение *ј* семантически нерелевантно, однако в противопоставлении *зуб — зубы — зубья, корень — корни — коренья* тот же *ј* выполняет важную семантическую функцию. Как и в словосочетаниях, характер взаимоприспособления морфем может иногда варьироваться: *профкомовский* и *профкомский, улан-удэнский* и *улан-удинский, гамбургцы* и *гамбургцы* и т. д.

Разумеется, сопоставление характерных особенностей предложно-падежных форм в словосочетании и морфологических явлений в производном слове касается лишь п р и н ц и п а л ь н о й, а не количественной стороны дела. Очевидно, что предложно-падежные формы чаще семантически наполнены, чем наращення или тем более чередования. Очевидно также, что предложно-падежные формы более вариативны, чем чередование и иные морфологические преобразования. Однако вряд ли можно определить, где (в словосочетании или производном слове) существует более тесная связь между формальными и содержательными свойствами сопологаемых компонентов и характером процессов взаимоприспособления. Разумеется, сами эти связи совпадают также лишь

²⁷ См.: С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972.

²⁸ См. об этом явлении подробнее на ином материале: К. И. Ходова, Варьирование и синонимия в грамматике старославянского существительного, ВЯ, 1975, 5.

²⁹ Е. Курилович, Проблема классификации падежей, в кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962.

³⁰ См. об этом: А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967.

принципиально, а не конкретно. Так, например, словообразовательная структура глагола существенно предопределяет выбор управляемой предложно-падежной формы³¹, а для морфонологических преобразований этот фактор не имеет никакого значения. Наоборот, фонетические особенности основы весьма существенны для морфонологии, а для словосочетания это совсем неважно.

Принципиальное сходство морфонологических преобразований и факторов, определяющих структуру словосочетаний, видимо, позволяет несколько по-иному видеть уровни языка³². В словообразовании, и отчасти в морфологии, выделяется морфонология как учение о формальных, организующих характеристиках соответствующего уровня в противовес учению о содержательных характеристиках того же уровня. По-видимому, такое же противопоставление целесообразно по крайней мере и для синтаксиса словосочетания. При изучении синтаксиса наблюдается в последние годы определенный сдвиг от формального понимания своего объекта к содержательному.

Мысль о том, что синтаксис насквозь семантичен, вряд ли абсолютно верна, поскольку в синтаксисе, как и на других уровнях, есть и содержательные, и формальные аспекты. Несмотря на ограниченность рассмотренного материала, такой вывод представляется заслуживающим внимания еще и потому, что, видимо, существует параллелизм не только между словосочетанием и производным словом, но и между словосочетанием и сложным предложением³³.

³¹ См., например: В. М. Г р и г о р я н, Префиксация и управление в современном русском языке. АДД, Л., 1975.

³² См., например: Ю. С. М а с л о в, Об основных и промежуточных ярусах в структуре языка, ВЯ, 1968, 4.

³³ См., например: В. А. Б е л о ш а п к о в а, Изоморфизм в синтаксических связях падежных форм и придаточных частей, в кн.: «Исследование по славянской филологии. Сборник, посвященный памяти академика В. В. Виноградова», М., 1974.

ПОЦЕЛУЕВСКИЙ Е. А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ И СВОБОДНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Прилагательные¹ качественные (во всяком случае основная их часть) выражают признаки, способные иметь градации по интенсивности, т. е. такие, которые могут быть выявлены в большей или меньшей степени. Все качественные прилагательные делятся на две большие группы — собственно качественные (или абсолютные) и качественно-оценочные (или релятивные). Первые обозначают вполне определенные свойства, которые могут быть объективно охарактеризованы и точно измерены; таковы, например, прилагательные цветообозначения. Качественно-оценочные же прилагательные выражают признаки релятивные: один и тот же предмет в принципе может быть охарактеризован любым из качественно-оценочных прилагательных, составляющих антонимическую пару — все зависит от того, с чем он сопоставляется: лошадь велика по сравнению с ослом, но она же мала по сравнению со слоном. Подобное употребление качественно-оценочных прилагательных, в основе которого лежит непосредственное сопоставление параметров сравниваемых предметов, мы будем называть «свободным».

Однако «свободное» употребление качественно-оценочных прилагательных в современном русском языке — явление нечастое. Обычно оно имеет место при конкретном сравнении двух предметов (или групп предметов, каждая из которых характеризуется одним значением данного параметра). Чаще со «свободным» употреблением прилагательных мы имеем дело при характеристике целых серий однотипных предметов, противопоставляемых по данному параметру другим сериям (или одиночным предметам как представителей серий, противопоставляемых предметам других серий). Ср.: *И ничтожно малый муравей при помощи своего разума валит с ног могучего слона*. Здесь сопоставляется муравей как представитель всего рода муравьев со слоном как представителем всего рода слонов в отношении величины и сопряженных с величиной параметров — силы, мощи. Муравей и слон охарактеризованы семантически несоотносительными прилагательными, но употребление каждого из них опирается на сравнение муравья со слоном — муравей ничтожно мал по сравнению со слоном, а слон могуч по сравнению с муравьем. (Впрочем в определенной мере здесь можно усмотреть и приложение к сравниваемым предметам масштаба говорящего.)

Типичным случаем «свободного» употребления прилагательных является использование их в сфере номинации, когда признак предмета закрепляется в сложном наименовании. Ср. широко распространенную практику модификации имен тезок типа: *Ваня большой* и *Ваня маленький*. А вот пример, иллюстрирующий «свободное» употребление прилагательных и одновременно объясняющий механизм такого употребления: *Лес...*

¹ Здесь и далее мы говорим преимущественно о прилагательных, однако все основные положения настоящей статьи полностью приложимы и к наречиям.

не так велик... Но поскольку нет поблизости большего и поскольку вокруг Олелина там и сям растут еще более маленькие леса, то и зовется он *Большим* (В. Солоухин, Капля росы). (В данных случаях прилагательные связаны употреблением в составе устойчивых сложных наименований, что побуждает нас напомнить, что «свободным» мы называем употребление прилагательных в значении, не ориентированном на норму.)

Более часты случаи, когда возникает необходимость характеристической одного из предметов серии выделить его из ряда однотипных. В подобных случаях выбор соответствующего эпитета оказывается несвободным, он определяется отношением параметров данного предмета к норме (среднестатистической величине параметра, характерной для данной серии предметов).

Поскольку реально люди чаще имеют дело не с единичными предметами, а с сериями однотипных, и поскольку среднестатистические параметры той или иной серии предметов в идеале известны в равной мере всем говорящим на одном языке, употребление качественно-оценочных прилагательных, ориентированное на норму (т. е. показывающее место предмета в серии однотипных в отношении данного параметра), в общем приближается к употреблению собственно качественных (абсолютных) прилагательных². Поэтому применительно к подобным случаям будем говорить об абсолютизации употребления качественно-оценочных прилагательных. Более обычным для современного русского языка является именно абсолютизированное употребление качественно-оценочных прилагательных — это тот фон, на котором сравнительно редко можно наблюдать их «свободное» употребление.

Понятие нормы не всегда достаточно определено, и это не может не сказываться на определенности значения, выражаемого соответствующим прилагательным. Это, однако, не меняет того несомненного факта, что относительно нормы значение прилагательного достаточно четко фиксировано. (Для сравнения можно было бы указать на то, что определенность значения собственно качественных прилагательных также не всегда велика, так как конкретный их смысл зависит от того, для характеристики предметов каких серий они употреблены: то, что для помидора будет названо словом *розовый*, для лица — словом *красный*, поскольку «нормы красоты» будут здесь разными.)

Но сказанное справедливо лишь в отношении положительной степени прилагательных. Формы же степеней сравнения в русском языке (за исключением абсолютной превосходной степени) чаще всего употребляются «свободно», т. е. выражают меру признака, не ориентируясь на норму: больший из ряда предметов (относительная превосходная степень) не обязательно должен быть большим. Аналогичным образом и сравнительная степень показывает лишь то, что данная степень проявления признака больше другой, которая может быть вовсе не определена. Форма сравнительной степени (во всяком случае простая форма компаратива), как правило, обнаруживает полную свободу употребления на всем семантическом пространстве признаков, обозначаемых антонимическими прилагательными, не считаясь нисколько с размежеванием сфер употребления прилагательных-антонимов, связанных с их абсолютизацией.

Рассмотрим подробнее возможные реальные значения формы сравнительной степени. Случаи употребления простой формы компаратива можно представить тремя формулами: 1) X — *большой*, а Y — *больше*; 2) X — *маленький*, а Y — *больше*; 3) Y больше X (мы рассматриваем

² См. нашу статью «Нуль и степень качества и описание значения качественных прилагательных и некоторых сочетаний с ними» (сб. «Проблемы семантики», М., 1974), вводящую в проблематику, рассматриваемую в данной работе.

семантические, а не синтаксические особенности употребления форм сравнительной степени, так что предикативное употребление форм компаратива в наших формулах является представителем всех возможных случаев его употребления). Для первых частей первых двух формул (X — *большой*, X — *маленький*) характерно абсолютизированное употребление прилагательных (X велик или мал в соответствии с общими представлениями о том, что такое «большой X » и «маленький X »). Этого нельзя сказать о вторых частях этих формул. Говоря X — *маленький*, а Y — *большое*, мы не утверждаем, что Y — большой, а отмечаем лишь, что он больше X , который мал; но остались ли мы при этом в сфере действия признака «маленький», достигли ли области нормы или, пройдя ее, оказались в сфере действия признака «большой» — это слушающему не известно. В последней формуле точка отсчета (X) просто указывается без какой-либо характеристики, так что о конкретной степени качества, обозначаемой формой сравнительной степени *больше*, здесь слушающий не знает и этого мало. И если из первой формулы следует, что Y тоже из числа больших, то это вытекает не из значения прилагательного *больше*, употребленного во второй части формулы, а из соотношения значений прилагательного *больше* из первой части формулы и прилагательного *больше* из второй части формулы (указывающего лишь на направление сдвига в проявлении признака, именно на его увеличение).

Следует особо отметить, что «свободное» употребление прилагательных в форме сравнительной степени не является естественным следствием того, что оно выступает в форме сравнительной степени; иными словами, сопряжение значения компаратива со «свободным» употреблением прилагательного не является предопределенным самим порядком вещей. Нетрудно представить себе такое положение, когда бы качественно-оценочные прилагательные и в форме сравнительной степени употреблялись абсолютизированно, т. е. такое, когда фразу типа X *больше, сильнее, шире, выше* и т. д., чем Y можно было бы сказать только в том случае, если бы заведомо было известно, что X — большой, сильный, широкий, высокий и т. д. Если же о X было бы известно, что он на самом деле мал, слаб, узок, низок и т. д. (и соответственно такой же Y , коль скоро X больше, сильнее, шире, выше и т. д., чем Y), то следовало бы «перевернуть» фразу с тем, чтобы употребить не прилагательные *большой, сильный, широкий, высокий* и т. д., а их антонимы, т. е. сказать: Y *меньше, слабее, уже, ниже* и т. д., чем X . Между прочим, в русском языке сложные формы сравнительной степени несомненно обнаруживают тенденцию именно к такому употреблению — *более высок, велик, широк* и т. д. у д о б н е е сказать о предмете высоком, большом, широком и т. д.³, т. е. практически тогда, когда и предмет, с которым производится сравнение, является высоким, большим, широким и т. д. (Для подтверждения мысли о том, что свободное употребление сравнительной степени — не естественное свойство компаратива, а специфика конкретных форм конкретных языков, можно привести и пример из области тюркологии: в турецком языке так называемая «аналитическая форма» сравнительной степени типа *daha büyük* «больше» обычно употребляется тогда, когда оба сравниваемых предмета могут быть охарактеризованы данным прилагательным в «положительной» форме.)

³ Не этим ли стимулировалось развитие сложной формы сравнительной степени на базе наречия *менее* (параллельно с *более*)? Она восполняет ущербность употребления сложной формы типа *более сильный* (ущербность по сравнению с простой формой *сильнее*): например, там, где нежелательно сказать X — *более сильный нежели* Y (потому что X — не силен), оказалось возможным сказать, не «переворачивая» фразы: X — *менее слабый нежели* Y .

Тенденцию к абсолютизированному употреблению обнаруживают и формы сравнительной степени некоторых качественно-оценочных прилагательных, таких как *ничтожный*, *гениальный* (думается, что это те прилагательные, которые обозначают часть семантического пространства⁴ признаков, выражаемых в полном объеме другими прилагательными; так *гениальный* (в одном из своих значений) — это выражение крайней степени признака «умный»).

Вернемся, однако, к «свободному» употреблению качественно-оценочных прилагательных. Если какие-то два предмета/лица в каком-то определенном отношении разнятся, то для характеристики одного из них мы могли бы употребить одно из прилагательных антонимической пары, а для другого — другое: если X плох в сравнении с Y, то Y будет соответственно хорош. Реально необходимость характеризовать оба предмета/лица как равные для целей сообщения обычно не имеет места, так что характеристикой мы снабдим лишь один из них. Но для того, чтобы значение «свободно» употребленного прилагательного было правильно понято, необходимо, чтобы слушающему было известно, по сравнению с каким предметом провозглашается данное качество предмета, о котором идет речь. То, с чем производится сравнение, может быть известно слушающему из контекста или ситуации и поэтому специально не обозначаться, ср.: *Вокруг громадного солнца вращаются крошечные планеты и Вокруг громадной Земли вращается маленькая Луна*. Если же это не имеет места, предмет, с которым производится сравнение, должен быть специально указан при «свободно» употребленном прилагательном. Такому заданию соответствует оборот со словами *сравнительно с...*, *в сравнении с...*. Отсутствие специального указания на сравнение, по нашим наблюдениям, характерно только для атрибутивного употребления прилагательных. При предикативном же употреблении указание на предмет, с которым производится сравнение, или хотя бы просто на наличие сравнения (с помощью одного наречия *сравнительно*) является обязательным — без этого прилагательное будет понято как употребленное абсолютизированно.

Вместе с тем надо заметить, что не всегда использование оборота со словами *сравнительно с...*, *в сравнении с...* (равно как и одиночного наречия *сравнительно*) знаменует «свободное» употребление прилагательного. Думается, что это имеет место только тогда, когда сравниваемые предметы относятся к разным сериям. В тех же случаях, когда мы имеем дело с предметами одной серии, употребление этого оборота несомненно регламентируется нормой (хотя и своеобразно), так как он уместен именно тогда, когда без сравнения соответствующие прилагательные не могли бы быть использованы. Если мы говорим, что такой-то предмет по сравнению с другим высок, широк и т. д., то, как правило, это означает, что с точки зрения, г. е. точки зрения, ориентированной на норму, его таковым назвать нельзя (иначе не было бы смысла в употреблении данного оборота — достаточно было бы просто сказать, что предмет высок, широк и т. д.). Так что это несомненно не является чистым случаем «свободного» употребления прилагательных («свободное» употребление не имеет ограничений); это специальный оборот, суть которого как раз и заключается в необычном (с точки зрения нормального значения) употреблении прилагательного (в своего рода смещении нормы). Вместе с тем другими средствами для выражения предмета, с которым производится сравнение, при «свободно» употребленном прилагательном в форме положительной степени русский язык не располагает.

⁴ См. подробнее: Е. А. Поцелуевский, указ. соч., стр. 234—235.

Однако, поскольку «свободное» употребление прилагательных непременно предполагает конкретное сопоставление по определенному параметру предметов/лиц (групп предметов/лиц), что характерно и для компаратива, можно сказать, что наиболее полно упомянутому выше заданию соответствует в русском языке сравнительная конструкция, в которой прилагательное выступает в форме компаратива (чаще — простой его форме), т. е. *X хуже Y* (вместо *X плох по сравнению с Y*). Форма сравнительной степени здесь функционально и семантически оказывается эквивалентной «свободно» употребленному прилагательному в положительной форме, причем использование ее в позиции сказуемого не знает ограничений, аналогичных отмеченным выше. Создается впечатление, что особого значения компаратива, отличного от релятивного значения прилагательного, употребленного «свободно», здесь по существу обнаружить не удастся. Сказанное выше дает известное основание для вывода о том, что простая форма сравнительной степени в русском языке часто используется как формальная примета «свободного» употребления качественно-оценочных прилагательных. В определенном смысле и утверждение о том, что прилагательные в форме сравнительной степени употребляются «свободно», может рассматриваться как тавтологическое.

Выражая то же значение, что и употребленная «свободно» положительная форма прилагательного, форма сравнительной степени отличается от нее своим синтаксическим поведением. Иными средствами обозначается при ней предмет, с которым производится сравнение. Атрибутивно она используется лишь эпизодически, но предикативное ее употребление не связано ничем. Являясь формой, специализированной на «свободном» употреблении, форма компаратива может использоваться в разнообразных окружениях, гибко приспосабливаясь к различным контекстам. Ср., например, возможность последовательного использования нескольких форм сравнительной степени одного прилагательного (типа *X большой, Y больше, а Z еще больше*), не имеющее аналогии в «свободном» употреблении положительной формы. Все это объясняет, почему в тех редких случаях, когда прилагательное в форме положительной степени употребляется «свободно», оно оказывается включенным в такое синтаксическое окружение, которое, как правило, не характерно для формы сравнительной степени и поэтому не допускает замены одной формы другой. Таким образом, внешние по отношению к значению форм моменты (конфигуративные их признаки, по терминологии О. Н. Селиверстовой⁵) в этом случае выступают в качестве основной характеристики форм, обуславливающей необходимость их разграничения.

Несколько отвлекаясь в сторону, заметим, что приведенное выше рассуждение позволяет усомниться в полной справедливости мнения о том, что для группы значений степеней сравнения и степеней качества наиболее простым и исходным является значение сравнительной степени, из которого, в частности, выводится значение превосходной степени («самый большой» < «тот, кто больше прочих»)⁶. Обосновываемая в настоящей статье точка зрения предполагает, что первичным является релятивное значение «свободно» употребленного прилагательного, а значение компаратива либо совпадает с ним, либо выводится из него. При-

⁵ Термин «конфигуративные признаки» О. Н. Селиверстова использует для обозначения произвольных особенностей в сочетаемости, не определяемых смысловыми, стилистическими и экспрессивными признаками данной единицы. См.: О. Н. С е л и в е р с т о в а, Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания, «Принципы и методы семантических исследований», М., 1976, стр. 134.

⁶ См.: А. К. Ж о л к о в с к и й, Выражение в языке сомали группы значений, связанных с идеей степени, сб. «Проблемы африканского языкознания», М., 1972, стр. 223.

соединяясь к мнению о производности значения превосходной степени, вторичности его по отношению к значению компаратива, мы хотели бы отметить, что семантическое противопоставление форм сравнительной и превосходной степени, в общем как будто бы четкое, очень часто сглаживается и перестает ощущаться. С одной стороны, сравнительная степень не предполагает, что есть предметы, в которых данное качество представлено в еще большей степени, так что реально оно может обозначать степень качества максимальную. С другой стороны, превосходная степень (относительная) закономерно используется для обозначения максимальной степени качества не вообще, а в пределах определенной группы предметов. В этой ситуации естественно употребить для характеристики данного предмета также форму сравнительной степени: *Этот ученик самый прилежный из всех — Этот ученик прилежнее всех*. И в этом случае на передний план выступают конфигуративные признаки форм.

«Свободное» употребление прилагательных при выражении сравнения характерно для многих языков, однако любопытно, что оно не регистрируется даже в отношении тех языков, где «свободное» употребление прилагательных не отмечено морфологической приметой (такой, как форма сравнительной степени в русском языке). В этих случаях принято говорить об употреблении положительной степени прилагательного в значении сравнительной степени. В тюркских языках, например, значение русской сравнительной степени выражается оборотом типа «он от него большой» (это значит «он больше его»), суть которого несомненно в «свободном» употреблении прилагательного. Употребление исходного падежа («от него») можно сопоставить с обычным для многих языков употреблением при сравнении (а «свободное» употребление прилагательных обязательно предполагает сравнение) предлогов и падежных форм, выражающих идею удаления⁷. Аналогично положение и в финно-угорских языках, где значение сравнительной степени, в частности, может выражаться прилагательным, лишенным какого-либо морфологического показателя: «прилагательное не имеет никакого формообразующего суффикса, выражающего сравнение, но слово, обозначающее то, с чем сравнивают, сопровождается либо послелогом, либо оформлено каким-нибудь падежным суффиксом (обычно используются падежные форманты, выражающие отдаление)⁸. Бессуффиксальный способ, по мнению авторов цитируемой работы, является более древним.

В некоторых африканских языках значение сравнительной степени передается синтаксической конструкцией типа: «мужчина и женщина, мужчина вот хорош есть» (т. е. «мужчина лучше женщины»), где лексема, выражающая качество (здесь это не прилагательное), как представляется, характеризуется «свободным» употреблением, чем и достигается выражение значения сравнительной степени. Существенный момент — предваряющее упоминание обоих сравниваемых предметов, без него вторая часть формулы выражала бы обычную (или высокую) степень качества⁹, что свидетельствует, видимо, об абсолютизированном употреблении в данном случае лексемы с качественным значением.

Для генерализации утверждения об отсутствии у компаратива особого значения, отличного от релятивного значения прилагательного,

⁷ См.: Ф. Е. К о р ш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877, стр. 5—7. К языкам, упомянутым Ф. Е. Коршем, можно добавить и словацкий, в котором употребление при сравнении предлога *od* «от» является обычным. См.: Е. P a u l i n i, *Kratká gramatika slovenská*, Bratislava, 1960.

⁸ «Основы финно-угорского языкознания (Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков)», М., 1974, стр. 279.

⁹ А. К. Ж о л к о в с к и й, указ. соч., стр. 226.

употребленного «свободно», применительно к современному русскому языку, быть может, и нет достаточных оснований; однако отмеченные выше сходжения могут оказаться существенными для суждения об истоках значения сравнительной степени. Но и замена временного плана в приведенной выше декларации (настоящего времени на прошедшее) не снимает всех неясностей. Продолжает оставаться открытым вопрос: простой ли формальной приметой «свободного» употребления являлся формант сравнительной степени? Говорить об этом заставляет то обстоятельство, что форма сравнительной степени при употреблении без сравнения может передавать значение приближенности (апроксимативное значение). В русском языке обычно это характерно для форм, осложненных приставкой *по-*. Имеется оно у компаратива в западнославянских и южнославянских языках, немецком, румынском языках, как это было отмечено И. И. Ревзиным в одной из работ¹⁰, в которой дается обзор взглядов на эту проблему. Было оно характерно и для компаратива латинского языка. И. И. Ревзин приводит мнение югославского лингвиста М. Стевановича, который пытается свести оба значения компаратива к значению сравнения (М. Стеванович считает, что компаратив в апроксимативном значении также выражает сравнение, но не по отношению к исходному прилагательному, а к его антониму¹¹), и упоминает, что аналогичное объяснение еще ранее предлагалось для компаративов в немецком языке¹².

Ревзин замечает, что апроксимативное значение не выводится из значения обычного сравнения (сравнения двух предметов), к тому же приведенные объяснения, по его мнению, учитывают лишь одну специфическую ситуацию, когда в тексте выступают оба антонима (т. е. в построениях типа русск. *Люди как люди: одни — лучше, другие — хуже*). К этому можно было бы добавить, что если даже допустить первичное наличие конкретного сравнения в этом случае (*тот предмет плох, а этот лучше*, где степень качества, реально обозначаемую компаративом, видимо, можно охарактеризовать как «более или менее хороший»), остается без объяснений главное — почему из необозримого богатства возможностей отожждествления значения компаратива с конкретной степенью качества была выбрана именно эта, выбрана и закреплена в качестве значения формы, употребленной без сравнения.

Попытку свести значение сравнительной степени и апроксимативное значение к значению сравнения (но иным способом) мы находим и у авторов латинской грамматики. Говоря о том, что без сравнения компаратив в общем выражает неполноту признака (значение его они передают с помощью уточнителей *довольно, изрядно, в небольшой степени, несколько*), авторы грамматики замечают, что в этом случае «сравнение производится как бы с нормой, с обычным положением дел»¹³. Думается,

¹⁰ И. И. Ревзин, К семантическому анализу степеней сравнения в славянских языках, сб. «Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков», М., 1973.

¹¹ Там же, стр. 62. Хотелось бы в этой связи отметить неудачность обычного приема демонстрации разницы значений, передаваемых компаративом при наличии сравнения и без него, противопоставлением двух рядов типа *плохой — лучше — хороший* (без сравнения) и *хороший — лучше — наилучший* (при сравнении); ср., например: «Morfológia slovenského jazyka», Bratislava, 1966, стр. 215 (словацкие слова мы заменили русскими). Здесь формальная парадигма степеней сравнения накладывается на семантику соответствующих форм, благодаря чему оказывается, что сравнительная степень при наличии сравнения выражает большую степень качества, нежели положительная, что неверно.

¹² И. И. Ревзин, указ. соч., стр. 64.

¹³ А. Н. Попов, П. М. Шендяпин, Латинский язык, М., 1970, стр. 232.

однако, что по существу аналогии между двумя значениями здесь при таком подходе усмотреть нельзя: при конкретном сравнении форма сравнительной степени показывает степень качества *б о л ь ш е той*, с которой производится сравнение; употребленная же без сравнения, она показывает степень качества *м е н ь ш е той*, которая считается «нормой, обычным положением дел». И. И. Ревзин идет по иному пути — по пути обнаружения у обоих значений общего семантического элемента, а именно значения релятивности¹⁴. К сожалению, отсутствие конкретизации понятия релятивности в применении к аппроксимативному значению делает выводы автора и стройное его построение в значительной мере отвлеченными.

Не претендуя на решение вопроса, мы хотели бы обратить внимание читателя на то, что обычное употребление формы сравнительной степени (например, в составе сравнительной конструкции), пожалуй, чаще всего предполагает, что различие в проявлении признака в сравниваемых предметах невелико, ибо назначение данного построения именно в установлении взаимоотношения предметов с точки зрения проявления того или иного признака¹⁵; установление же это имеет содержательную, информативную ценность именно тогда, когда соотношение предметов по определенному признаку не очевидно, т. е. реально чаще всего тогда, когда различие в проявлении признака невелико. Для того чтобы банальное сообщение типа *Гора больше, чем мышь* утратило свою банальность и получило содержательную ценность для обменивающихся информацией, нужны специальные экстралингвистические условия, тогда как информативная ценность аналогичного сообщения о предметах, различия которых в отношении того или иного признака не очевидны, менее зависит от приводящихся моментов.

Думается, что допустимо высказать предположение, что формант сравнительной степени мог первоначально быть показателем величины разрыва в проявлении признака в сравниваемых предметах (величины контраста) при «свободно» употребленном прилагательном — именно малой величины разрыва¹⁶. Хотя мы и сопоставляем только два предмета, но делаем это на широком фоне иных проявлений данного признака. Например, сравнивая по росту двух людей и называя одного из них высоким, мы в то же время можем не упускать из поля зрения и тот факт, что есть масса людей, значительно более высоких, соответственно может появиться и потребность выразить это. Будучи показателем малой величины разрыва в проявлении признака в сравниваемых предметах при употребленном «свободно» прилагательном, тот же формант при абсолютизированно употребленном прилагательном мог бы обозначать малую величину сдвига относительно нуля качества¹⁷ (т. е. соотношение между ними могло бы быть аналогичным соотношению между сочета-

¹⁴ И. И. Ревзин, указ. соч., стр. 65.

¹⁵ Любопытен в этом отношении тот факт, что в тюркских языках сравнительный оборот с исходным падежом, являющийся несомненно основным средством выражения сравнения, почти исключительно используется тогда, когда прилагательное выступает в функции сказуемого.

¹⁶ Ср. в этом отношении пример, приводимый И. И. Ревзиным: *Люди как люди: одни — лучше, другие — хуже*. Достаточно изменить форму прилагательного (*одни — плохие, другие — хорошие*), чтобы понять, какую смысловую нагрузку несет показатель компаратива (показатель контраста, именно малой его величины).

¹⁷ В статье «Нулевая степень качества...» мы попытались показать, что разнообразные уточнители меры качества (будь то слова или аффиксы), употребляемые при качественных прилагательных, в конечном счете выражают отношение регистрируемой меры качества к «точке отсчета», каковой является для прилагательных собственно качественных (абсолютных) «нулевая степень качества», а для качественно-оценочных — «норма», являющаяся по существу тем же «нулем» («практическим нулем»).

ниями *X чуть красный* и *X чуть краснее Y*, где в первом случае наречие *чуть* обозначает отклонение от нуля качества, а во втором — от меры качества, представленной в *Y*; напомним, что *красный* — это прилагательное собственно качественное, так что аналогия здесь неполная). (Не лишено интереса, что подобный процесс мы наблюдаем в наши дни в тюркских языках, где становление формы сравнительной степени связано с показателем *-рак/...*, первичное значение которого, пожалуй, вернее всего будет охарактеризовать именно как аппроксимативное¹⁸.)

В этой связи хотелось бы обратить внимание на любопытное обстоятельство: несмотря на то, что значение сравнительной степени предполагает, что различие в проявлении качества в сравниваемых предметах может колебаться в не ограниченных ничем (кроме реальных возможностей) пределах, количественные наречия, используемые при положительной форме прилагательного, при форме сравнительной степени почти не употребляются, а те, что употребляются, выражают малую степень проявления качества (соответственно: при сравнительной степени — небольшой сдвиг в проявлении качества в сравниваемом предмете). Таковы наречия: *несколько, немного, немножко, чуть, сколько-нибудь* и др. Не имеем ли мы здесь дела с плеоназмом — если согласиться с нашим предположением о первоначальном значении показателя сравнительной степени как выразителя малой степени проявления качества или малого разрыва в проявлении качества в сравниваемых предметах. Тогда это первичное значение показателя сравнительной степени могло выступать в качестве тормоза, мешающего употреблению при компаративе наречий, усиливающих значение прилагательного (как антонимичных по значению, противоречащих значению показателя сравнительной степени).

Говоря это, мы пытаемся вскрыть первопричину явления, впоследствии закрепленного языковой практикой, вопреки логике развития значения формы сравнительной степени, которая стала выражать любые различия в проявлении признака в сравниваемых предметах, в том числе большие, которые здесь передаются особыми средствами, например, с помощью наречий и сочетаний типа *значительно, в значительной степени, во много раз* и др., которые в свою очередь не употребляются с положительной степенью прилагательного. Даже наречия, восходящие к числительным, употребление которых с формой сравнительной степени с точки зрения здравого смысла кажется более естественным (ср. пример, приводимый Н. Н. Прокоповичем: *Привалов испытывал вдвойне неприятное и тяжелое чувство* — Мам.-Сиб., Прив. мил., 2, XII¹⁹), следуют этому правилу, хотя и менее строго — здесь можно отметить колебания норм употребления наречий.

Не лишено интереса, что наречие *гораздо*, употреблявшееся сравнительно недавно с положительной формой прилагательного (ср.: *Сей старый и не гораздо хороших свойств человек, не знаю за что-то не поладил с моим зятем* — Болотов, т. I, письмо 36)²⁰, ныне используется исключительно с формой сравнительной степени (к сожалению, детали этого процесса изменения функций наречия *гораздо* нам не известны)²¹.

¹⁸ Подробнее см.: Е. А. Поцелуевский, Сравнительная степень и аффикс *-рак*, «Тюркологические исследования», М., 1976.

¹⁹ Н. Н. Прокопович, Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке, М., 1962, стр. 58.

²⁰ Там же, стр. 47.

²¹ Н. Н. Прокопович, подробно рассматривая не только современное состояние сочетаний прилагательных с наречиями, но и их историческое развитие, почему-то совершенно исключил из рассмотрения сочетания наречий с формой сравнительной степени.

Все сказанное выше относится как будто бы только к качественно-оценочным прилагательным. Однако нельзя не заметить, что употребление сравнительной степени собственно качественных прилагательных обладает определенным своеобразием, что делает его в некотором роде аналогичным употреблению качественно-оценочных прилагательных. Свообразие это заключается в том, что во многих случаях мы можем для характеристики предмета употребить сравнительную степень данного прилагательного и тогда, когда положительная степень того же прилагательного употреблена быть не может (лишнее свидетельство недопустимости делать заключения о значении компаратива, исходя из схемы *хороший — лучше — наилучший*). Розовый предмет в обычных условиях мы красным, пожалуй, не назовем, но при сравнении с другим предметом без колебаний скажем, что он краснее другого. О предметах смешанных цветов (типа пресловутого «серо-буро-малинового») или составных расцветок (т. е. пестрых, с пятнами разных цветов) мы, как правило, не можем сказать, что они красные, синие или желтые и т. д., но мы можем сказать, что они краснее, синее или желтее и т. д. другого, если соответствующий компонент в их окраске представлен сильнее. Как тут не вспомнить релятивность значения качественно-оценочных прилагательных — если выражение X *больше* Y , в частности, можно употребить и тогда, когда X допустимо назвать большим только по сравнению с Y , то и выражение X *краснее* Y , в частности, можно употребить тогда, когда X допустимо назвать красным только по сравнению с Y . Таким образом, релятивность значения в определенной мере присуща и прилагательным собственно качественным — в этой мере к ним приложимы и изложенные выше рассуждения.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

БОГОЛЮБОВ М. И.

ДАТИРОВКИ В АРАМЕЙСКИХ НАДПИСЯХ ЭПОХИ АШОКИ

Обособленно титул пракр. *abhisita* «коронованный» (= др.-инд. *abhiṣikta-*), в буквальном значении слова «облитый, обрызганный, окропленный (священной водой)», приведен в пракритско-арамейской билингве из Пул-и Дарунга (Афганистан) в несохранившемся контексте — [dy]wṇpṛyṣ 'bhysyts — Devanapriyasa *abhisitasa* «Любимца богов, коронованного». В эдиктах Ашоки, написанных на пракритах, *abhisita* встречается только в датировках, составляя их обязательный элемент.

Деяния Ашоки в пракритских надписях фиксированы хронографическими датами. Год по коронации в них дается как количество лет *abhisita*, например: *badaśa-vaśabhisitena Devanapriyena Priyadraśina gaṇa pānaṃ hida nipesitaṃ* (Shahb. IV 10) «Написать здесь (этот) эдикт велено любимцем богов царем Приядарши, двенадцать лет коронованным (= в двенадцатый год коронации)»; *so todaśa-vaśabhisitena maṃa dhrama-mahamatra kiṭa* (Shahb. V 11) «дхарма-махаматры были учреждены мной, тринадцать лет коронованным (= в тринадцатый год коронации)»; *so Devanapriyo Priyadraśi raja daśa-vaśabhisito sataṃ nikrami Sabodhi* (Shahb. VII 17) «будучи десять лет коронованным, любимец богов царь Приядарши пошел в Самбодхи»; *aṭha-vaśa-abhisitasa Devanapriyasa Priadraśisa gaṇo Kaliga vijita* (Shahb. XIII 1) «Калинга была завоевана любимцем богов царем Приядарши, восемь лет коронованным (= в восьмой год коронации)»; *saḍviṣatī-vaśa-abhisitena me imāni jātāni avadhīyāni kaṭāni* (Delh. V 1—2) «мной, двадцать шесть лет коронованным, эти животные сделаны неприкосновенными»; *duvāśasa-vaśa-abhisitena me dharma-lipi likhāritā* (Delh. VI 1—2) «мной, коронованным двенадцать лет, было велено писать надпись о дхарме».

Арамейский эквивалент к пракр. *abhisita* определен Гумбахом¹ в двух арамейских надписях из Лагмана, найденных в 1969 (Laghm. I) и в 1973 гг. (Laghm. II). Причастиею прошедшего времени страдательного залога пракр. *abhisita* в Laghm. I и II соответствует араб. *zrq*, производное от араб. *ZRQ* «пускать воду; орошать; поливать; брызгать»; аккад. *zaḡāqu* «поливатель»; евр. *zāraq* «брызгать; крошить»; араб. *zaraqa* «вышлескивать», сюда же, возможно, относится пехл. идг. *𐭮𐭫𐭩𐭥* «канавка; канал», если на

¹ H. Humbach, Die aramäische Asoka-Inschrift vom Laghman-Fluss, «Indologentagung 1971. Verhandlungen der Indologischen Arbeitstagung im Museum für Indische Kunst Berlin 7.—9. Oktober 1971», hrsg. von H. Härtel und V. Moeller, Wiesbaden, 1973, стр. 163; G. Djelani Davary, H. Humbach, Eine weitere aramäo-iranische Inschrift der Periode des Asoka aus Afghanistan, «Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse», Jg. 1974, 1, стр. 11.

месте *h* прочитать *zy*: ZYLKY' ср. аккад. *zerqu/ziriqu* «канавы; канал»²; 'b' *glp br, 'g' zrq'* (Хатра, № 5) «'b', скульптор, сын 'g', смотрителя каналов».

Гумбах высказал мнение, что арамейское *zrq* (Laghm. I 1; II 3) является формой 3-го л. ед. числа перфекта действительного залога, которая («in ungarische Weise») употреблена в значении причастия страдательного залога³. Однако *zrq*, рассмотренное как неполное написание к полному *zruq* «облитый», причастию страдательного залога, является точным арамейским соответствием к пракур. *abhisita*.

Арамейское *zr(y)q* «облитый; окропленный», подобно пракур. *abhisita*, входит в состав датировки, но не как член определительной группы («столько-то лет окропленный/коронованный»), а в качестве титула — *bšnt X III III prydrš mlk' zrq* (Laghm. I 1) «В 16 год (правления) Приядарши, царя, окропленного (= коронованного)»; *b'lwI m'h šnt X III III prydrš mlk' zrq* (Laghm. II 1—3) «В месяце Элуле (= август/сентябрь) 16 года (правления) Приядарши, царя окропленного (= коронованного)». Титул *zrq*, повторяющийся пракур. *abhisita*, указывает здесь на отпадную точку эры Ашоки. В остальном же формула датировки сохранила структуру, присущую арамейским документам. Также в отличие от пракритских эдиктов датировка в Laghm. II, помимо хронографической, имеет календарную дату. Употребление в ней арамейского названия шестого месяца — 'lwI, в сочетании с иран. *m'h *māh* «месяц»: 'lwI m'h *Elūl-māh, весьма интересный историко-культурный факт. Название месяца, подобное 'lwlm'h, могло появиться лишь в ираноязычной среде, пользовавшейся вавилонским календарем.

Датированной надписью является также арамейская версия кандагарской греко-арамейской билингвы. В ее датировке характеристика отсчета годов содержится в словах *ptytw* 'byd. На разгадку значения иран. *ptytw* затрачено немало усилий. Составился целый список этимологий, основанных на различных возможностях прочтения *ptytw*. К нему теперь мы прибавим еще одну, поставив *ptytw* в один ряд с пракур. *abhisita* и арамейское *zrq* как их иранский эквивалент: пракур. *abhisita* = арамейское *zrq* = иран. *ptytw*. В этом случае искомым значением иран. *ptytw* должно быть «облитый; окропленный», а исходной формой — причастие страдательного залога/прилагательное. Обоим этим требованиям *ptytw* удовлетворяет.

Причастие страдательного залога/прилагательное на -wa- др.-иран. **raxwa-* (= др.-инд. *rakvá-*) «вареный; печеный» от *rak-* «варить; печь» продолжается, как показал Бейли⁴, в сак. *raha-*, афг. *rōx*, шугн. *rēx*, осет. д. *funx*, ир. *fux*. Шмитт⁵ принял в качестве причастия прошедшего времени др.-перс. *duruva-* «укрепленный» при др.-инд. *dhruvá-* «крепкий; прочный» (от *dhar-/dar-* «держат»). К образованиям на -wa- может принадлежать афг. *tōe* «вылитый; пролитый; просыпанный; рассыпанный», если представить афг. **tā-* как производное от др.-иран. **tā-* «лить(ся)» — **tāwa-ka-* «вылитый; пролитый». С др.-иран. **tā-* образованы авест. *taṭ-āraēm* «люющий воду» и авест. *tāta-* в *āpō ava-barāntē...* *tatā* «вниз несутся люющиеся воды». Сюда, возможно, относится и осет. *tayun* «таять». Представим также *ptytw* в чтении **patitāwa* как форму на -wa- к др.-иран. **tā-* + *pati*. От афг. *tōe* «вылитый; пролитый» из **tāwa-ka-* восстанов-

² Отсылку к арамейскому *zrq* в связи с пехл. идр. *HLKY'* = *jbu* сделал д-р Машкур (см.: M. M a s h k o u r, The Huzvaresh Dictionary, Tehran, 1968, стр. 91).

³ H. H u m b a c h, указ. соч., стр. 163.

⁴ См.: H. W. B a i l e y, Prolexis to the Book of Zambasta, Cambridge, 1967, стр. 174.

⁵ R. S c h m i t t, De Darii regis dicto dahyāušmaiy duruvā ahatiy, «Die Sprache», XVI, 1, 1970, стр. 80—81.

ливаемое *pāti-tāwa- «облитый; обрызганный; окропленный» отличается превербом pati-, который, однако, нужно признать вполне уместным, если сравнить *pati-tā- «обливать» от *tā- «лить(ся)» с авест. haēk- «лить» (др.-инд. siñcati : sikta «лить» и abhi-siñcati : abhi-ṣikta «обливать») и авест. paiti-hinč- «обливать» (также в ритуальном употреблении), откуда согд. pšynč-, ср.-перс. paššinj-, н.-перс. pašānjīdan (ср. у Лабиби — Ba hanjar hama tan-š anjīdaand, Bar ān xāk-u xūn-aš pašānjīdaand). Так мы приходим к заключению, что др.-иран. *pati-tūwa — в арамейском написании ptytw, означает «облитый; обрызганный; окропленный», а как эквивалент пракр. abhisita — «коронованный». В Laghm. I и II через арам. zrq писец передал иран. *patitāwa.

Датировки — bšnt X III III prydrš mlk zrq (Laghm. I 1) и b'lwl m'h šnt X III III prydrš mlk' zrq (Laghm. II 1—3), в существенном отличаются от датировки Kand. I: šnn X ptytw 'byd zy mr'n prydrš mlk'. Если первые представляют арамейский тип, то вторая является буквальной воспроизведением пракрытской формулы: «столько-то лет окропленным/коронованным являющийся/ставший» — daša-vašabhisito satam (Shahb. VIII 17) = šnn X ptytw 'byd «десять лет окропленным/коронованным ставший».

Последовательность šnn X передает пракр. daša-vaša «десять лет» с соблюдением арамейского порядка слов. Последовательность ptytw 'byd соответствует пракр. abhisito (satam), причем арам. 'byd — причастие страдательного залога к 'BD «делать», вероятно, стоит на месте иран. krta, усилившего страдательное значение в иран. *patitāwa — *patitāwa krta букв. «сделанный облитым/коронованным». Начало Kand. I — X šnn ptytw 'byd zy mr'n prydrš mlk' qšyt' mhqšt, переводом теперь так: «10 лет коронованный (= по коронации) наш господин царь Приядарши провозглашает истину».

А. Дюпон-Соммер находил в Laghm. I 1 три вертикальных словоделителя и следующие слова: bšnt X | hzy | prydrš mlk' | rq. В июне 1973 г., читая эту надпись in situ, я убедился, что за цифрой X начертаны шесть знаков единицы: X III III. Середина второй и третьей единицы пришлась на излом камня. Полосу излома можно принять за горизонтальную черточку. Отсюда буква Het в чтении А. Дюпон-Соммера. У пятой единицы от вершины вниз влево отходит небольшая черточка, делающая знак похожим на Yod. Писец — dipikara (Shahb. XIV 14), здесь раньше, чем следовало, начал было выбивать букву Pe. В статье, посвященной Laghm. I, Г. Гумбах установил, что вертикальная черта перед rq является буквой z. Так первая строка Laghm. I приобрела следующее чтение: bšnt X III III prydrš mlk' zrq. Обе надписи — Laghm. I и Laghm. II, расположенные друг от друга на расстоянии 2—3 км, датированы 16-м годом по коронации Ашоки. Laghm. II содержит более полную дату: b'lwl m'h šnt X III III prydrš mlk' zrq, и более полную концовку: (9) 'm w'šw šmh dyn' br [... (10) wššwprtbg škn zk' [... «Вместе с W'šw по имени судьей, сыном... Waxša-(h)ufrata-baga, благочестивый житель». Помещение титула, должностного звания между личным именем и именем отца (br...) в арамейских надписях отмечено. Это исключает возможность соединить dyn' и br в dyn'br.

Обе подписи — Laghm. I и Laghm. II, имели деловое назначение. Часть, повествующая о благочестивом деянии Ашоки, введена как развернутый эпитет к имени царя — bšnt X III III prydrš mlk' zrq dh' mn šrugyn dwdy mh mšd brywt kwry mh 'bd ryq qštn Laghm. I «В 16 год (правления) Приядарши, царя, коронованного, изгнанного из (среды) доверенных — любителей ловли созданий рыб, (любителей) опустошать луки (= стрелять); b'lwl m'h šnt X III III prydrš mlk' zrq dh' mn šrugyn šqq(y) mh mšd kwry brywt dwdy mh 'bd ryq qštn Laghm. II «В Эдуле месяце 16-го года (правления) Приядарши, царя, коронованного, изгнанного

из (среды) доверенных — любителей ловли существ рыб, любителей опустошать луки (= стрелять)).

Пельяро, предложивший для *prbst* в чтении **fra-bast*- перевод «unhealthy ones» от авест. ²*band-*: *bazda*- «хворать; болеть», был ближе других к разгадке значения *prbst*, *prbsty*. Эту этимологию не приняли, считая, что производное на *-t* от ²*band-* (к **bandh-*) звучало бы **prbzd* ⁶. По-видимому, на таком же основании в свое время было оставлено объяснение библиоарам. 'drzd' (Езд 7: 23), данное Шефтеловицем, который поставил 'drzd' в один ряд с др.-инд. *ṛḍhā* «крепкий; прочный» и вывел др.-иран. **dražda-* ⁷, тогда как при авест. *darz-* «быть крепким» ожидалось **dršta-*. Сакохотанские материалы дали, однако, от *darz-* обе формы: с исходом на глухие — *dāršta-* **dršta-*, и на звонкие — *dāršda-* **držda-*.

Бейли в связи с этими формами указал на пары — авест. *aogdā* и аохта «он сказал», авест. *buzdī-*, *busti-* ⁸ от авест. *baod-* «sentire» при др.-инд. *buddhī-*; ср. также авест. ²*raod-* «расти»; *uruzda-*, *urusta-*, др.-инд. *ruh-*: *rūḍhā-*; авест. ³*raod-* «препятствовать»; *uruzda-*, *urusta-*, др.-инд. *rudh-*: *ruddhā-*. Др.-иран. формы с исходом на *zd* и *st* различаются как прилагательные, восходящие к индо-иран. *dh + t > zd*, и причастия *d + t > st*, образованные в собственно иранский период. В этом плане *prbst*, *prbsty* столь же регулярно отражают ²*band-*, как и ¹*band-* «связывать».

Глагольный корень *ban-/*bant-/²band-* выступает в производных, имеющих следующие значения: авест. *baṇauēn* «они заражают», *banta-* «заболевший; больной; хворый», *abanta-*, *avanta-* «здоровый», *bandayeiti* «заражает; делает больным», *bazda-* «заболевший; больной; хворый»; сак. *baśdā-* «злодеяние», *baṃca* (к **bandacā-*) ⁹ «стон; плач»; согд. 'βuz- «зло; вред», 'βuz'nk'r'k «причиняющий зло, вред», 'βz'γwk (из **bazda-ahu-ka-*) «мучающийся; страдающий»; ср.-перс. пехл. *bazak*, ман. *bz* «грех; вина»; н.-перс. *baza(h)* «вина; грех; зло; вред», *bazahkār* «грешник; преступник»; н.-перс. (из вост.-иран.) *faž* «грязь», *fažāk* «грязный; нечистый»; согд. *βnt'm* «наказание».

В греческой версии иранским *prbst*, *prbsty* соответствуют ἀκρατεῖς «неспособные совладать; неводержанные; неумеренные; несдержанные; разнузданные», ἀκρασία «неводержанность; неумеренность». В индийских эдиктах одним из свойств воспринявшего дхарму является *saṃyama* «сдерживание; самообладание; владение собой; подавление страстей». Греч. ἀρασία, как отметил Каррателли ¹⁰, означает отсутствие *saṃyama*. Др.-иран. *prbst*, *prbsty* передают несколько иначе эту же идею, если отождествить *pr²* **para* с др.-иран. *para-*, др.-инд. *pāra-* «другой; чужой»: в композите мыслится, что субъект переносит, вымещает **bast-* «болезнь/страдание/вред» на других, на окружающих. В **bast-* представлено древнее отглагольное существительное на *-t* от *ban-/*bant-/²band-* в варианте **bant-*. В **parabasta-*, *parabasti-* отразились также древние способы образования прилагательного и абстрактного существительного путем распространения суф. *-t* соответственно морфемами *-a* и *-i*: **parabasta-* «тот, кто причиняет страдание и т. п. другим», **parabasti-* «причинение страдания и т. п. другим».

В имперско-арамейском нет достоверных примеров передачи др.-перс. |δ| = общепран. |z| через Dalet. Во всех случаях на месте др.-перс. |δ| =

⁶ G. P. Carratelli, G. Garbini, *A bilingual Graeco-Aramaic Edict by Aśoka*, «Serie Orientale Roma», XXIX, Roma, 1964, стр. 52.

⁷ I. Scheftelowitz, *Arisches im Alten Testament*, Königsberg, 1901, стр. 68 и сл.; W. Gesenius' hebräisches und aramäisches Wörterbuch über das Alte Testament, 17. Aufl., Berlin, 1962, стр. 893.

⁸ H. W. Bailey, указ. соч., стр. 117—118.

⁹ H. W. Bailey, указ. соч., стр. 222.

¹⁰ G. P. Carratelli, G. Garbini, указ. соч., стр. 33.

= общеиран. |z| находим Zain. Это препятствует пояснению 'dwšy' с помощью др.-перс. *a-dauš- «unlieb, unfreundlich»¹¹. Слабо аргументирована и моя попытка постулировать др.-иран. *dauša- при др.-инд. doṣa- «порок; грех; вина; ущерб», сак. dū, dūva «боль» и образовать *a-dauša- (где а- < и.-е. ŋ-, лат. in) «пребывающий в пороке».

Учитывая теперь scriptio defectiva zrq (Laghm. I и II) zṛq «окропленный; коронованный», обратимся к чтению 'dwš *ā-dwiš-, которое ведет к авест. dvaēš- (tbaēš-, dābaēš-) «ненавидеть; относиться враждебно», др.-инд. dviṣ- «ненавидеть», согд. ḍḅuṣ- «причинять вред; мучить», ср.-перс. bištan id. Наряду с авест. nāfyo. tbiš- «враждебный к родственникам», varəzānō. tbiš- «враждебный к членам общины», moγu. tbiš- «враждебный к магам», авест. dvaēšah- «вражда; ненависть», др.-инд. dviṣ, dvēṣas- «ненависть» образуем *ā-dwiš- «враждебно относящийся; исполненный ненависти; ненавистник». В Авесте при сохранении dw в dvaēšah-, advaēšah-, haiθyō. dvaēšah-, vīdvaēšah- развились db, tb перед i — daibišyant-, tbišyant- «ненавидящий», tbiš- в композитах¹². В 'dwš *ādwiš- группа dw в позиции перед i выступает в неизменном виде.

Текст надписи

- (1) šnn X ptytw 'byd zy mr'n prydrš mlk' kšyt' mhkšt
- (2) mn 'dyn z'yr mr' kllhm 'nšn wklhm 'dwšy' hwbd(n)
- (3) wbkł 'rk' r'm šyty w'p zy znh bm'kl' lmr'n mlk' z'yr
- (4) ktlm znh lmḥzh kllhm 'nšn 'thšyynn 'zy nwny' 'hdm
- (5) 'lk 'nšn ptyzbt knm zy prbst hwyn 'lk 'thšyynn mn
- (6) prbsty whwptysty l'mwhy w'l'bwhy wlmzyšty' 'nšn
- (7) 'yk 'srhy hkw't w'l' 'yty dyn' kllhm 'nšy' ḥsyn
- (8) znh hwtyr kllhm 'nšn w'wsp yhwtr

Перевод

«10 лет коронованный (= по коронации) наш господин Приядарши, царь, провозглашает истину (= дхарму). За это время меньше причиняется страданий всем людям, а все ненавистники сокрушены, и на всей земле мирная жизнь.

И также которые снабжали пищей нашего господина царя, мало (теперь) убивают. Видя это, все люди стали воздерживаться. Также которые были вредящими другим, они стали воздерживаться от вреда другим и приняли благое послушание матери своей и отцу своему и старшим, как (они принимали) своим долгом раздачу даров».

В отличие от предшествующих в данном чтении надписи последовательность 'nšn прочтена двояко: 1) 'nšn 'anāšm «люди», во всех случаях выступает в сопровождении kllhm «все они»; 2) 'nšn 'inšūn «они взяли; приняли (на себя)» — перфект 3-го лица мн. числа муж. рода от NSH «поднимать; возносить; брать»; протетический гласный 'i- в 'inšūn тот же, что и в библ.-арам. 'štyw 'ištiū (Дан. 5 : 3) «они пили» от ŠTH «пить», иуд.-арам. 'yḥt' 'iḥtā «он грешил» от ḤTH «грешить». Омографами в надписи являются также znh ḡinā «этот» и znh zānū-h «они его снабжали» от ZWN «читать; снабжать (пищей)», ср. в таргуме Онкелос wznūhwn blhm' (Быт. 47 : 17) «и он снабжал их хлебом»¹³.

¹¹ F. Altheim, R. Stiehl, Die aramäische Sprache unter den Achaimeniden, Lf. III, Frankfurt-am-Main, 1963, стр. 265.

¹² K. Hoffmann, Altiranisch, в кн.: «Handbuch der Orientalistik», IV — Iranistik, Abt. 1, Leiden, 1958, стр. 11.

¹³ См.: М. Н. Боголюбов, К чтению арамейской версии Кандагарской надписи Ашоки, ИАН ОЛЯ, 1967, 3, стр. 266.

К тому, что 'nšn в строке (5) является личной глагольной формой, приводит сравнение следующих двух сложных предложений, расположенных друг за другом:

1) 'zy nwny' 'hđn 'lk 'nšn ptyzbt

2) knm zy prbst hwyn 'lk 'thšsynn mn prbsty

Они однотипны: в обоих придаточное предложение предшествует главному; в главном три члена: подлежащее — 'lk «они»; сказуемое — личная глагольная форма 3-го лица мн. числа 'nšn/'thšsynn; прямое дополнение — ptyzbt/mn prbsty.

Составитель надписи поместил сказуемое 'nšn «они приняли (на себя)» в конце утвердительного предложения whwptysty l'mwhy wl'bwhy wšzyšty' 'nšn с тем, чтобы не повторять его в следующем, сравнительном предположении, введенном союзом 'yk «как; так же, как»: 'yk ('nšn) 'srhy ḥlqwt'. С восстановлением в придаточном предложении сказуемого 'nšn последовательность 'srhy можно рассматривать лишь как имя — 'sg 'isār «веление; определение», с местоименным суффиксом 3-го лица ед. числа, который передан через -hy по аналогии с предшествующими 'mwhy, 'bwhy. Одновременно стало возможным приравнять ḥlqwt' — инфинитив от ḤLK «делить» (пехл. идеограмма HLK" tn = baxtan «делить; надевать») к пракр. saṃvibhāga (др.-инд. saṃ-vibhāga, saṃ-vibhajana) «предоставление (другим) доли, части; распределение (даров, подаяния); распространение». В таком толковании слова 'yk 'srhy ḥlqwt' «так же как (они приняли) своим долгом наделять» вводят поучение Ашоки о saṃvibhāga — janasa ca vaḍhati vividhe dhamma-calane saṃyame dāna-savibhāge ti (Delhi-Торпа, IV, 20) «и разного рода следование дхарме, самообладание, раздача даров поощряются в людях», nasti eḍiṣaṃ danaṃ yaḍiṣaṃ dhrama-dana dhrama-saṃstave dhrama-saṃvibhago (Shahb. XI, 23) «нет такого дара, как дар дхармы, прославление дхармы, распространение дхармы».

РАЕВСКИЙ М. В.

ОСНОВА ПРЕЗЕНСА ГЛАГОЛОВ НА *-jan* И СТАТУС УДЛИНЕННЫХ СОГЛАСНЫХ В ЗАПАДНОГЕРМАНСКОМ

(Опыт реконструкции изменений в фономорфологической
структуре словоформы)

Известно, что только в западногерманских языках презентные словоформы германских глаголов на *-jan* (типа гот. *bidjan* «просить») последовательно упростили свою морфемную структуру, утратив в ходе этого упрощения основообразующий суффикс *-j-*. В немецком и английском языках соответствующие процессы практически завершились еще в дописьменный период, на что указывают такие примеры, как гот. *bidjan*, др.-исл. *bidja* в противоположность др.-англ. *biddan*, др.-в.-нем. *bitten*. Оказавшиеся в этом отношении более консервативными древнесаксонский и древнефризский также в конце концов преобразовали морфемную структуру данных словоформ [ср. др.-сакс. *biddian*, др.-фриз. *bidda* (при *lāvia* «оставлять»), но современный сев.-сакс. *bitn*, современный фриз. *biddel*, в то время как скандинавские языки — по крайней мере частично — еще сохранили ее в ряде форм (ср. современный исл. *bidja*, современный швед. *bedja*). Почему морфемная структура одних и тех же словоформ группы этимологически тождественных глаголов эволюционировала в разных частях германского языкового ареала столь неравномерно? Ответ на этот вопрос помог бы пролить свет на некоторые особенности процессов, которые вели к перестройке первоначальной модели образования словоформ, содержащих осложненную суффиксом *-j-* презентную основу, в более простую, характерную для аналогичных словоформ в современных западногерманских языках.

На наш взгляд, причины такого изменения морфемной структуры словоформ глаголов на *-jan*, содержащих основу презенса в западногерманском, могут быть вскрыты с достаточной вероятностью, если использовать для этого метод так называемой обратной реконструкции. Суть его заключается в том, что исследователь прослеживает развитие реконструированных праязыковых форм в формы, реально засвидетельствованные в древнейших письменных памятниках, последовательно учитывая при этом имевшие место в дописьменный период основные звуковые изменения, которые могли затронуть звуковую структуру исходных форм и тем самым обусловить ее дальнейшую эволюцию¹. В рассматриваемом здесь случае необходимо, по-видимому, учитывать те изменения, которые могли отразиться не только на звуковой или, точнее, фонемной структуре словоформы, но и на ее морфемной структуре.

Думается, что особое значение для ответа на вопрос о причинах ранней перестройки морфемной структуры интересующих нас словоформ (сначала в части западногерманского, а затем и во всем западногерманском ареале) приобретает изучение свойственного звуковой структуре этих

¹ О методе обратной реконструкции см., в частности: Н. Р е н з 1, *Methoden der germanistischen Linguistik*, Tübingen, 1972, стр. 132 и сл.

словоформ феномена, известного как западногерманское удлинение согласных (ср. др.-в.-нем. инфинитив *bitten*, причастие настоящего времени *bittenti*, 1-е лицо ед. числа настоящего времени *bittu*, 1, 2 и 3-е лица мн. числа настоящего времени *bitemês*, *bittet*, *bittent*, но 2 и 3-е лица ед. числа настоящего времени *bitis*, *bitit* при соответствующих готских формах *bidjan*, *bidjands*; *bidja*, *bidjam*, *bidjiþ*, *bidjand*; *bidjis*, *bidjiþ*).

В отличие от так называемых германских геминат западногерманские удлиненные согласные возникли как результат взаимодействия конечного согласного корневой морфемы и следующего за ним сонорного согласного, который либо сам по себе являлся основообразующим элементом, либо стоял в начале основообразующего форманта. Поэтому дальнейшее существование такого сонанта, несомненно, было тесно связано с дальнейшим существованием соседнего с ним удлиненного согласного и в какой-то мере, по-видимому, даже могло определять его последующую судьбу. Если это допущение справедливо, то, очевидно, лингвист в состоянии с достаточной долей вероятности реконструировать те изменения, которые мог испытывать сонорный под воздействием уже известных науке факторов, а также изменения соседних участков звуковой структуры изучаемой словоформы (в частности, предшествующего сонорному удлиненного согласного). Но прежде чем приступить к реконструкции этапов преобразования морфемной структуры глагольных словоформ, включавших в свой состав основообразующий формант *-j-*, необходимо хотя бы вкратце остановиться на том, как понимается в данной статье западногерманское удлинение согласных и каким был с излагаемой здесь точки зрения системный статус удлиненных согласных на всем протяжении их существования в западногерманских диалектах, а затем и языках.

Западногерманское удлинение согласных перед сонорными *j*, *w*, *r*, *l*, *m*, *n* часто рассматривается как явление, связанное с воздействием двухвершинного ударения на корневом или следующем за корневым слогом на замыкающий этот слог согласный. Сторонники этой точки зрения признают, что удлинение (геминация) наступает в результате перемещения границы слога на согласный, который тем самым расщепляется на гетеросиллабическую последовательность двух одинаковых согласных². С точки зрения другой теории, западногерманское удлинение согласных в конечном счете вызвано переходом от свободного к фиксированному динамическому ударению³. Наконец, западногерманское удлинение согласных связывается с совместным действием изменений в акцентной структуре слова и явлений конца слова⁴. По-видимому, удлинение согласных перед сонорными действительно вызывалось взаимодействием ряда факторов, и задачей германистики в таком случае должно быть установление этих факторов и выявление роли каждого из них.

Однако рассмотрение удлинения согласных только как фонетического явления, выразившегося в продлении артикуляции согласных в определенной позиции внутри слова, страдает, на наш взгляд, известной односторонностью. В самом деле, коль скоро удлинение согласных проявляло себя со сдвигом слоговой границы внутри слов и словоформ, за корневым слогом которых следовал содержащий сонорный звук основообразующий элемент, оно тем самым оказывалось выражением изменений в зву-

² Ср.: E. Sievers, Zur Accent- und Lautlehre der germanischen Sprachen, PBB, 5, 1878, стр. 161—162; R. C. Boer, Syncope en consonantengeminatie, «Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde», 37, 1918, стр. 213—218.

³ W. H. Bennett, The cause of the West Germanic consonant lengthening, «Language», 22, 1, 1946, стр. 18.

⁴ Э. А. Макаев, Система согласных фонем в германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 68.

ковой структуре слогов, составлявших соответствующие слова и словоформы. Поскольку же с возникновением гетеросиллабической последовательности двух одинаковых согласных на базе заключавшего корневую морфему одиночного согласного изменялась звуковая структура корневой морфемы, удлинение согласных оказывалось не только фонетическим, но и фономорфологическим явлением. Если же учесть, что сдвиг слоговой границы внутри словоформы и изменения в звуковой структуре составляющих ее слогов как бы «провоцировали» явления конца слова, затемнявшие древнюю морфемную структуру словоформы, то западногерманское удлинение согласных должно быть признано явлением, влияющим на каком-то этапе на морфемную структуру словоформы в целом. Наиболее ярко этот многоаспектный характер западногерманского удлинения согласных проявлялся, с нашей точки зрения, в случаях растяжения конечных согласных корневых морфем в словоформах глаголов на *-jan*, т. е. перед *-j-*.

Часто полагают, что в западногерманском перед *-j-* удлинялись только согласные, замыкавшие краткие корневые слоги⁵. Однако это утверждение справедливо лишь отчасти, так как отражает ситуацию, характерную только для ингвеонского и иствеоонского и засвидетельствованную в древнеанглийских, древнефризских и древнесаксонских памятниках. В памятниках же герминонских по происхождению древнеюжнонемецких диалектов в позиции перед этимологическим *-j-* удлиненные согласные представлены и после долгого гласного⁶ (ср. гот. *galaubjan* «верить», др.-англ. *zélyfan*, др.-ю.-нем. *galauppen*; гот. *lausjan* «освободить, спасать», др.-сакс. *lōsian* и др.-ю.-нем. *lōssan*). В связи с этим оказывается возможным трактовать западногерманское удлинение согласных (по крайней мере на почве герминонских диалектов) не как особенность структуры соответствующего типа слога⁷, а как реализацию согласных фонем в позиции перед *-j-* в продленных звучаниях независимо от количества предшествовавшего гласного.

Вопрос о системном статусе западногерманских удлиненных согласных допускает три теоретически возможных решения: удлиненные согласные могут рассматриваться а) как позиционные варианты тех или иных согласных фонем, б) как самостоятельные фонемы, в) как последовательности двух одинаковых фонем.

В пользу возможности трактовать западногерманские удлиненные согласные как особые позиционные варианты фонем говорит их очевидная позиционная обусловленность. Зависимость удлинения согласных от последующего *-j-* не требует особых доказательств, хотя механизм этого явления и может быть представлен по-разному⁸. Понимание западногерманских удлиненных согласных как особых фонем, противостоящих в интervoкальном положении простым или кратким согласным фонемам⁹,

⁵ См., например: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 55—56; В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.—Л., 1964, стр. 111—112.

⁶ См.: F. g. Simmler, Die westgermanische Konsonantengemination im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung des Althochdeutschen, München, 1974, стр. 375.

⁷ Ср.: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 66; В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 112.

⁸ Ср., например: G. Schweikle, Akzent und Artikulation. Überlegungen zur althochdeutschen Lautgeschichte (Umlaut, Monophthongierungen, Diphthongierungen, westgermanische Konsonantengemination, 2. Lautverschiebung), PBB (Tübingen), 86, 2—3, 1964, стр. 237 и сл.

⁹ Ср.: I. Reiffenstein, Geminaten und Fortes im Althochdeutschen. «Münchener Schriften zur Sprachwissenschaft», 18, III, 1965, стр. 61—77; И. П. Иванова, Система согласных и ее динамика в древнеанглийском языке, ФН, 1963, 3, стр. 30—40.

основывается на наличии противопоставлений типа др.-в.-нем. *hella* (из **halja*) «подземное царство» — *helan* «утаивать», др.-англ. *settan* (из **satjan*) «сажать» — *metan* «мерить» и т. п.

И, наконец, основанием для рассмотрения западногерманских удлинённых согласных как последовательностей двух одинаковых фонем, т. е. как геминат, служит то обстоятельство, что западногерманские удлинённые смычные [p:], [t:], [k:] отражаются в южнонемецких памятниках как *pph*, *ppf*, *zz*, *cch* [ср. др.-бав. *gisuppha* — 3-е лицо ед. числа настоящего времени конъюнктива от *supphen* < **supjan* «пить», *nezzin* (< **natjan*) «смачивать», *acchar* (< **akraz*) «поле»]. Подобные написания вполне могут быть истолкованы как попытки передать на письме гетеросиллабические последовательности шумных согласных фонем со структурой «глухая сильная смычная фонема + глухая аффрицированная смычная фонема». Если удлинённые глухие смычные развивались в герминонском как последовательности двух одинаковых фонем, различавшихся по своему положению в слоговой структуре словоформы, — одна замыкала первый слог, другая открывала следующий слог, — то это даёт известные основания для аналогичного анализа и удлинённых звонких смычных и удлинённых плавных и носовых.

По-видимому, каждый из этих подходов к определению системного статуса западногерманских удлинённых согласных обладает своим рациональным зерном. Весьма вероятно, что первое понимание западногерманских удлинённых согласных описывает их изначальное положение в системе консонантизма как позиционных вариантов, отличавшихся от других вариантов тех же фонем большей длительностью¹⁰. Второе понимание, очевидно, отражает изменение системного статуса удлинённых согласных, которое было вызвано исчезновением факторов, непосредственно приводивших к продлению артикуляции согласных. В результате этого согласный с более длительной артикуляцией утрачивал свой первоначальный статус позиционно обусловленного варианта простого согласного и в интервокальном положении оказывался противопоставленным последнему как фонема¹¹. Наконец, третье понимание может быть расценено как отражение ситуации, которая возникла после того, как в соответствующих словоформах произошел сдвиг границы между корневым и последующим слогом, в результате чего удлинённый согласный оказался синтагматически расщепленным на гетеросиллабическую последовательность двух одинаковых фонем (собственно геминация или удвоение).

Таким образом, есть определенные основания предполагать, что за время существования удлинённых согласных как фонетического явления в западногерманских диалектах (а затем и языках) системный статус этих согласных не оставался неизменным. По нашему мнению, изменение их статуса от позиционных вариантов фонем к фонемам и далее к гетеросиллабическим последовательностям двух одинаковых фонем прежде всего отражало соответствующую перестройку слоговой и морфемной структуры включавших эти согласные словоформ. Следовательно, системный статус удлинённых согласных на том или ином этапе их существования явно зависел от особенностей слоговой и морфемной структур, свойственных содержащим эти согласные словоформам в ту или иную эпоху существования западногерманских диалектов. Отсюда, по-видимому, следует, что каждый этап исторического существования удлинённых согласных в за-

¹⁰ См., например: O. В г е м е r, *Deutsche Phonetik*, Leipzig, 1893, стр. 48, где отмечается, что согласный, палатализованный под влиянием *j*, всегда долгий.

¹¹ См.: A. S c h m i t t, *Zur germanischen und hochdeutschen Lautverschiebung*, ZPh, 3, 1/2, 1949, стр. 3, 13.

падногерманском соответствовал определенному этапу в эволюции слоговой и морфемной структуры содержащих их словоформ.

Этап существования удлинённых согласных как особых позиционных вариантов согласных фонем, с нашей точки зрения, совпадает с той эпохой в общегерманском языковом состоянии, которую можно условно обозначить как предзападногерманскую и для которой еще была характерна известная автономность — в фонетическом и просодическом отношении — каждого составлявшего словоформу слога¹². Эта автономность проявлялась, в частности, в том, что любой слог содержал гласные полного образования независимо от того, падало ли на него словесное ударение или нет. Отсюда можно предположить, что необходимая для произнесения конкретной словоформы фонационная энергия достаточно равномерно распределялась между всеми составлявшими эту словоформу (точнее, содержащее ее фонетическое слово) слогами и все входившие в данные слоги звуки артикулировались сравнительно отчетливо. Скорее всего, составлявшие конкретную словоформу слоги отличались друг от друга в первую очередь своей структурой, связанным с ней количеством и отсутствием или наличием слогового акцента, выделявшего в слоге тем или иным образом какой-то его участок¹³.

Деление интересующих нас словоформ на слоги на данном этапе существования удлинённых согласных может быть представлено следующим образом: предзап.-герм. инфинитив *[bid: -jan] «просить», *[laus: -jan] «освободить», 1-е лицо настоящего времени ед. числа индикатива *[bid: -ju], *[laus: -ju]; 2-е лицо настоящего времени ед. числа индикатива *[bi-dis], *[lau-sis] и т. д.

Для образованных от основы презенса словоформ глаголов на *-jan* в предзападногерманском, по-видимому, была характерна все еще четкая морфемная структура, в которой выделялись корневая морфема, основообразующая морфема (суффикс), тематический гласный и личное окончание или формообразующий суффикс. Предположительно их морфемная структура может быть реконструирована так: инфинитив *[bid-j-a-n], *[laus-j-a-n]; 1-е лицо ед. числа настоящего времени индикатива *[bid-j-u], *[laus-j-u]; 2-е лицо ед. числа настоящего времени индикатива *[bid-i-s], *[laus-i-s]; 3-е лицо ед. числа настоящего времени индикатива *[bid-i-þ,d], *[laus-i-þ,d]; 1-е лицо мн. числа настоящего времени индикатива *[bid-j-a-mz, -me:s], *[laus-j-a-mz, -me:s]; 2-е лицо мн. числа настоящего времени индикатива *[bid-j-a-þ, -d], *[laus-j-a-þ, -d]¹⁴; 3-е лицо мн. числа настоящего времени индикатива *[bid-j-a-nþ, -nd], *[laus-j-a-nþ, -nd] и т. д.

Обращает на себя внимание тот факт, что в формах 2 и 3-го лиц ед. числа настоящего времени индикатива основообразующий суффикс *-j-* не восстанавливается. Независимо от того, какими причинами различные авторы объясняют эту особенность морфемной структуры названных форм¹⁵,

¹² В соответствии с периодизацией Ф. ван Кутсема эта эпоха, по-видимому, совпадает с концом прагерманского периода (F. van Coetsem, *Das System der starken Verba und die Periodisierung im älteren Germanischen*, Amsterdam, 1956, стр. 80) или раннегерманского периода по Э. А. Макаеву (Э. А. Макаев, *Понятие общегерманского языка и его периодизация*, «Сравнительная грамматика германских языков», I, М., 1962, стр. 115).

¹³ Подробно о слоговой акцентуации в западногерманском см.: С. Д. Качельсон, *Сравнительная акцентология германских языков*, М.—Л., 1966, стр. 211 и далее.

¹⁴ Ср., однако, реконструкцию тематического гласного в форме 2-го лица мн. числа в работе: М. М. Гухман, *Глагол в германских языках*, «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 346—347, 375.

¹⁵ См., в частности: М. М. Гухман, *указ. соч.*, стр. 375; Н. Крахе, W. Meid, *Germanische Sprachwissenschaft, II — Formenlehre*, Berlin, 1969, стр. 421.

отсутствие в них *-j-*, несомненно, расшатывало его позиции и в других формах презенса индикатива, тем более что этот суффикс был лишен и какого-либо определенного значения (по крайней мере в рассматриваемую эпоху).

Положение *-j-* в системе средств, образовывавших глагольные основы, ослаблялось на почве предзападногерманского еще и тем, что *-j-* оказывал удлиняющее воздействие на непосредственно предшествующий ему согласный, и этот последний, наряду с *-j-*, также, по-видимому, сигнализировал о том, что соответствующая основа является производной.

Таким образом, в предзападногерманском в пределах рассматриваемой группы глагольной лексики с древнейших времен существовали два сопутствовавших друг другу способа выражения производного характера презентной основы: собственно основообразующий формант *-j-* и вызванное им удлинение согласного в исходе корневой морфемы. Наличие этих двух способов передачи одной и той же языковой информации явно таило в себе принципиальную возможность исчезновения одного из них при сохранении каждой конкретной словоформой другого показателя производности содержащейся в ней основы презенса.

Позднее с переходом к фиксированному словесному ударению необходимая для произнесения словоформы и примыкающих к ней проклитик и энклитик фонационная энергия уже не распределяется более или менее равномерно между слогами, составлявшими фонетическое слово, но концентрируется на корневом слоге. Корневой слог только с этого времени и становится собственно ударным в узком понимании данного термина. В результате этого остальные слоги, входящие в состав словоформы, начинают произноситься с расходом относительно меньшего количества фонационной энергии по сравнению с корневым слогом и превращаются в слабоударные и безударные, что со временем приводит к ослаблению артикуляции данных слогов в целом и каждого входящего в их состав звука в отдельности. Такое положение имело место, по-видимому, в эпоху сформировавшейся западногерманской языковой общности¹⁶.

В условиях перераспределения фонационной энергии внутри фонетического слова в пользу корневого слога глагольной словоформы и вызываемого этим ослабления слабоударных и безударных слогов первым в интересующих нас словоформах утрачивал четкость артикуляции сонорный согласный *-j-*, который в силу двойственности своей природы был, с нашей точки зрения, наиболее подвержен такого рода изменениям. Самым вероятным направлением, в котором в данных условиях мог измениться этот согласный, по-видимому, была его вокализация, заканчивавшаяся его переходом в краткий гласный *-i-*. Именно как свидетельства древней вокализации *-j-* могут рассматриваться, по нашему мнению, такие написания, как др.-сакс. *settian* «сажать» при гот. *satjan*, др.-сакс. *hōrian* «слушать» при гот. *hausjan*, др.-сакс. *sibbia*, др.-в.-нем. *sipbea* «род, родство» при гот. *sibja*¹⁷.

С переходом сонанта в краткий гласный предшествовавший ему удлиненный согласный продолжал еще сохранять свое количество, которое, однако, уже утрачивало свою позиционную обусловленность. В этих условиях изменялся системный статус удлиненного согласного: в возникшей

¹⁶ О реальности ее существования см., например: N. Törnqvist, Gibt es tatsächlich eine westgermanische Spracheinheit?, «Neuphilologische Mitteilungen», 75, 3, Helsinki, 1974.

¹⁷ Написания *ia*, *ea* интерпретируются здесь как передача на письме рефлексов этимологического сочетания *-ja-*, первым компонентом которых был уже не сонант, а разившийся на его основе гласный. Ср., однако: W. Braune, Althochdeutsche Grammatik, Halle, 1950, стр. 98.

после вокализации *-j-* новой интервокальной позиции он оказывался противопоставленным краткому согласному в старой интервокальной позиции как фонема. Аналогичные последствия имели место и после возникновения эпентетического гласного между удлинненным согласным и вызывавшим это удлинение плавным, ср.-др.-исл. *bīr* «горький», *snotr* «мудрый», *epli* «яблоко», но др.-англ. *bittor*, *snottor*, *æppel* и др.-в.-нем. *bittar*, *snottar*, *aphul* (из **appul*).

Изменение системного статуса удлинненного согласного немедленно сказывалось на фонемном составе корневой морфемы. Прежнее чередование позиционно независимого и позиционно обусловленного вариантов одной и той же фонемы преобразовывалось в чередование разных фонем. Тем самым ранее единая для всех содержащих основу презенса словоформ корневая морфема распадалась на два варианта (алломорфа), различие между которыми уже было синхронически необусловленным. Словоформам 2 и 3-го лица ед. числа настоящего времени индикатива (типы **[bid:is]*, **[laus:is]* и т. д.) с краткой согласной фонемой в исходе корня противостояли словоформы 1-го лица ед. числа настоящего времени и 1, 2 и 3-го лиц мн. числа настоящего времени индикатива (типы **[bid:iu]*, **[laus:iu]* и т. д.) с долгой согласной фонемой.

Если удлинненные согласные действительно приобретали фонемный статус в названных условиях, то из этого следует, что они противопоставлялись кратким согласным не просто в новой интервокальной позиции, но в начале второго слога в составе словоформы. Отсюда вытекает, что удлинненные согласные могли появиться в этой позиции только после перемещения границы между первым и вторым слогом влево, в результате чего замыкавший ранее корневой слог удлинненный согласный отходил к следующему слогу в качестве его консонантного начала. Такой сдвиг слоговой границы становился на какое-то время возможным благодаря тому, что в составлявшей эти словоформы последовательности звуков долгий согласный теперь непосредственно предшествовал краткому гласному *-i-*. Слоговая структура типа *[bid:-jan]* уступала место структуре типа *[bi-d:i-an]*, в ходе чего появлялись срединные слоги, состоявшие из долгого согласного и краткого гласного.

Вокализация суффиксального *-j-* изменила и морфемную структуру соответствующих словоформ, так как этот древний основообразующий формант, перейдя в *-i-*, совпал по своему звучанию с тематическим гласным *-i-* (из и.-е. *-e-*), представленным в формах 2 и 3-го лиц ед. числа настоящего времени, ср. **[bid-i:s]*, **[bid-i:þ]*, *-d]*, и ранее чередовавшимся по аблауту с тематическим гласным *-a-* (из и.-е. *-o-*) в формах мн. числа (ср. 3-е лицо мн. числа настоящего времени **[bid-j-a:nþ]*, *-nd]* и т. д.).

Если справедливо, что в этот период тематические гласные в интересующих нас глаголах еще существовали как аффиксальные морфемы особого типа, оформлявшие основу личной формы глагола, то, по-видимому, следует признать за совпавшим с тематическим гласным *-i-* рефлексом суффикса *-j-* именно этот статус.

Таким образом, после вокализации *-j-*, в отличие от предшествовавшего периода, основы всех презентных словоформ глаголов на *-jan* приобрели четкую двучленную структуру, поскольку все они теперь состояли из корневой морфемы в одном из ее вариантов и тематического гласного *-i-*, свойственного также и всем претеритальным формам слабых глаголов I класса. В результате этого глаголы на *-jan* как бы выравнивали структуру своей основы презенса по двухморфемной модели, представленной слабыми глаголами II и III классов (корневая морфема плюс единый для всех содержащих основу презенса словоформ основообразующий элемент). Тем самым они обособились от основной массы сильных глаголов, еще сохранявших старый

тип образования презентных основ с использованием двух чередующихся по аблауту тематических гласных: *-i-* в формах ед. числа и *-a-* в формах мн. числа настоящего времени индикатива и в формах инфинитива и причастия I.

В рамках рассматриваемой группы глаголов это вело не только к разрушению унаследованного из индоевропейского чередования тематических гласных по аблауту. Оказавшись в следующей структурной позиции по отношению к *-i-* (из *-j-*), древний тематический гласный *-a-* утрачивал во всех содержащих его формах (типы * [bid:ian], * [laus:ian] и т. д.) свою исконную равноправность с *-i-*. Он превращался в такой элемент звуковой структуры словоформы, однозначное отнесение которого к основообразующему суффиксу или флексии представляет определенные трудности.

С одной стороны, *-a-* можно было бы рассматривать в этих формах как дополнительный тематический гласный по отношению к *-i-* или как тематический гласный второго порядка, который специально характеризовал все словоформы мн. числа, а также инфинитив и причастие I. В этом случае можно было бы считать, что вариант корневой морфемы с краткой согласной фонемой в исходе предполагает один тематический гласный, в то время как вариант корня с долгой согласной фонемой в исходе требует последовательности из двух тематических гласных. Однако наличие форм 1-го лица ед. числа настоящего времени индикатива (типы * [bid:iu], * [laus:iu]), где за вариантом корня с долгой согласной фонемой в исходе следует один тематический гласный *-i-*, а *-u* (из общегерм. *-ō*) представляет собой личное окончание, не позволяет принять эту гипотезу. С другой стороны, *-a-* можно было бы рассматривать в названных формах как начальный гласный флексий или формообразующих суффиксов. Однако такое допущение опровергается тем, что почти все личные окончания словоформ настоящего времени, за исключением флексии 1-го лица ед. числа, равно как и формообразующие суффиксы, начинались с согласного.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что древний тематический гласный *-a-*, характерный для личных форм мн. числа настоящего времени индикатива, инфинитива и причастия I, в данной группе глаголов, по-видимому, утратил свой статус основообразующей морфемы, который он сохранял еще в формообразовании остальных сильных глаголов (за исключением атематических). Скорее всего, он существовал в составе этих словоформ как элемент их традиционной звуковой структуры, лишенный всякой морфологической функции.

Таким образом, содержавшие основу презенса словоформы глаголов на *-jan* в эпоху западногерманской языковой общности резко отличались от соответствующих словоформ всех остальных глаголов, которым было свойственно тематическое спряжение. Это отличие прослеживалось как в фонетической, так и в морфемной структуре данных словоформ. Фонетическую их структуру характеризовало, в частности, наличие в шести формах презенса индикатива из восьми и во всех формах презенса опатива лишнего слога по сравнению с аналогичными формами остальных тематических глаголов (ср. * [bi-d:i-u], но * [hil-pu], 1-е лицо ед. числа настоящего времени индикатива от * *helpan-* «помогать» и т. д.), наличие в этих формах срединных слогов типа [-d:i-] и, наконец, зияние, возникшее на стыке срединного и следующего за ним слога. Их морфемную структуру характеризовало чередование различавшихся по своему фонемному составу вариантов корня и наличие промежуточного гласного между основообразующим формантом и флексией или формообразующим суффиксом в формах мн. числа, инфинитиве и причастии I (ср. * [bid:i-a-n̥], -n̥d̥) и т. д.).

Однако это состояние вряд ли было свойственно данным словоформам в течение более или менее длительного времени. Как нестандартность фоне-

тической структуры большинства личных форм презенса индикатива и всех форм презенса спитатива, а также инфинитива и причастия I, так и отсутствие единообразия в морфемной структуре всех форм презенса индикатива, предполагали приобретение ими более унифицированного относительно аналогичных словоформ остальных тематических глаголов вида. Направленные на это изменения происходят уже в период интенсивной миграции западногерманских племенных группировок в Западной и Средней Европе в I—VIII вв. н. э., возникновения варварских, а затем и раннефеодальных государств и связанных с ним процессов развития племенных диалектов в языке народностей¹⁸.

На наш взгляд, импульс к дальнейшему изменению фонетической структуры нестандартных словоформ глаголов на *-jan* был дан уже возникновением в них срединных слогов типа [d:i-]. По своему строению срединные слоги этого вида резко отличались от других содержащих краткие гласные слогов и поэтому неизбежно должны были преобразоваться в соответствии с закономерностями построения исконно присущих германским диалектам типов слогов. Наиболее простым способом преобразования структуры таких слогов было перемещение границы между первым и вторым слогами внутрь удлинненного согласного, что в действительности и произошло. Сдвиг слоговой границы расщеплял удлинненный согласный на гетеросиллабическую последовательность двух кратких согласных. Удлинненный согласный в исходе корня претерпевал, таким образом, еще одно изменение своего системного статуса и становился антропофоническим субстратом последовательности двух одинаковых фонем, т. е. происходила собственно геминация, или удвоение согласных. В результате этой частичной ресегментации словоформ на слоги первый слог из открытого превращался в закрытый, а второй слог, ранее характеризовавшийся удлинненным согласным в анлауте, получал в этой позиции краткий согласный и тем самым приобретал нормальное строение. Слоговая структура словоформы типа * [bi-d:i-an] сменялась структурой типа * [bid-di-an] и т. д.

Чередование долгой и краткой согласной фонемы в исходе корня одновременно преобразовывалось в чередование геминаты и одной фонемы (ср. * [bidd-i-an], * [lauss-i-an], по * [bid-i-s], * [laus-i-s] и т. д.). Таким образом, корневая морфема глаголов на *-jan* все еще была представлена в формах, содержащих основу презенса, двумя вариантами, которые частично отличались друг от друга фонемной структурой своего исхода и находились в отношении дополнительной дистрибуции. Поскольку чередование этих двух вариантов уже не было обусловлено синхронически и даже в предшествовавшую эпоху не было семантически релевантным, его дальнейшее сохранение, по-видимому, ничем более не оправдывалось, так как при этом нарушалось бы тождество консонантного каркаса корня, характерное для подавляющего большинства глаголов в германских диалектах. Возникла принципиальная возможность устранить такое необусловленное чередование согласных путем аналогического выравнивания фонемной структуры исхода корня либо по образцу словоформ с геминатой, либо по образцу словоформ с простым согласным в исходе корневой морфемы. Как известно, краткосложные глаголы долгое время еще сохраняли это чередование, в то время как долгосложные глаголы довольно быстро заменили геминату простым согласным. Процессы этого аналогического выравнивания завершились значительно позже уже на почве отдельных западногерманских языков¹⁹.

¹⁸ См. об этом подробнее: В. М. Ж и р м у и с к и й, указ. соч., стр. 229 и сл.; е г о ж е, Племенные диалекты древних германцев, «Сравнительная грамматика германских языков», I, стр. 160—161.

¹⁹ См. подробнее: F r. S i m m l e r, указ. соч.

Одновременно с перестройкой слоговой структуры этих словоформ и изменением фонемной структуры представленного в них варианта корня развертывались и процессы, направленные на устранение гетеросиллабических дифтонгических сочетаний *-iu-*, *-ia-*, а с ними и зияния на стыке второго слога основы и следующего за ним слога. Эти процессы проходили на почве различных частей западногерманского различными темпами, о чем свидетельствуют данные письменных памятников на отдельных древнегерманских языках.

В части ингвеонского, оформившейся впоследствии в древнеанглийский язык, эти дифтонгические сочетания исчезали наиболее быстро. В древнеанглийском лишь несколько глаголов I класса еще сохраняют на стыке срединного и конечного слогов сочетание гласных *-ia-* (ср. *erian* «пахать», *nerian* «спасать»), тогда как большинство слабых глаголов I класса обнаруживает вместо дифтонгического сочетания краткий гласный *-a-* по аналогии с сильными глаголами (ср. *fyllan* «наполнять», *tempan* «укрощать» и т. п.). Однако в остальной части ингвеонского, давшей начало древнесаксонскому и древнефризскому языкам, эти сочетания сохранялись гораздо дольше (ср. др.-сакс. *fellian* «заставить упасть», *thennian* «растягивать», др.-фриз. *lāvia*, *lēva* «оставлять» и т. п.).

Иствеонский и гермионский отличались, по-видимому, несколько более замедленными темпами развития этого процесса по сравнению с исторически предшествовавшими древнеанглийскому ингвеонскими диалектами: древнебаварские и древнефранкские памятники VIII и отчасти IX вв. также сохраняют дифтонгические сочетания в ряде краткосложных слабых глаголов I класса с *-r-* в исходе корня (ср. *nerien* «спасать», *werien* «защищать») и, кроме того, обнаруживают их в единичных случаях в некоторых личных формах других слабых глаголов I класса (ср. *huckiu*, 1-е лицо ед. числа настоящего времени индикатива от *hucken* «думать», *frummiūmēs*, 1-е лицо мн. числа настоящего времени индикатива от *frummen* «совершать»²⁰). В большинстве же случаев древневерхнемецкие глаголы этой группы имеют на месте дифтонгических сочетаний в соответствующих словоформах краткие монофтонги: *-a-* в древнеюжнонемецком [ср. *huckan* «думать», *wechan*, 3-е лицо мн. числа настоящего времени индикатива от *wechan* «будить» («Муспилли», IX в.) и т. п.], *-e-* в остальной части древневерхнемецкого [ср. *mendent*, 3-е лицо мн. числа настоящего времени индикатива от *menden* «радоваться», *suohhenite*, причастие I от *suohhen* «искать» («Татиан», IX в.) и т. п.], а к концу периода и во всем верхнемецком.

Таким образом, структура презентной основы глаголов на *-jan* эволюционировала в западногерманском в сторону своего упрощения, что выразилось в замене осложненной трехэлементной основы (корень + *-j-* + тематический гласный) стандартной двухэлементной основой (корень + единый для всех содержащих эту основу форм тематический гласный *-i-*). При этом соответствующие словоформы получали также стандартную трехчленную морфемную структуру: корень + тематический гласный аналогического или вторичного происхождения + флексия или формообразующий суффикс. На древнюю оппозицию осложненного и неосложненного вариантов презентной основы указывало лишь чередование геминаты и простого согласного в исходе корневой морфемы в формах 1-го лица ед. числа, 1—3-го лиц мн. числа настоящего времени индикатива и во всех лицах настоящего времени опатива, в инфинитиве и причастии I краткосложных слабых глаголов I класса²¹, с одной стороны, и в формах 2 и

²⁰ См. подробнее: W. В а н п е, указ. соч., стр. 251—256.

²¹ В формах долгосложных слабых глаголов I класса это чередование сохраняет некоторое время древнеюжнонемецкий. Другие языки утратили его, видимо, еще в дописьменный период.

3-го лиц ед. числа настоящего времени индикатива, с другой стороны. Однако это чередование, не имевшее никакой функциональной нагрузки, со временем было устранено.

Итак, непосредственной причиной процессов, приведших к преобразованию морфемной структуры презентных основ глаголов на *-jan*, следует считать особенности перехода к новому типу словесного ударения в западногерманском, а именно то, что явления концентрации произносительной энергии на корневом слоге и артикуляционного ослабления заударных слогов оказывались там более ярко выраженными. Это позволяет сделать вывод о том, что темпы перехода к фиксированному динамическому словесному ударению были в западногерманском, по-видимому, более быстрыми, чем в северногерманском. Вызванная ослаблением первого заударного слога вокализация суффикса *-j-* привела к приобретению презентными основами глаголов на *-jan* новых нестандартных фонетической и морфемной структур, которые не укладывались в соответствующие модели, представленные в презентных основах остальных тематических глаголов, т. е. подавляющего большинства глагольной лексики. Именно эти нестандартные фонетическая и морфемная структуры презентных основ и подвергались дальнейшему преобразованию в содержащих их словоформах.

Как видно из изложенного, длительная эволюция, приведшая к упрощению презентной основы глаголов на *-jan*, с полным основанием может рассматриваться как противодействие «деформирующему» влиянию просодических изменений на фонетическую и морфемную структуры соответствующих словоформ. Утрата фонетической структуры словоформы в результате вокализации *-j-* ее соответствия законам фонотактики и слогаделения, характерным для общегерманского, несомненно, должна была вызвать сдвиг слоговой границы и контракцию гетеросиллабических последовательностей гласных или их аналогическую замену монофтонгами. Это приводило к появлению новой фонетической структуры словоформы, которая была исторически тождественна исчезнувшей «деформированной» структуре, будучи результатом ее перестройки, но в то же время отличалась от нее своей регулярностью, вновь приобретенным в ходе изменений своего материального состава соответствием правилам фонотактики и слогаделения. Одновременно с этими изменениями у словоформы возникала и новая морфемная структура, которая обнаруживала четкое членение на корень, основообразующий гласный и флексию или формообразующий суффикс, т. е. вновь была прозрачной по своему составу, хотя и отличалась по количеству элементов от прежней, поскольку с исчезновением *-j-* как особого форманта презентная основа этих глаголов приобретала обычное для всех тематических глаголов двухэлементное строение.

ТАРЛАНОВ З. К.

ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В ВОСТОЧНОЛЕЗГИНСКИХ ЯЗЫКАХ

В языкознании — как классическом, так и в новейшем — много внимания уделяется изучению того класса слов, за которым прочно закрепилось довольно неопределенное, но в основе своей вполне понятное терминологическое обозначение — местоимения. Практически обзреть всю имеющуюся на эту тему литературу вряд ли возможно. Тем не менее круг обычно обсуждаемых в ней проблем традиционен: это проблемы семантической, функциональной сущности, формально-грамматического разнообразия местоимений, их классификации — семантической и по соотносительности с другими классами слов, разграничения личных и неличных местоимений, выявления и описания характера связей между категорией лица глагола и личными местоимениями (является ли категория лица органически присущей для глагола вообще или нет?), природы противопоставленных друг другу форм личных местоимений и т. д. При этом нетрудно заметить, что наибольший интерес исследователей вызывают прежде всего вопросы, связанные с изучением личных местоимений, — сколько их? Каков их статус? Чему они соответствуют во внеязыковой действительности? Каков смысл форм множественного числа личных местоимений? и под.

При всей своей универсальности и функционально-типологическом сходстве («...местоимения есть во всех языках, и во всех языках их распределяют по одним и тем же категориям...»¹) каждый язык или группа родственных языков обнаруживает поразительное разнообразие форм и значений местоимений, без учета которого общая теория местоимений не может считаться полной. В силу этого всякие сведения, проливающие свет на проблему местоименности, приобретают особое значение независимо от генетического или типологического строя языков, данными которых мы пользуемся.

Настоящая статья представляет собой попытку системного анализа личных и лично-указательных местоимений в южнодагестанских языках, относящихся к лезгинской группе.

Как известно, во многих языках глагол и местоимение соотносительны между собой. Соотносительность эта выражается не только в том, что эти классы слов объединены общей для них грамматической категорией — категорией лица, реализуемой каждым из них по-своему, но и в том, что обнаруживается отчетливая генетическая связь между личными местоимениями, с одной стороны, и личным спряжением глагола — с другой, что было достаточно убедительно сформулировано на материале индоевропейских языков уже на заре сравнительно-исторического языкознания². Генетическая связь между личным спряжением глагола и личными местоимениями подтверждается также данными и нефлективных языков, в частности дагестанских. Так, лезгинским языкам изначально чуждо личное

¹ Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 285.

² Имеется в виду знаменитая теория агглютинации Фр. Боппа. См.: В. А. Звегинцев, *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*, ч. 1, М., 1960, стр. 33. См. также: Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский, *Очерки по истории лингвистики*, М., 1975, стр. 271—272.

спряжение глагола, некогда характеризовавшегося исключительно так называемым классным спряжением³. Но в тех из современных лезгинских языков, глагол которых отмечен личным спряжением, личные формы складываются под несомненным воздействием соответствующих форм личных местоимений⁴.

Таким образом, категория лица не входит в число обязательных характеристик глагола как особой части речи в каждом языке или каждой группе языков. Выявляя отнесенности действия-состояния к лицу в тех языках, глагол которых лишен личного спряжения, оказывается исключительно функцией личного местоимения, благодаря чему проблема личных местоимений приобретает особую остроту.

Личным местоимениям в лезгинских языках, сравнительно активно изучаемым, как и сами эти языки в целом, уже с конца XIX в., посвящена значительная литература. Начиная с грамматических очерков Р. Эркerta по ряду языков лезгинской группы (так называемому юрнскому, рутульскому, цахурскому, агульскому, табасаранскому)⁵, складывается традиция снабжать общеграмматические исследования развернутыми обзорами надежных и числовых форм местоимений, в том числе и личных⁶. Но обзоры эти представляют собою, как правило, схемы сугубо иллюстративного плана, поэтому, естественно, далеки от задач теоретического освещения проблем, связанных с природой местоимений вообще.

Согласно сложившейся в лингвистике традиции, личные местоимения неоднородны по их составу, грамматическому оформлению и функциональной закреплённости. Среди них на этом основании выделяют собственно-личные местоимения, обозначающие 1 и 2-е лица, и местоимения лично-указательные, а по некоторым оценкам — мнимо-личные, обозначающие 3-е лицо. Те исследователи, которые считают, что местоимения 3-го лица обозначают не-лицо, и, следовательно, не могут быть квалифицированы как личные, исходя из того, что эти местоимения, в отличие от собственно-личных, соотносятся «с данными настоящей и моментом речи»⁷, имеют «референцию уже не с моментом речи, а с „реальными“ объектами, с „историческими“ временем и местом»⁸.

То, что местоимения 3-го лица исторически восходят к указательным и вследствие этого существенно отличаются от изначально личных не только по их формально-грамматическим характеристикам, но и по референтной соотносённости, уже давно стало общим местом. Тем не менее все попытки изолировать, оторгнуть лично-указательные местоимения от собственно-личных не увенчались успехом, и это вряд ли может быть объяснено только лишь непреодолимостью давления традиционных канонов в грамматических концепциях. Дело здесь, по-видимому, заключается не столько в совершенстве или несовершенстве теории, сколько в объективно данной коллективно-языковой, социальной традиции, трактующей категорию лица как координированную трехчленную парадигму, куда наряду с *я* и *ты*

³ А. С. Чикобава, Предисловие к книге: А. А. Магомедов, Табасаранский язык, Тбилиси, 1965, стр. VI—VII.

⁴ А. А. Магомедов, указ. соч., стр. 196—200; С. М. Хайдаков, Система глагола в дагестанских языках, М., 1975, стр. 152—153.

⁵ В. Егскерт, Die Sprachen des kaukasischen Stammes, Wien, 1895, стр. 3—51.

⁶ См., например: П. К. Услар, Этнография Кавказа. Языкознание. VI. Кюринский язык, Тифлис, 1896, стр. 59—73; А. М. Дирр, Агульский язык. Грамматический очерк, тексты, сборник агульских слов с русским к нему указателем, СМОМПК, 37, Тифлис, 1907, стр. 19—23; Л. И. Жирков, Грамматика лезгинского языка, Махачкала, 1941, стр. 98—101; Р. Шаумян, Грамматический очерк агульского языка, М.—Л., 1941, стр. 55—67; А. А. Магомедов, указ. соч., стр. 169—180; и др.

⁷ Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 287—288.

⁸ Там же, стр. 288.

входит также *он*⁹. Чтобы удостовериться, что дело обстоит именно так, достаточно сослаться на те языки, которые располагают инклюзивными и эксклюзивными формами мн. числа, где как будто бы существующая в формах ед. числа оппозиция *я/ты* : *он* оказывается призрачной, поскольку инклюзивное или эксклюзивное *мы* предполагает противопоставление *ты* : *он*. Независимо от социально-исторических причин и условий генезиса категории инклюзива-эксклюзива¹⁰, представляется очевидным то, что она базируется на такой «концепции» языка, которая исходит из признания трехчленности категории лица, благодаря чему инклюзив объединяет в себе 1 и 2-е лица, а эксклюзив — 1 и 3-е лица, при этом трудно утверждать без явных натяжек, что в первом из них доминирует *ты*, во втором — *я*¹¹. К тому же местоимение *он* характеризуется всеми теми важнейшими чертами, которые свойственны остальным личным местоимениям¹².

Перейдя непосредственно к личным и лично-указательным местоимениям в лезгинских языках, обратимся к их сводной таблице¹³.

Личные местоимения в лезгинских языках

Языки	Ед. число			Мн. число			
	1 л.	2 л.	3 л.	1 л.		2 л.	3 л.
				инкл.	экскл.		
Аг.	<i>zup</i>	<i>wup</i>	<i>ge, le, te, hege, hele, hete, me, heme</i>	<i>ġin</i>	<i>ċin</i>	<i>ĉin</i>	<i>mur, tur, gur, lur, (lebur)</i>
Лезг.	<i>zup</i>	<i>wup</i>	<i>im, am, ařam, winim, ayam</i>		<i>ĉin</i>	<i>kün</i>	<i>ibur, abur, ařabur, winibur, ayabur</i>
Таб.	<i>izu</i>	<i>iwu</i>	<i>tu, ċumu, řumu, řutu</i>	<i>ĩu</i>	<i>iĉu</i>	<i>iĉu</i>	<i>muřari, řuřari, muřrt</i>

Как явствует из таблицы, личные и лично-указательные местоимения в рассматриваемых лезгинских языках обнаруживают много общего. Прежде всего, очевидно, что в 1 и 2-м лицах ед. числа, если не принимать во внимание некоторые несущественные фонетические различия, они почти полностью совпадают во всех языках. Местоимение 3-го лица по его звуковому оформлению, отдельному для каждого языка, стоит особо. А во мн. числе тенденция к дивергенции становится господствующей не только для форм 3-го лица, но и для форм 1—2-го лиц. В связи с этим усложняются историко-типологические взаимоотношения между языками. Агульский язык занимает промежуточное положение между лезгинским, с одной стороны, табасаранским — с другой. Личные местоимения 1 и 2-го лиц в агульском полностью совпадают в им. падеже ед. числа с соответствующими местоимениями

⁹ Следует отметить, что интересный и оригинальный анализ различий между третьим лицом, с одной стороны, и первым-вторым — с другой, предлагает Э. Бенвенист, сведя их к четырем основным моментам, из которых два последних, на наш взгляд, не бесспорны. См.: Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 290—291.

¹⁰ К. Д. Дондуа, Статьи по общему и кавказскому языкознанию, Л., 1975, стр. 79—81.

¹¹ Ср.: Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 268.

¹² См.: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 151—155, 163; В. В. Виноградов, Русский язык, М. — Л., 1947, стр. 324—330.

¹³ Все диалектные варианты не учитываются.

мениями в лезгинском. Зато во мн. числе они сближаются с аналогичными формами в табасаранском языке, и это сближение оказывается принципиальным, поскольку оно базируется на общей для агульского и табасаранского языков и чуждой современному лезгинскому языку грамматической категории инклюзива-эксклюзива. Следует только заметить, что категория эта, представлявшая собою принадлежность прономинальной системы всех лезгинских языков в их историческом прошлом, ныне утрачена не только собственно лезгинским. К последнему примыкают в этом отношении также цахурский, рутульский, удицкий и будухский¹⁴. Следовательно, переход от инклюзива-эксклюзива к общей форме мн. числа выступает как живой процесс, действующий в лезгинских языках на современном этапе их развития. Поэтому было бы интересно проследить самое динамику этого процесса на широком материале всех лезгинских языков и их диалектов. Это самостоятельная проблема, которая должна быть предметом отдельного исследования.

В дальнейшем остановимся на наименее изученных, с нашей точки зрения, вопросах, касающихся состава и функционирования личных и лично-указательных местоимений в каждом из трех упомянутых современных восточнолезгинских языков¹⁵.

В ед. числе отдельного рассмотрения требуют местоимения 3-го лица.

Как уже отмечалось, лично-указательные местоимения в лезгинских языках, подобно другим языкам, восходят к указательным. Указательное местоимение, приобретя новую для него функцию — обозначать лицо, не принимающее участия в акте речи (3-е лицо) — само по себе может не претерпевать никаких изменений в плане выражения. Поэтому является обычным для многих языков формальное тождество указательных и лично-указательных местоимений. Так обстоит дело и в интересующих нас языках, кроме собственно лезгинского, в котором указательные местоимения отчетливо противопоставлены лично-указательным не только функционально, но и формально. В этом последнем местоимении *i* «этот», *a* «тот», *ha* «тот», *aṭa* «более далекий», *wini* «тот (верхний)», *aṭa* «тот (нижний)» выполняют исключительно указательную функцию, в предложении выступают в роли определенных и, естественно, отличаются от возникших на их базе лично-указательных местоимений *im* «этот», *am* «тот», *ham* «тот», *winim* «тот (верхний)» и т. д. В связи с этим нуждается в уточнении утверждение Л. И. Жиркова, квалифицировавшего только что приведенные слова как «более полные... формы»¹⁶ указательных местоимений.

Таким образом, в лезгинском языке налицо факт выделения в особую группу слов тех генетически указательных местоимений, которые специализируясь для обозначения лица, не являющегося участником акта речи, получают новую словообразовательную структуру, ср.: *I* (*a*, *aṭa* *ha*) *insan wuṣ ja?* «Кто это (тот) человек?»; *Im* (*am*, *aṭam*, *ham*) *wuṣ ja?* «Кто это?». В остальных из упомянутых языков различия между личными и лично-указательными местоимениями носят сугубо синтаксический характер, ср. аг.: *Me* (*ge'le 'te*) *insan fiṣe?* «Кто этот (тот) человек?»; *Me* (*ge*, *le*, *te*) *fiṣe?* «Кто это?».

Лично-указательные местоимения в лезгинских языках, как и в других дагестанских, характеризуются хорошо выраженной многоуровневой

¹⁴ См. данные, которые приводятся в статье: А. Магомедов, Личные местоимения лезгинских языков, «Вестник Отд. общ. наук АН ГрузССР», 1963, 4, стр. 246—247.

¹⁵ Таблицы личных местоимений по всем лезгинским языкам с отдельными историко-фонетическими комментариями см.: А. Магомедов, Личные местоимения лезгинских языков, стр. 242—255.

¹⁶ Л. И. Ж и р к о в, указ. соч., стр. 101.

семантической стратификацией, аналогичной той, которая обнаруживается у генетически первичных для них указательных местоимений. Причем эта стратификация существует в двух планах: во-первых, в пределах разных лично-указательных форм и, во-вторых, в пределах деривационных и (или) синтаксических субститутов одного и того же местоимения.

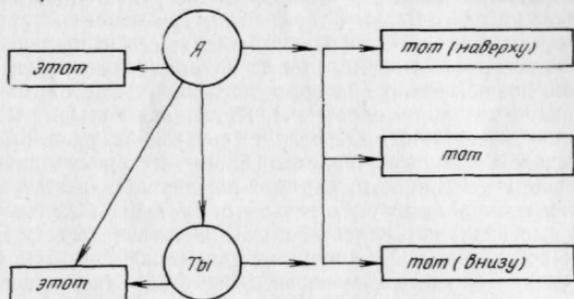
Семантико-функциональный анализ лично-указательных местоимений дает возможность выделить среди них три основные группы слов, характеризующих третье лицо в зависимости от его расположения в пространстве. В историческом языкознании на аналогичные факты обращалось внимание неоднократно при изучении многих языков, обычно архаического строя. Так, например, Л. П. Якубинский писал: «Следует полагать, что в первобытных языках с богатой и развитой системой локально-указательных слов все эти слова постепенно группируются по трем степеням удаленности, так что каждая степень первоначально обслуживается несколькими указательными словами; в дальнейшем одно из этих слов выступает как единственный представитель всей группы, перерождаясь в собственно указательное местоимение»¹⁷. В этом замечании, в принципе не вызывающем возражения, остается, однако, неясным, как понимать сами «степени удаленности» (степень удаленности от кого? От первого лица? От второго лица? Или от обоих участников речевого акта?).

Материал восточнолезгинских языков показывает, что применительно к ним под степенью удаленности следует понимать не разные расстояния до объектов, обозначаемые формами 3-го лица и отсчитываемые по одной линии, от одной точки. Здесь нет градационного указания типа «ближайший предмет — близкий предмет — дальний предмет». Пространственные характеристики, содержащиеся в разных группах лично-указательных местоимений, ориентированы не на первое или второе лицо, а на обоих членов акта общения. Поэтому значения, реализуемые теми или иными из названных местоимений, сводятся к обозначению степеней удаленности лица-предмета, стоящего вне диалога, от первого лица, второго лица, того и другого одновременно. Соответственно лично-указательные слова делятся на три группы: 1) слова, указывающие на предмет, близкий к первому лицу: аг. *me* (*mi*), лезг. *im*, таб. *mi* «этот»; 2) слова, указывающие на предмет, близкий ко второму лицу и удаленный от первого: аг. *le*, лезг. *am* «этот»; 3) слова, указывающие на предмет, в равной мере удаленный и от первого и от второго лиц: аг. *te*, *ge*, лезг. *aʔam*, таб. *dumi* «тот». Слова каждой из этих групп отличаются друг от друга, таким образом, обозначением степени удаленности не вообще, но относительно каждого из участников акта речи. Если же значения их перестают ориентироваться на конкретного субъекта и адресата речи, то они воспринимаются как обозначения равной удаленности как от субъекта речи, так и от адресата ее. Условно их можно назвать лично-указательными местоимениями нейтральной семантики, в отличие от слов первых двух групп, семантически связанных с 1 или 2-м лицом. Состав их не исчерпывается словами, приведенными выше. Сюда относятся также формы, указывающие на лицо-предмет, расположенный выше или ниже по отношению к участникам акта речи, ср.: аг. *le*, лезг. *winim*, таб. *ʔumi* «тот (вверху)», аг. *ge*, лезг. *aʔam*, таб. *ʒumi* «тот (внизу)».

Семантическое своеобразие разных лично-указательных местоимений обуславливает и особенности их употребления в речи. Слова *me*, *im* и подобные в речевой цепи противопоставлены формам *le*, *am* и под. так же,

¹⁷ Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 198.

как я противопоставлено ты. Следовательно, насыщенность текста компонентами каждой из этих групп форм предопределяется тем обстоятельством, какому из двух личных местоимений принадлежит доминирующая роль в данном контексте. Соотношение между личными и лично-указательными местоимениями схематически выглядит следующим образом:



Лично-указательные местоимения каждой из трех отмеченных семантических групп в свою очередь также могут осмысляться как более или менее маркированные в зависимости от сочетания с префиксом *ha*¹⁸ в деривационном ряду или указательно-выделительной частицей *ha*, *haw* в синтаксическом ряду, ср.: аг. *te* «этот (около меня)» + *ha* = *hete* «этот именно (около меня)»; лезг. *at* «этот (около тебя)»¹⁹ + *ha* = *hat* «этот именно (около тебя)»; таб. *ti* «этот (около меня)» + *ha* = *hati* «этот именно (около меня)». Функционально аналогичны и синтаксические образования типа аг. *haw hete*, лезг. *ha it* «вот этот именно (около меня)» и т. д. Однако для еще большего уточнения указания на лицо-предмет или же признак используются и деривационные, и синтаксические форманты одновременно. Поскольку эти форманты, несмотря на различия в их актуальном функционировании, одного и того же происхождения, то здесь мы имеем дело с одной из грамматических редупликаций, имеющих широкое распространение в восточнолезгинских языках, — с редупликацией дейктической.

В результате внутренней семантической расчлененности лично-указательных местоимений дейктические функции, выполняемые ими, дифференцируются по глубине дейксиса, по степени конкретности указания: формы, более сложные в плане выражения, естественно, оказываются более конкретными в плане содержания, ср. аг. *te* — *hete* — *haw hete*. Говоря другими словами, перед нами ряд дейктических слов, объединенных между собой семантическим инвариантом, но противопоставленных друг другу по их семному составу.

При рассмотрении форм мн. числа личных местоимений неизменно возникает вопрос о том, в самом ли деле они представляют идею множественности, соотносенную со значениями соответствующих личных местоимений *я*, *ты*, *он*, и каково их реально-личное содержание. На первый из этих вопросов обычно дается ответ отрицательный, исходя из того, что *мы* не равно многим *я* точно так же, как *вы* не есть множество *ты*. Такое решение проблемы не вызывает возражений с чисто логической точки зрения. Однако грамматические формы и их функции строятся, как известно,

¹⁸ См. также: Л. И. Ж и р к о в, Табасаранский язык, М. — Л., 1948, стр. 101.

¹⁹ В современном лезгинском языке местоимение *at* указывает как на лицо-предмет, близко стоящий к адресату речи, так и на лицо-предмет, в равной мере удаленный от каждого из участников акта речи, хотя это последнее значение отмечается редко.

не по законам формальной логики, а по особым законам логики языка, зависящей от множества факторов. С точки зрения этой логики языка, языкового мышления, *мы, вы, они* не что иное, как формы мн. числа, соотносительные с *я, ты, он*, независимо от того, что они репрезентируют из области логических отношений. Ведь считаются же слова *pluralia tantum* формами мн. числа, хотя в представляемой ими референции нет и намека на реальную множественность (ср. русск. *ножницы, сливки* и под.).

Остановимся кратко на категории инклюзива-экслюзива в упомянутых языках, рассмотрение которой проливает, как нам представляется, свет и на только что затронутую проблему, поскольку оппозиция инклюзив: экслюзив возникает на основе разных комбинаций собственно личных форм *я, ты, он*. Как известно, инклюзивная форма мн. числа семантически объединяет в себе «я + вы», в то время как экслюзив охватывает «я + они»²⁰. Категория инклюзива-экслюзива хорошо представлена в агульском и табасаранском языках²¹ и чужда лезгинскому. Поэтому агульским *šin* «мы» (инкл.), *šin* мы (экскл.), табасаранским *iši* «мы» (инкл.), *iši* «мы» (экскл.) в лезгинском соответствует обобщенное *šin* «мы», генетически тоже восходящее к форме экслюзива²². Этот факт примечателен в том смысле, что, относясь к истории родственных языков одного и того же ареала, обслуживающих коллективы с одним и тем же типом культуры, одного и того же уровня исторического развития, предостерегает от свойственного отдельным исследователям стремления к глобальным обобщениям, лишённым достаточной фактической основы. В этой связи нельзя не вспомнить, например, слов Т. Милевского, писавшего, что «только языки народов с примитивной, очень отсталой культурой отличают *inclusivus* от *exclusivus*, тогда как во всех иных функционирует общая форма 1-го лица множественного числа»²³. Делая такое ответственное заявление, Т. Милевский исходит из тезиса, согласно которому в языке «развитие идет в направлении образования более широкого, более общего способа указания»²⁴. Вряд ли такая простая схема, пусть даже абсолютно верная, может объяснить все многообразие процессов, происходящих в языках различных типологических систем²⁵, не говоря о том, что положение, постулирующее отношение прямой пропорциональности между историческими процессами в языке, с одной стороны, уровнем культуры народа-носителя этого языка — с другой, само по себе нуждается в доказательстве.

Если иметь в виду речевую практику интересующего нас ареала, то обращает на себя внимание то обстоятельство, что на нем отчетливо выделяются пограничные, переходные от одного языка к другому зоны, где одноязычие уступает место традиционному, глубокому двуязычию, в условиях которого инклюзивно-экслюзивные формы и общая форма 1-го лица мн. числа характеризуют речь одного и того же индивида. Неужели же всерьез можно утверждать, что степень примитивизма или развитости культуры такого индивида зависит от того, говорит ли он в ту или иную минуту на языке с инклюзивом-экслюзивом или же на языке с общей формой 1-го лица мн. числа, если он одинаково владеет каждым из них?

²⁰ Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 268; В. Скаличка, О грамматике венгерского языка, «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 139—140.

²¹ О других лезгинских языках см.: А. Магометов, Личные местоимения лезгинских языков, стр. 246.

²² А. А. Магометов, Табасаранский язык, стр. 173.

²³ Т. Милевский, Предпосылки типологического языковедения, «Исследования по структурной типологии», М., 1963, стр. 23.

²⁴ Там же.

²⁵ См. также: Г. А. Климов, О некоторых задачах историко-типологических исследований, ВЯ, 1976, 5, стр. 5.

ЕРЕМИНА Л. И.

ПОЭТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОГО СЛОВА

(на материале произведений Л. Толстого)

Стремление создать художественно и психологически достоверный образ переживания, способный вызвать сочувствие читателя, определило направление поисков речевой изобразительности. Постепенное углубление психологического анализа вызвало к жизни новые языковые средства воплощения образа переживания. Художественно значима стала видимая, заметная читателю «полуоткрытость», в подтексте оставался еще целый содержательный слой, «просвечивающий» сквозь изображение. Реалистическая стилистика второй половины XIX в. стала относительно новой ступенью в типологическом изменении языка художественной литературы, знаменем которой становится повышенный интерес к внутреннему миру личности, и соответственно — стремление запечатлеть его в формах языка, создать психологически достоверный образ скрытых, интимных сторон психики. Художественный психологизм заострил художническое видение, усилил внимание к внешне немотивированным состояниям. Он не исключал, а предполагал известную недосказанность речевого воплощения внутренне парадоксальных, видимо, дисгармоничных переживаний.

Психологическая мотивированность слова получает воплощение прежде всего в творческой практике Льва Толстого. Психологически мотивированное слово становится стилиобразующим фактором, определяющим эмоциональное и экспрессивное звучание достаточно широкого текста. Психологический анализ организует все повествование. Все языковые уровни и все речевые элементы в контексте получают образно-эстетическую обусловленность.

С особенной отчетливостью психологическая мотивированность слова проявляется в словах качественной оценки. Личность, ее тревоги, заботы и пристрастия становятся своеобразной точкой отсчета. Так, герой повести «Смерть Ивана Ильича», безнадежный больной, измученный постоянными переходами от отчаяния к надежде на исцеление, пробует новое средство, новое лекарство: «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. „Нет, не поможет. Все это вздор, обман“, — решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус». Соотношение *поможет?/не поможет!* определило качественную характеристику: «*безнадежный вкус*» (лекарства). Субъективная позиция героя может не только определять восприятие, но и перемещать «эмоционально-экспрессивную доминанту» образа. Так, прелестная фигура и голова Анны Карениной на московском бале уже по-новому освещается рассказчиком и воспринимается читателем, когда весь ее облик дается с позиций Кити: Анна «была прелестна [...] прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести [...] „Да, что-то

чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити» («Анна Каренина», ч. I, гл. XXIII).

Психологическая мотивированность качественной оценки становится непременным условием психологической достоверности образа. Качественная оценка действий даже эпизодического персонажа может обнаруживать и позицию героя, и оценку всей сцены рассказчиком, окрашивающим происходящее своим личностным отношением.

К смертельно больному Ивану Ильичу, понимающему, что он умирает, приезжает «...доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый [...] Доктор бодро, утешающе потирает руки.— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреться,— говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреться, а когда обогреться, то уж все исправит» («Смерть Ивана Ильича»). Снижение человеческой трагедии до уровня фарса происходит именно благодаря приторной лжи у постели умирающего, и вот эта-то ложь, которую подсознательно понимают все, особенно остро сама больной, проявляется в этом *утешающе*, которое поясняется рассказчиком в определительной конструкции, передающей выражение докторского лица: «...как будто только надо немножко подождать, пока он обогреться, а когда обогреться, то уже все исправит». Личностное отношение к доктору выявляется не только в саркастической характеристике докторской физиономии, но и в описании общего впечатления (наглое физиологическое здоровье и самоуверенности), производимого на больного всей фигурой доктора. Несомненно, что в авторское слово проникает психологическая позиция героя, именно с точки зрения смертельно больного, истаявшего, измученного болезнью и страхом смерти Ивана Ильича подчеркнуто здоровый и жизнерадостный вид врача осмысливается как оскорбление: «...доктор, *свежий, бодрый, жирный, веселый...*».

Качественная характеристика может быть устойчивой, может составлять «эмоциональную доминанту» образа, что особенно характерно для второстепенных и эпизодических фигур. «Буфетный мужик» Герасим — единственный человек, не принимающий участия в кощунственной лжи у постели умирающего Ивана Ильича. Поэтому Герасим и не вызывает в безнадежно больном Иване Ильиче ненависти и злобы. Вот какие определяющие слова составляют «эмоциональную доминанту» этого персонажа, поданного в авторском повествовании с точки зрения Ивана Ильича: «Герасим был чистый, свежий [...] молодой мужик. Всегда веселый, ясный. [...] Герасим ... повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо [...] И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы [...] И он ловкими, сильными руками сделал свои привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся. [...] Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича» («Смерть Ивана Ильича»).

Позиция субъекта, его личностное отношение определяет прежде всего качественную характеристику предмета, понятия, ситуации. Многоаспектность этой характеристики получает выражение в длинной цепочке определительных слов, например, все в той же повести «Смерть Ивана Ильича» вдруг поверивший в исцеление, в силу нового лекарства Иван Ильич «... лег на спяну, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. [...] Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную». «Персональная» закреплённость качественной характеристики, развернутой или предельно краткой, особенно важна для Толстого потому, что психологическая обоснованность качественной характеристики — всегда

свидетельство чьей-то определенной позиции, определенной точки зрения. Так, лица солдат наполеоновской армии поражают пленного Пьера Безухова каким-то «общим» выражением: «...на всех лицах было одно и то же молодецки-решительное и жестко-холодное выражение...» («Война и мир», т. IV, ч. II, гл. XIV). Сложно-составные формы (*молодецки-решительное* и *жестко-холодное* выражение) служат средством наиболее точной, психологически мотивированной характеристики, обусловленной общественным положением лица (*пленный Пьер Безухов*), с позиций которого дается все описание. Качественная характеристика может включать и совершенно неожиданный образ: «Вдруг он (Пьер Безухов. — Л. Е.) захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно одинокий смех» («Война и мир», т. IV, ч. II, гл. XIV). «Толстый» о смехе может быть понятно только в контексте, в синонимическом ряду (...*толстый, добродушный...*), да еще при ассоциативном антониме «тонкий» (когда речь идет о высоком звуке).

Искусство Толстого в «срывании всех и всяческих масок» с особенной остротой и наглядностью проявляется именно на уровне психологической мотивированности слова. Обнаруживается истинная сущность обрядов официальной православной церкви, открывается процессуальная сторона всевозможных частных и государственных учреждений и заведений, вскрываются интимные стороны личности, выявляются скрытые мотивы поведения и т. п. В повести «Смерть Ивана Ильича» так представлен обряд похорон. Обратим внимание преимущественно на качественную, *характеризующую* сторону слов, называющих и определяющих различные предметы, связанные с этим печальным обрядом: «Внизу, в передней, у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба *с кисточками и начищенным порошком галуном*». Уже в самом начале описания нельзя не заметить разительного несоответствия деталей обстановки с существом события: величие смерти и мишурный блеск галуна, «начищенного порошком», на гробе, крышка «с кисточками». Все детали описания экспрессивно значимы. В том числе и ласкательно-уменьшительный суффикс в слове «кисточки», вносящий элемент профанации в строгую и торжественную тему смерти, парадоксально снижающий описание; и конкретизирующий определительный оборот «начищенный порошком» (о галуне, «украшающем» крышку гроба). Казалось бы, крошечная снижающая деталь — «начищенный порошком», — но она сразу вскрывает будничную подоплеку этого «галунного сияния».

Внимание Толстого к психологически мотивированной детали, к подробностям в описаниях общеизвестно, показательны речевые средства, обнаруживающие истоки мастерства. Глубинная структура, подтекст вскрывается, казалось бы, мелкой, но такой обескураживающей в своей «нагой простоте» деталью. Официальная, казенная парадность, верным служителем которой всю жизнь был покойный Иван Ильич, как клеймо, легла на его гроб в этом *галуне, начищенном порошком*. Кстати, ведь галун — «нашивка из золотой или серебряной мишурной тесьмы на форменной одежде» — украшал обычно лакейскую или швейцарскую ливрею.

Нарочитое снижение помпезности, разоблачение внешней торжественности «обрядовой» стороны печальной церемонии продолжается и дальше. «Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаям всякое противоречие». В этой фразе эмоционально и экспрессивно значимы все подробности, сообщаемые рассказчиком: и внешний вид дьячка («в сюртуке, бодрый, решительный»), интонация, сам прокурорский тон («исключаям всякое противоречие»), и, пожалуй, главное — то, что читалось (тексты «священного писания»),

оказывается совершенно несущественным («читал *что-то*»). Все атрибуты панихиды по умершему Ивану Ильичу оказываются в вопиющем, парадоксальном противоречии с сущностью этой печальной, скорбной церемонии. Та же парадоксальность распространяется и на поведение окружающих. Проанализируем речевые формы, в которых дается описание церковной службы по умершему.

Все родственники, друзья и сослуживцы покойного ведут себя так, как будто они участвуют в каком-то спектакле, где каждый «работает» только «на зрителя», понимая, что все здесь: и чувства, и поступки, и слова — «не настоящие». Как будто все присутствующие заранее договорились устроить «представление», где все рассчитано на позу, на внешний вид, предполагающий только видимость скорби, ее внешний рисунок. Вот сослуживец покойного Шварц «с серьезно сложенными крешкими губами и игривым взглядом», Петр Иванович, старинный приятель умершего, вошел «в комнату мертведа» (именно так называется в повести комната, где стоит гроб) «с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. [...] войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться». Даже вдова, как и все окружающие, словно участвует в игре, где самые условия предполагают только позу, а не чувства: «...она вынула чистый батистовый платок и стала плакать [...] Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно». «Внешние приемы» переживаний заменяют истинное, невольное выражение горя и скорби. Вдова «... стала плакать [...] опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно» — здесь условно-предположительные частицы *как бы* в сочетании с обдуманно «направленными» глагольными формами: *стала* (плакать), *собираясь* (плакать), *стала* (говорить спокойно) — обнаруживают истину.

В повести «Смерть Ивана Ильича» психологически мотивированное слово служит средством выражения субъективного, личного отношения к объективному миру. Для смертельно больного, умирающего Ивана Ильича стерта грань между светом и тьмой. Он живет в ощущении неизбежности вечной темноты, смерти. Граница между ночью и днем уничтожена постоянными нечеловеческими страданиями. Время для него понятие не просто абстрактное, а излишнее. Все в мире для него окрашено только в темные тона сознанием неотвратимой гибели. Эта психологическая настроенность героя проникает и в авторскую речь как отражение индивидуального сознания: «Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать». Субъективно окрашенное представление времени: «*Было утро. Потому только было утро, что...*» — сразу же подчиняет себе, раскрывает тот мир, где уже нет объективной категории времени, а сохранились лишь случайные, внешние приметы утра, действительные уже не только для Ивана Ильича, потому что все повествование идет именно с его психологических позиций.

Среди психологически мотивированных речевых элементов особое место в поэтике Толстого занимают слова-сигналы ситуации, которые могут передавать эмоционально-экспрессивную тональность повествования, служить, например, средством создания художественно обусловленной неопределенности, неясности, непредсказуемости, неожиданности действий, могут участвовать в ироническом осмыслении текста. Слова-сигналы ситуации выполняют обычно роль стилиобразующего фактора, являясь важнейшим характерологическим элементом повествования,

организирующим центром образности, определяющим экспрессивную направленность текста. Именно на них ориентируется все повествование. В том случае, когда речь идет о трудно определимых или неясных для самого персонажа эмоционально-психических состояниях (в которых экспрессивно значима именно эта «полуткрытость», недосказанность), в тексте появляются слова-сигналы ситуации: *что-то, почему-то, как-то* и им подобные.

Обратимся к текстам. Неожиданно поздний приезд Вронского к Облонским (в самом начале романа «Анна Каренина») всеми окружающими воспринимается как что-то странное и непредвиденное: «В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым событием, но это простое событие почему-то всем показалось странным [...] Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. [...] Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел; но всем это показалось странно. Более всех странно и нехорошо это показалось Анне» («Анна Каренина», ч. I, гл. XXI).

Атмосфера не предсказуемости как средство нагнетания напряженности, драматического ожидания создается благодаря слова-сигналам. В общем разговоре Анна не рассказала о некоторых подробностях первой встречи с Вронским на Московском перроне: «Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее и такое, чего не должно было быть» («Анна Каренина», ч. I, гл. XX). Речь идет о двухстах рублях, которые Вронский передал для семьи раздавленного поездом человека. Этот внесценческий персонаж в образе «мужичка, работающего над железом» или «безобразного мужика» сопровождает Анну до ее последнего часа, ситуативно обозначая переломные и наиболее драматические моменты в развитии сюжетного действия. И всегда его появление отмечено словами-сигналами, и во сне и наяву: «Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене [...] потом что-то страшно закричало и застучало, как будто раздирали кого-то...» («Анна Каренина», ч. I, гл. XXIX). Нагнетание видимой, сюжетно значимой неопределенности как раз и создает ту самую драматическую напряженность, которая во многом выявляет «заразительность» искусства.

Слова-сигналы ситуации являются одним из способов выражения в формах речи психологических состояний, помогают создать психологически достоверный образ настроения, закрепленный в формах речи. Слова-сигналы ситуации входят в состав речевых средств выразительности для изображения «текучих», динамически изменяющихся, колеблющихся состояний. Настроения, для которых характерна ассоциативность, отсутствие логического объяснения, рациональной основы, передаются с сохранением «неокончателности» выражения. Вот, например, как обрисованы отношения между Анной и Карениным, установившиеся после ее болезни: «Когда прошло то размягчение, произведенное в ней близостью смерти, Алексей Александрович стал замечать, что Анна боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза. Она как будто что-то хотела и не решилась сказать ему и, тоже как бы предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего-то ожидала от него» («Анна Каренина», ч. IV, гл. XIX).

Несомненно, слова-сигналы ситуации поддерживаются здесь всем контекстом, ориентированным на создание определенного впечатления. Драматическая и эмоциональная напряженность создается усилиями всех уровней языка. Прежде всего наше внимание в приведенном контексте

останавливает необычный порядок следования частей сложной конструкции; вынесение в самое начало придаточной части со значением в р е м е н и художественно обусловлено: это временное условие относится ко всему последующему тексту. Постепенное нарастание характерно для глагольных сказуемых: *боялась его/тяготилась им/не могла смотреть ему прямо в глаза*. Слова-сигналы ситуации (*как будто, что-то, как бы, чего-то*) определяют эмоционально-экспрессивную направленность текста, сообщают оттенок неуловимости, видимую, значащую неокончателность определений и характеристик действий и намерений: «... *как будто что-то хотела и не решалась сказать*», «*как бы предчувствуя [...] чего-то ожидала...*».

Слова-сигналы ситуации широко распространены и в авторском повествовании, и во внутренней речи персонажей, и в авторских ремарках, не только комментирующих открытый диалог, но и сообщающих внутренний план речи, ее подтекст, определяющих глубинную структуру чужой речи, обнажающих даже то, что присутствует только в сознании и говорящего, но не отражается в диалоге.

Слова-сигналы ситуации могут быть и средством выражения иронии, определять эмоциональную тональность речи, позицию автора и позицию персонажа. Николенка Иртенев всегда был склонен к мечтательности и, зная эту свою слабость, так комментирует ее: «... я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг делается министром по какому-нибудь необычайному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег [...] Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатым человеком в мире...» («Юность», гл. III). Парадоксальность выявляется не только в самом соединении заведомо несовместимых понятий (*прелестная Мария / беззубый старик; слабоумный сын / министр*), не только в усиленной гиперболичности (*пропасть миллионов денег, сделаюсь самым богатым и самым знатым человеком в мире*), но и в повышенном уровне непредсказуемости, «необыкновенной случайности», выраженной словесными повторами: «...о какой-нибудь ... вдруг делается... по какому-нибудь необыкновенному случаю... как вдруг ... вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь...».

Слова-сигналы могут придавать перечисляемым действиям, движениям, характеристикам смысловой оттенок неопределенности или «невозможности определить» — «неопределяемости»: «Нельзя было себя обманывать: *что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. [...]* вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, *как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки*» («Смерть Ивана Ильича»).

Стремление речевыми средствами передать психологически достоверно состояние героя даже в том случае, когда он и сам не отдает полностью себе отчета в том, что же все-таки с ним происходит, в значительной степени обусловило использование неопределенных местоимений и неопределенных наречий в роли слов-сигналов ситуации. Видима читателю приближенность характеристик становится художественно необходимой: «*Что-то странное* произошло со всеми присутствующими, и *что-то странное* чувствовалось в мертвом молчании, следовавшем за игрой Альберта. *Как будто каждый хотел и не умел* высказать того, что все это значило» («Альберт»). Нагнетание «неопределяемости», невозможности называния

того, что происходит, сближает психологически мотивированное слово с приемом «назвать не называя», назначение которого в создании «...атмосферы таинственной неопределенности»¹.

Ориентированность на что-то чужое восприятие, чужую оценку может передаваться теми же словами-сигналами ситуации: неопределенными частицами, сопоставительными союзами, наречиями с общим значением неожиданности, странности и другими средствами. Условность оценки действительного, реального чувства, движения как знак чужой позиции, наблюдателя «со стороны», и ориентированность на него, может быть выражена посредством присоединения *будто бы*: «...я беспрестанно чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, *будто бы* мне очень весело, *будто бы* я люблю очень много пить и *будто бы* я и не думал быть пьяным...» («Юность», гл. XXXIX).

Среди психологически мотивированных слов особое место занимают слова с модальным значением. В контексте произведений Толстого они выполняют многообразные функции. Остановимся на одной из них: модальное слово — центр вставной или вводной конструкции. Причем точка зрения автора, поданная как бы со стороны, как «шосторонняя» для персонажа, выражена вставной конструкцией, основной же текст передает позицию персонажа: «В церкви никого, кроме мужиков, дворников и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что она видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею» («Анна Каренина», ч. III, гл. VIII). Здесь позиция автора и позиция персонажа не только не совпадают, но представляют два взгляда, две противоположенные точки зрения. Таким образом, фраза получает два психологических аспекта, два эмоциональных звучания, два «прочтения».

В поэтике Толстого слова-сигналы ситуации регулярно появляются при смене интонации, например, интонации эпического повествования на эмфатически-напряженную: «Приходили друзья составить партию, сядились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей, — и подержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему» («Смерть Ивана Ильича»). Здесь *вдруг* служит знаком смены интонации и смещения самого аспекта изображения: в авторское слово проникает психологическая позиция героя.

Повествование с учетом психологических позиций героя (повествование «в тоне героя») может сменяться рассказом «от лица героя», вклинивающимся в авторский текст и сохраняющим не только общую «печать личности» героя, но и формы его речи. В приведенном отрывке из повести «Смерть Ивана Ильича» сохраняется не только индивидуальное сознание, оценка с позиций персонажа, его отношение к происходящему, но и грамматическая организация текста, характерная для живой речи. Вернемся к уже цитированному тексту: «Приходили друзья составить партию, сядились. Сдавали, разминались новые карты...». Следует обратить внимание прежде всего на необычное расчленение текста: ведь «приходили... составить партию, сядились / Сдавали...» — это однородные сказуемые при одном и том же подлежащем-субъекте *друзья*. Но текст эмфатически расчленен: однородные члены *сиделись / сдавали* разделены глубокой паузой, отнесены к «соседним» конструкциям не случайно. Эта не мотивированная законами грамматики сегментация текста создает определенную интонацию живого

¹ В. В. Виноградова, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 248.

произношения, как будто не хватило сил у смертельно больного, измученного болью и страхом смерти Ивана Ильича для «выговаривания» целого куска текста. Отсюда и незапланированная пауза, казалось бы неоправданно разделяющая фразу. Присутствие речевых форм персонажа в авторском повествовании может быть выявлено на уровне грамматической формы слова. Показательно, что эти куски живой речевой ткани как свидетельство присутствия героя в авторском слове даются невыделенно. Вот один из таких случаев в повести «Смерть Ивана Ильича»: «Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставить себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние». Кусок «... вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема», присоединенный посредством подчинительного союза *что* (организация текста, свойственная косвенной речи), передает отрывок собственно прямой речи Ивана Ильича, с сохранением всех особенностей разговорной речевой ткани: использование частиц (*вот-вот* — «в самом скором времени»), формы первого лица (*исправлю плохое, поборю, дождусь успеха*), индивидуальное словопользование (*дождусь успеха, большого шлема* — субъективно стилистическое использование картенной фразеологии).

Психологическая позиция персонажа и его собственная речь может оказывать влияние и даже подчинять себе авторское слово. Для героя повести «Смерть Ивана Ильича» характерны длинные ряды конструкций, составленные посредством присоединения. Экспрессивная роль всевозможных служебных частей речи в языке произведений Толстого исключительно велика. Присоединение как средство нагнетания драматизма, напряженности — один из наиболее употребительных приемов в поэтике Толстого: «И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его». Весь абзац состоит из ряда присоединительных конструкций, образующих градацию по восходящей к кульминацией в конце этого ряда: «И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его». Присоединительность, переданная повторяющимися словами «И... да еще ... да еще... а ... а... и...», создает не только эмоционально-экспрессивный, но и интонационный рисунок речи автора с психологических позиций персонажа. Лексические повторы, синтаксический параллелизм конструкций, всевозможные усиления-градации: «надо было ложиться... надо было вставать... жить ... надо было одному, без одного человека» — служат средством создания впечатления живой речи. Ряды однородных членов, объединяющие семантически далекие понятия и предметы: «с сознанием этим... с болью физической... с ужасом», «называние» глагольных форм, называющих привычные, будничные, но утомительные для тяжело больного человека действия: «вставать, одеваться, ехать, говорить, писать», — и вместе с тем подчеркнутая обязательность их совершения (*надо было*) — все это создает психологически мотивированный рисунок речи, как отражение личности персонажа. Эмоциональная выразительность «назывательных» конструкций посредством соединительных, противительных и присоединительных сою-

зов особенно выпукло выступает на фоне лексических повторов-возвращений: «Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть»; «Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу»; «...Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать («Смерть Ивана Ильича»).

В системе психологически мотивированных форм речи важную роль играют междометия как средство выражения и изображения эмфатических, повышено-эмоциональных состояний: «Ах, ах, ах! Аа!... — замычал он (Стива Облонский. — Л. Е.), вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его» («Анна Каренина», ч. I, гл. I). Почти на уровне междометий могут выступать звуки, окказионально передающие чувства или ощущения персонажа. Измученный страхом смерти и непрерывной, нечеловеческой болью кричит Иван Ильич: «У! Уу! У! — кричал он на разные интонации». Следовательно, перед нами как бы разные по «интонационному рисунку» куски крика.

Психологическая мотивированность речи выявляется в письменном закреплении живого, непосредственно произносимого слова. Эмфатически обусловленное расчленение слова на части передает сам акт «говорения», живую интонацию персонажа. Вот предельно краткий диалог между тяжело больным Иваном Ильичем и его женой Прасковьей Федоровной. Иван Ильич без дрожи злобы и отвращения не может говорить с женой: «Он лежал, тяжело и быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее: — Что ты, Жан? — Ниче...го. У...ро...нил». Перед нами эмфатически обусловленное членение слова, разделенного на части глубокими паузами, т. е. средствами графики выражается сам акт произношения, передается живое слово.

Следует обратить внимание еще на один тип психологически мотивированного слова: всякого рода речевые ошибки, «оговорки». Рассматривая текст как высказывание, М. М. Бахтин выделяет два момента: «замысел» и «осуществление этого замысла». Обращая внимание на «динамические взаимоотношения этих моментов», М. Бахтин пишет: «Расхождение их (замысла и его осуществления. — Л. Е.) может говорить об очень многом. „Пелестрадал“ (Л. Толстой). Оговорки и описки по Фрейд (выражение бессознательного). Изменение замысла в процессе его осуществления. Невыполнение фонетического намерения»². Действительно, в «пеле... пеле... пелестрадал!» Каренина сказывается его тяжелое, трагическое сознание «рушившейся жизни». Под влиянием нравственного потрясения измученный «Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова» («Анна Каренина», ч. IV, гл. IV). Таким образом, перед нами типичный случай психологически мотивированной речевой ошибки — «невыполнения фонетического намерения».

Но в языке произведений Толстого есть и другой интересный пример «оговорки», в которой, исходя из всего контекста, нельзя не увидеть проявления, выражения «бессознательного». В самом деле, припомнив психологическую ситуацию, заключающую повесть «Смерть Ивана Ильича». Умиравший Иван Ильич, уже на «последнем рубеже», между жизнью и смертью, вместо «простить», произносит *пропусти*. Но припомним, что чувствовал Иван Ильич в эти последние свои дни. Вот как обрисовывается

² М. Бахтин, Проблема текста, «Вопросы литературы», 1976, 10, стр. 124—125.

состояние Ивана Ильича в авторском повествовании: «Ему казалось, что его с большою суетою куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть [...] И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется и помогает. [...] Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая неопреодолимая сила. [...] мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее». Вот это подсознательное состояние отражено присутствием в открытой, звучащей речи и мотивирует психологически «речевую ошибку», «оговорку» Ивана Ильича: — «Уведи... жалко... и тебя... — Он хотел сказать еще „прости“, но сказал „пропусти“, и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо» («Смерть Ивана Ильича»). *Пропусти* не только созвучно *прости*, но и в большей мере на месте в этой психологической ситуации. Таким образом, психологически мотивированное слово отражает подтекст о в у ю структуру повествования.

Именно широкий контекст наполняет содержанием психологически мотивированное слово, определяет его ассоциативные связи и «смысловую перспективу». Попытаемся на анализе достаточно широкого связного текста (отрывка из романа «Анна Каренина») проследить психологическую мотивированность слова. Возьмем сцену встречи Константина Левина с умирающим от чахотки братом Николаем. Прежде всего необходимо войти в «психологическую атмосферу» повествования, поэтому нужен широкий контекст. Авторский рассказ об этом начинается так: «Левин пошел к брату.

Он никак не ожидал того, что он увидел и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманывания [...] Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными [...] Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости [...] И он готовился на это; но нашел совсем другое.

В маленьком грязном номере, заплыванном по раскрашенным панно стен, за тонкою перегородкой которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб.

„Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай“, — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидел лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат» («Анна Каренина», ч. V, гл. XVII).

Прежде всего следует обратить внимание на композицию текста — общеотрицательный зачин: «Он никак не ожидал того, что увидел и почувствовал у брата» — вызывает трехкратно повторенное: «Он ожидал найти... Он ожидал найти... Он ожидал, что...». Параллелизм синтаксический поддерживается системой лексических повторов и «синтаксическим анафоризмом» конструкций, развертывающихся в широкую картину, изображающую то, что «он ожидал найти»: «то же состояние... то же положение», готов был испытать «то же чувство жалости... и ужаса...». Присоединительная конструкция, содержащая противопоставленную часть: «И он готовился на это; но нашел совсем другое» — заканчивает первый абзац. Весь следующий абзац — раскрытие того «другого», что нашел Левин. Харак-

терно, что первый абзац как бы замкнут в кольцо: «Он никак не ожидал того...» / «... нашел совсем другое». Раскрытие *другого* психологически мотивирует, подготавливает остранинное описание того, что же «нашел» Константин Левин вместо того, что «он ожидал найти».

В начало следующего абзаца вынесено подробное описание убогой внутренности гостиничного «нумера», дано обстоятельное, детальное изображение той обстановки, где происходит действие. Показателен подбор качественных характеристик при «опорных» словах *номер* и *воздух*: «в маленьком грязном, заплеванном по раскрашенным панно стен» *номере*, «в пропитанном удущливым запахом нечистот воздухе» «... лежало покрытое одеялом тело». Психологическое воздействие описания потому так и велико, что, кроме тех ужасающих неожиданных подробностей обстановки, читатель, как бы вошедший вместе с Левиным, видит не брата Николая, а *тело*. Детальное изображение *лежащего тела* дано на уровне, совмещающем два значения, два смысловых аспекта образа: *тело* — это не только «человеческий организм в его внешних физических формах», но и «безддушная плоть, труп». [Именно это употребление слова *тело* мы находим у Пушкина: «Родственники первые пошли прощаться с телом» («Пиковая дама»); и «... кругом /Как будто в поле боевом, /Тела валяются» («Медный всадник»)]. Далее идет изобразительное описание этого *тела*: «Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке». *Тело* дано на изобразительном уровне *предмета*, который прослеживается, пожалуй, не столько в сопоставительном обороте *как грабли*, сколько в уподоблении-превращении: «кисть этой руки [...] была прикреплена к [...] цевке». Излюбленный изобразительный прием «остранения-узнавания» усилен расширенным сопоставительным рядом, где сравнительный оборот *как грабли* показывает не только величину кисти (поясняемое словосочетание *огромная кисть*), но и ужасающую худобу. Весь контекст развивает сопоставление *живой руки* с предметом, орудием, частью какого-то механического приспособления: кисть «непонятно была прикреплена... к цевке». Цевка — «округлая длинная палка, деталь машины, род трубки, катушки, небольшого цилиндра»; таково ближайшее значение этого слова. Некоторые детали качественной характеристики («кисть была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке») усиливают сходство с «механическим приспособлением», кисть была «непонятно прикреплена к... цевке». Намеренно остранинное описание *тела*, вместо ожидаемого *живого* брата, создает напряженную атмосферу драматического развития на глазах читателя. Все глагольные действия даны как прошедшее длительное, протяженное, не ограниченное результатом: *лежало, была, была [прикреплена, лежала, видны были]*.

«Собственно-узнавание» изображено в третьем абзаце, который, как и первый, построен по принципу кольца. Первая из окольцовывающих конструкций — внутренняя речь Константина Левина: «Не может быть, чтоб *это страшное тело был брат Николай*», завершающая часть кольца — ее модифицированный, видоизмененный на новом семантико-грамматическом уровне вариант: «... *это мертвое тело было живой брат*». Рассмотрим это соответствие почленно: «... это страшное тело был брат Николай...» «... это мертвое тело было живой брат». Здесь налицо смещение смысловой доминанты в сторону неодушевленности, которое проявляется не только в лексических заменах-соответствиях (*страшное тело / мертвое тело*), но и в особенностях согласования — в концовке оно дано на подчеркнуто «предметном», неодушевленном уровне, за основу взято не *брат*, как в зачине, а *тело*: «это страшное тело был брат Николай» / «это

мертвое тело было живой брат». Характерно, что у конструкции, заключающей кольцо, есть синонимический вариант (именительный предикативный / творительный предикативный): «это мертвое тело было живым братом», где значение «неодушевленного предмета» дано как основное, подавляющее, да и в слове *тело* оставлено только одно значение — «труп» — «это мертвое тело» (при начальном «это страшное тело»). Все действия Константина Левина переданы в глагольных формах прошедшего совершенного, ограниченного или временным пределом, или результатом: *подумал, подошел, увидал, стало невозможно, стоило взглянуть ... заметить. .. понять*. Парадоксальность заключительного утверждения («ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат») воплощается в развернутое противопоставление первоначального впечатления *тела живым* его движениям: «...эти живые, *поднявшиеся* на входившего глаза, *легкое движение рта. . .*». Кажущаяся неподвижность *мертвого тела* оказалась полной остаток жизни. *Больной / умирающий / мертвец* — все три типа обозначений фигурируют в тексте как равноправные еще задолго до действительного наступления смерти: «*Умирающий* лежал, *закрыв глаза* [...] *больной* лежал неподвижно [...] он услышал движение *мертвеца* [...] С рукой *мертвеца* в своей руке он сидел полчаса, час, еще час [...] но *больной* опять зашевелился и сказал: — Не уходи. [...] *Умирающий* потянулся, вздохнул и открыл глаза [...] но вдруг слипшиеся усы *мертвеца* шевельнулись [...] женщины озабоченно принялись убирать покойника. Смерть, наконец наступившая, обозначена новым наименованием: *покойник*. Да и сама смерть представлена как наступивший *покой* — остановленное движение...

Психологическая мотивированность слова сможет проявляться, пожалуй, особенно наглядно в индивидуальном осмыслении даже не целого слова, а его части, м о р ф е м ы . Следует, однако, иметь в виду, что в эмоционально-психологическом осмыслении морфемы (так же, впрочем, как и целого слова) принимает участие весь контекст. Вне контекста нельзя говорить о психологической мотивированности слова. Известно, что суффикс *-ик* имеет устойчивое общеязыковое значение ласкательной уменьшительности, воспринимаемое обычно как ближайшее. В контексте повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» мы сталкиваемся с персональной закрепленностью этого суффикса за сыном Ивана Ильича, жалким и порочным гимназистом Васей. Ярко эмоциональная окраска суффикса *-ик* в повести Толстого очень сложна. Она несет оттенок жалости и презрения, насмешки и невольного сочувствия, причем конситуативное значение суффикса, вся гамма чувств, определяется на уровне всего контекста. Показательно, что в с е появления Васи в повести отмечены и эмоционально обозначены этим знаком особого отношения к нему: «...из-под лестницы показалась *фигура гимназистика-сына*; «*За ним вполз незаметно и гимназистик в носовом мундирчике, бедняжка*, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич»; «В это самое время *гимназистик тильнонько прокрался* к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову *гимназистика*. *Гимназистик* схватил ее, прижал к губам и заплакал» («Смерть Ивана Ильича»). Показательно, что весь контекст поддерживает и выявляет ставшее устойчивым значение, эмоциональную окраску суффикса, создающую определенную тональность повествования. Выделяются слова с ласкательно-уменьшительным суффиксом, получающим в данном контексте, т. е. окказионально, значение полупрезрительного сожаления, брезгливого сочувствия: *фигурка гимназистика / вполз незаметно и гимназистик в носовом мундирчике, бедняжка / гимназистик тильнонько прокрался / на...гимназистика / гимназистик. . .*

В. В. Виноградов, определяя специфику лингвистического анализа текста, писал: «Есть глубокая, принципиальная разница в языковедческом и литературоведческом подходе к изучению стилиевой структуры как характера персонажа, так и „образа автора“. Лингвист отправляется от анализа словесной ткани произведения, литературовед — от общественно-психологического понимания характера»³. К сказанному следовало бы прибавить только то, что цель и того и другого анализа одна — стремление вскрыть глубинную структуру произведения, приблизить читателя к пониманию не только замысла, всего тематического и идейного содержания произведения, но и тех речевых средств, посредством которых это достигается, вскрыть истоки той самой «заразительности» искусства, о которой писал Лев Толстой как о непреходящем, необходимом качестве истинно художественного произведения.

³ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 255.

РОГОЖНИКОВА Р. П.

ОБ ЭКВИВАЛЕНТАХ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В сфере фразеологически связанных единиц, как и в сфере лексических единиц, различаются разного рода явления, поскольку процесс фразеологизации сочетания охватывает самые разные единицы, как полнозначные, так и служебные¹. Всех их объединяет связанность, устойчивость и как следствие этого — воспроизводимость в речи как готовых единиц. Характер и источники этой связанности в разных типах фразеологических единиц различны². В последние годы фразеологически связанные сочетания привлекали к себе большое внимание. Появилось немало работ, в которых эти единицы всесторонне исследуются. Этому способствовал выход в свет «Фразеологического словаря русского языка»³.

Уже в работах В. В. Виноградова по фразеологии отмечается особый характер некоторых фразеологически связанных единиц, например, составных служебных слов, вводных слов. В дальнейшем ряд исследователей выводит из числа фразеологических единиц эти категории сочетаний. Высказывается мнение, что в число фразеологизмов следует включать только сочетания двух или более полнозначных слов, таких, как *собаку съел, на ночь глядя, оставляет желать лучшего* и т. п.⁴. Это не лишено оснований, поскольку и характер связанности и сами эти единицы во многом существенно отличаются от составных служебных слов, вводных слов. Фразеологические единицы, или фразеологизмы (типа *собаку съел*), характеризуются утратой лексического значения компонентами сочетания и приобретением образно-переносного значения, которое получает вся фразеологическая единица в целом. Они отличаются внутренней связанностью, которая делает их устойчивыми, хотя внешне они могут изменяться. Меняются формы слов, входящих в состав фразеологизма, порядок их расположения и т. п.; ср.: *лишиться ума — лишился ума, ума лишился, ума совсем лишился*⁵. Все же смысловое сочетание, тот образный стержень, который лежит в основе такого сочетания, позволяет воспринимать его как единое целое, как одну фразеологическую единицу. И хотя эти единицы, так же, как и слова, воспроизводятся в речи в готовом виде, они существенно отличаются от слов. Их иногда называют сочетаниями, эквивалентными слову, но эквивалентны они лишь функционально.

¹ См.: В. В. Виноградов, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, «Труды Комиссии по истории Академии наук СССР», 3 — А. А. Шахматов. 1864—1920, М.—Л., 1947; А. М. Б а к и н, Фразеология и лексикография, сб. «Проблемы фразеологии», М.—Л., 1964.

² См.: Д. Н. Ш м е л е в, Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка), М., 1973, стр. 263—272.

³ «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, М., 1967.

⁴ См.: О. С. А х м а н о в а, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957; Н. М. Ш а н с к и й, Фразеология современного русского языка, М., 1963.

⁵ См.: В. П. Ж у к о в, Фразеологизмы с переменным составом компонентов в русском языке, «Материалы конференции Северного зонального объединения кафедр русского языка пединститутов 1962 г.», Л., 1965 («Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 257); И. А. Ф е д о с о в, Вариантность и функционально-стилистическая синонимия фразеологических единиц, ВЯ, 1974, 6.

В то же время за границами фразеологических единиц остается большое количество сочетаний, связанных, устойчивых, воспроизводимых в речи как одно целое, но не признаваемых фразеологическими единицами. Они характеризуются неизменной формой и свойственным для них составом компонентов. Часто это сочетание знаменательного слова с предлогом (*в течение, в основном*), двух или нескольких неполнозначных слов (*ни причем, как будто*). Их неизменяемая форма приобретает большую независимость, постоянство, даже в том случае, когда один из компонентов сочетания изменяет свою форму, как это свойственно слову, например: *так называемый (так называемого, так называемая и т. п.), друг друга (друг другом, друг у друга и т. п.)*⁶. В то же время порядок следования компонентов сочетания сохраняется, не утрачивается и устойчивость сочетания.

Неизменная форма таких сочетаний очень сближает их со словом. Ведь слово представляет собой словесный знак, в котором выделяется как некое постоянное, неизменное и общее форма словесного знака (будь то последовательность графем или звуков). Форма словесного знака приобретает большую самостоятельность, определенную независимость от его означаемого, а следовательно, и устойчивость. Поэтому звуковая или графическая форма словесного знака выступает в качестве того инвариантно, что сохраняет его тождество⁷. Фразеологически связанные сочетания, имеющие неизменную форму, очень близки слову в этом отношении, независимо от того, что они включают в свой состав различающиеся по форме единицы — словоформы. Нередко такие сочетания и сами становятся источником образования слов (см., например, образование отыменных предлогов: *вместо < в место, вроде < в роде*, наречий: *направо < на право* и т. д.). Они обычно образуются по определенным моделям (ср. *без спросу, без конца, без умолку; в основном, в общем, во многом, ввиду того что, вследствие того что, в силу того что, из-за того что* и т. п.). Это тоже в известной степени сближает их со словом, хотя, безусловно, модели, по которым образуются слова и подобные сочетания, существенно различны. Иногда такие сочетания называют словами, отмечая в качестве дифференциального признака наличие одного основного ударения⁸.

Подобные сочетания обладают признаками и слова, и фразеологизма. Так же, как и слова, они имеют в качестве отличительного признака постоянную последовательность фонологических единиц (особенно характерную для неизменяемых слов), в их состав не вводятся какие-либо другие элементы. Все это делает их эквивалентными слову и в формальном отношении. Другие признаки таких единиц — устойчивость, воспроизводимость как единого целого, единство значения — сближают их со словом и с фразеологизмом. Раздельноформленность, единство значения обнаруживают сходство с фразеологизмом. От фразеологизма они отличаются тем, что знаменательное слово таких сочетаний не обязательно утрачивает полностью лексическое значение. Например, в сочетании *к сожалению*, употребляемом как вводное, слово *сожаление* не утрачивает лексического значения. Происходит некоторый сдвиг в значении, связанный с использованием сочетания в определенной функции. В то же время налицо устойчивая форма сочетания.

⁶ Н. А. Янко-Триницкая сочетание *друг друга* считает и называет словом, предлагая ввести дефисное написание (см.: Н. А. Я н к о - Т р и н и ц к а я, О местоименной природе «друг друга», «Р. яз. в шк.», 1975, 1).

⁷ А. А. У ф и м ц е в а, Теоретические проблемы слова (категории общего и отдельного), сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 313.

⁸ Н. М. Ш а н с к и й, указ. соч., стр. 21. Ср. у С. Д. Кацнельсона: «С л о в е ч к о „как бы“ (разрядка наша. — Р. П.) предостерегает против буквального понимания утверждения...» (С. Д. К а ц н е л ь с о н, Содержание слова, значение и обозначение, М.— Л., 1965, стр. 49).

Поскольку подобные сочетания в гораздо большей степени сближаются со словом не только в семантическом, но и в структурном отношении и потенциально могут являться источником образования слов, мы называем их, в отличие от фразеологизмов, сочетаниями, эквивалентными слову, или эквивалентами слова. Таким образом, эквиваленты слова представляют собой фразеологически связанные сочетания, характеризующиеся устойчивостью, единством значения, неизменной формой. Они обычно имеют одно основное ударение или являются безударными⁹. Часто в состав эквивалентов слова входит предлог. Односложные предлоги, естественно, не несут на себе ударения. Но и двусложные и даже многосложные предлоги в подобных сочетаниях являются безударными, ср.: *между тем, между собой, прежде всего, прежде времени, вследствие того что*. Даже когда в состав подобных сочетаний входят два полных слова, одно из которых односложное, основное ударение падает на одно из них, ср.: *до сих пор, все равно, может быть*. В некоторых случаях подобные сочетания вообще безударны: *не без (сказал не без гордости), не до (мне не до разговоров)*.

По формальному составу компонентов, составляющих эквиваленты слова, можно выделить сочетания полнзначного слова с предлогом или частицей: *без устали, без малого, без умолку, в действительности, в итоге, в общем, в деле, в знак, в дальнейшем, в адрес, в результате, в среднем, в сущности, в целом, все же, казалось бы, не раз, ни разу, тут же* и т. п.; сочетания двух или более неполных слов: *а то, а то и, а не то, будто бы, вроде бы, для того чтобы, еще бы, как будто, не без, пока что, так что, то ли* и т. п.; сочетание двух полных односложных слов, иногда с предлогом, из которых одно в составе сочетания принимает на себя ударение: *до сих пор, еще раз, как раз, на сей раз, с тех пор, то есть, будь то* и т. п.; сочетание двух полных слов, одно из которых является односложным: *более чем, быть может, вместе с тем, все время, все равно, друг друга, может быть, стало быть, так сказать, тем временем, тем самым, тогда как* и т. п.

Подобные сочетания эквивалентны слову не только в формальном и семантическом отношении, но и по функции в речи. Эквиваленты слова, так же как и лексические единицы, служат для выражения грамматических отношений и оттенков, которые осуществляются именно этими языковыми средствами. Они служат также для выражения значений, свойственных некоторым неизменяемым частям речи, например наречиям. Поэтому без эквивалентов слова часто невозможно выразить мысль. Если основная сфера использования фразеологизмов — разговорная речь, то эквиваленты слова используются в самых разных языковых стилях. Как правило, они нейтральны в стилистическом отношении. Каждый из эквивалентов слова требует специального толкования или перевода.

На такие фразеологически связанные сочетания — эквиваленты слова — обращалось недостаточное внимание, поэтому пока не определен их состав и количество в русском языке. Между тем, их не так мало. При полном обследовании газет «Правда» и «Известия» (10 номеров каждой из них, по 18 000—19 000 словоупотреблений в каждом номере газеты), 20 прозаических произведений авторов XIX в. и 20 сборников современных поэтов (каждый из них по количеству словоупотреблений примерно равен номеру газеты) было отмечено около 1000 сочетаний, эквивалентных сло-

⁹ Вопрос об аналитических сочетаниях, эквивалентных слову, в которые включаются и глагольные сочетания, на материале французского языка рассмотрен З. Н. Левит (см.: З. Н. Левит, К проблеме аналитического слова в современном французском языке, Минск, 1968).

ву¹⁰. В каждом номере газеты, в каждом поэтическом сборнике, в каждом отрывке из прозаических произведений встречается до 100 разных эквивалентов слова, причем некоторые из них используются неоднократно. Отдельные эквиваленты слова оказались очень употребительными, они встретились в каждом из 20 обследованных текстов. Сочетания *а также*, *не только* (частица и часть составного союза) оказались самыми частыми в языке обследованных газет, а сочетание *как будто* (частица и союз) — в языке поэзии, *потому что* — в прозе XIX в. *Не только, а также* употреблены во всех 20 номерах газеты со средней частотой 11 и 10¹¹ (в поэзии — *не только* у 15 авторов из 20, со средней частотой — 2; в прозе XIX в. — в 17 произведениях со средней частотой — 4; *а также* — у одного автора 2 раза, в прозе XIX в. — у двух авторов 3 раза); *как будто* — во всех 20 поэтических сборниках со средней частотой — 10 (в языке газеты — в 8 номерах из 20 по 1 разу в каждом, в прозе XIX в. — у 19 авторов со средней частотой — 7); *потому что* — во всех 20 прозаических произведениях XIX в. со средней частотой — 15 (в газете — в 14 номерах со средней частотой — 2, в поэзии — у 13 авторов со средней частотой — 2).

По функции в речи среди эквивалентов слова выделяется несколько групп сочетаний. В первую группу входят составные служебные слова. Они, как и среди лексических единиц, оказываются наиболее употребительными в текстах. Безусловно, частота их использования неизмеримо ниже, чем частота лексических единиц — служебных слов. Это и понятно, поскольку наиболее употребительные служебные слова, лексемы, сами входят в состав служебных слов — сочетаний. Например, одним из самых частых слов в языке газеты является предлог *в* (*во*), отмеченный в частотном словаре языка газеты с наиболее высокой средней частотой¹². В то же время он входит в состав более 40 служебных слов — сочетаний, употребляемых в тексте газеты неоднократно.

Особенно употребительными составными служебными словами в языке газеты оказались предлоги и союзы: *а также*, *в области*, *во время*, *в связи с*, *в интересах*, *в качестве*, *во имя*, *в течение*, *за счет*, *как и*, *не только* (частица и часть составного союза); *несмотря на*, *для того чтобы*, *с помощью*, *потому что*, *как бы* (частица и часть составного союза). В языке поэзии наиболее употребительные составные союзы и частицы: *как будто*, *что же*, *что ж*, *все же*, *все ж*, *если бы*, *если б*, *потому что*, *будто бы*, *хотя бы*, *что ли*, *что за*, *да и*, *как будто бы*, *то ли*. Из составных предлогов чаще других употребляется *во имя*.

Между тем, многие из самых употребительных составных служебных слов не отмечены ни в грамматиках русского языка, ни в толковых словарях. Например, *не только* в качестве частицы не зафиксировано в грамматиках русского языка, нет этого сочетания и в толковых словарях. Союз *а также* в толковых словарях отмечается в ряду других сочетаний (*но также*, *и также*) без какой-либо грамматической характеристики. Можно отметить и другие сочетания — служебные слова, до сих пор не включен-

¹⁰ Разностильные материалы для обследования были взяты специально, чтобы убедиться в обязательном наличии эквивалентов слова в разных типах текстов. Повидимому, для установления закономерностей употребления отдельных эквивалентов слова в разных типах текстов необходимо обследование большого количества текстов. Но и пользуясь методами „малой статистики“, как нам представляется, можно отметить некоторые типичные явления не только в области грамматики, на которые раньше не обращалось внимания (В. Г. А д м о н и, Еще раз об изучении количественной стороны грамматических явлений, ВЯ, 1970, 1).

¹¹ Средняя частота определялась по способу, описанному Б. Н. Головиним (см.: Б. Н. Г о л о в и н, Язык и статистика, М., 1971, стр. 22—25).

¹² См.: Г. П. Ш о л я к о в а, Г. Я. С о л г а н и к, Частотный словарь языка газеты, [М.], 1971.

ные в толковые словари (*ввиду того что, в сравнении с и др.*). Это обедняет представление о системе средств связи в русском языке.

Составные служебные слова сравнительно недавно начали привлекать внимание исследователей¹³. Нет пока еще достаточно полного перечня их и в грамматиках русского языка. В то же время необходимость детального описания служебных слов, в том числе и составных, не вызывает сомнений. Усвоение их важно при овладении грамматическим строем русского языка, для передачи разнообразных смысловых отношений, для правильного построения синтаксических конструкций. В языке газеты, например, случаи отклонения от нормы при построении конструкции с составными союзами *а также, не только..., но и ..., не только..., но..., не только..., а...* не такое уж редкое явление.

К этой группе эквивалентов слова примыкают сочетания, которые не перешли в разряд служебных слов, но выполняют их функции в предложении. В них отчетливо проглядывает лексическое значение знаменательного слова, не вполне установилась смысловая «идиоматичность» сочетания. Тем не менее такие сочетания становятся устойчивыми и используются в той же функции, что и служебные слова. Можно назвать предложные сочетания: *в ходе, в результате, в честь, на основе, от имени* и др.; союзные сочетания: *по той причине, что; на том основании, что; в том смысле, что; с той разницей, что* и др. Пополняемость этой группы сочетаний довольно велика, но не безгранична. Они образуются на основе полных слов отвлеченного значения, в семантике которых содержится или может развиваться элемент релятивности¹⁴.

— Другую группу составляют эквиваленты слова, выполняющие обстоятельную функцию. Многие сочетания, выполняющие обстоятельную функцию, соотносятся по структуре и семантике со словом¹⁵. В эту группу входят сочетания существительного или субстантивированного прилагательного с предлогом, например: *без конца, без оглядки, в целом, в итоге, в действительности, в дальнейшем* и т. п. Обстоятельная функция сочетаний поддерживает их неизменяемую форму, так же, как она способствует отрыву некоторых падежных форм слова и изменению значения у них (*весной — любоваться весной и весной ярко светит солнцу*). Именно в обстоятельной функции в сочетаниях существительного с предлогом чаще всего происходят семантические изменения и фразеологизация сочетания. Однако не все эти сочетания подвергаются адвербиализации. Проблема отграничения предложно-падежных форм имени от наречий давно занимает лингвистов¹⁶. В последнее время интерес к этому вопросу усилился. Делаются попытки установить критерии отграничения предложно-падежных форм от наречных сочетаний¹⁷. Но

¹³ См.: Е. Т. Черкасова, Переход полных слов в предлоги, М., 1967; Ю. И. Ледеев, Вопросы изучения неполных слов, «Материалы для словаря неполных слов и их омонимов», I, Ставрополь, 1966; Р. П. Рогожникова, Служебные слова и принципы их лексикографического описания. АДД, М., 1974. В качестве приложения в диссертации составлен словарь служебных слов.

¹⁴ Е. Т. Черкасова, указ. соч., стр. 16.

¹⁵ А. Н. Тихонов, Наречные слова и выражения в русском языке (в связи с проблемой «фразеологизм и слово»), «Труды Самаркандск. гос. ун-та им. А. Навои», Новая серия, 178, III, Самарканд, 1970.

¹⁶ См.: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956; В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947; Е. М. Галкина-Федорова, Наречие в современном русском языке, М., 1939.

¹⁷ См., например: О. П. Ермакова, Об образовании наречий цели в русском языке, «Филологический сборник», [Калуга], 1960; Г. Н. Сергеева, К вопросу об адвербиализации в современном русском языке, «Уч. зап. Дальневост. ун-та», XI (Языковедение), Владивосток, 1968; А. С. Дымский, Отграничение от наречий сочетаний предлогов с именами существительными (*без усталости*), «Уч. зап. Моск. гос. заочн. пед. ин-та», Кафедра языковедения, 34, М., 1971.

пока еще отсутствует описание системы наречных словообразовательных моделей, а именно это могло бы дать критерии для разграничения наречий и предложно-падежных форм¹⁸.

Многие существительные, входящие в состав таких сочетаний, переосмысливаются. Сочетание приобретает устойчивость. Способы подачи таких сочетаний в толковых словарях очень различаются, не всегда показано их семантическое многообразие. В эту же группу включаются другого рода сочетания, также выполняющие обстоятельственную функцию в предложении: *в то же время, до сих пор, все время, в том числе, где попало, еще раз* и т. п. Их объединяет неизменная форма, единство значения, использование в речи в обстоятельной функции, одно основное ударение. Характерно для них и отсутствие образности, свойственной фразеологизмам. В языке газеты наиболее частыми сочетаниями этого типа являются *прежде всего, в то же время, только что, до сих пор* и др., в поэзии — *в первый раз, до сих пор, не в силах, с тех пор* и др.

— Еще одну группу составляют эквиваленты слова, выполняющие функцию вводных сочетаний. В нее входят сочетания, обособившиеся от какой-либо части речи, или такие, компоненты которых сохраняют связи с определенной частью речи: *к счастью, в частности, как говорится, без преувеличения, без сомнения, на удивление, по существу, стало быть, при всем том, тем более, может быть* и т. п. В «Грамматике русского языка» эти сочетания называются вводными словами¹⁹.

Наиболее употребительны в языке газеты сочетания: *в частности, вместе с тем, в основном, в среднем, казалось бы, как известно, к примеру, кроме того, к тому же, между тем, может быть, прежде всего*. В языке поэзии наиболее употребителен несколько иной состав вводных сочетаний, эквивалентных слову: *быть может, в общем, как видно, как водится, как всегда, как прежде, может быть, казалось бы, как придется, как положено, к сожалению* и др. К этой группе эквивалентов слова, представляющих собой замкнутые устойчивые сочетания, примыкают сочетания, являющиеся как бы незамкнутыми. Обычно это сочетания с союзом *как* и предлогом *по*: *как сообщил (кто), как говорит (кто), как заявил (кто), как подчеркивает (кто), по сообщению (кого), по выражению (кого)* и т. п. Особенность этих сочетаний и в том, что глагол не утрачивает своего лексического значения и может употребляться в разных формах: *как сообщил, сообщает (кто)*. Подобные сочетания характерны для языка газеты.

— Вопрос о разграничении массива фразеологически связанных сочетаний и выделении эквивалентов слова представляется существенным и в теоретическом, и в практическом отношении. Теоретически он важен в связи с определением границ слова, разграничением слова и сочетания, выделением типов фразеологически связанных единиц, соотношением слова, сочетания и части речи²⁰. Во всех грамматиках русского языка части речи определяются как слова, хотя в разделах, рассматривающих отдельные части речи, приводятся и слова, и сочетания. В «Грамматике русского языка» о частях речи говорится следующее: «В русском языке с л о в а | (разрядка наша. — Р. Р.) распределяются по разрядам или классам. ... Эти разряды называются ч а с т я м и р е ч и »²¹. В то же время

¹⁸ Интересные материалы приводит И. Ф. Мазанько. См.: И. Ф. М а з а н ь к о, Заметки об образовании наречий в древнерусском языке, ВЯ, 1976, 5.

¹⁹ См.: «Грамматика русского языка», II, ч. 2, М., 1954, стр. 146—148.

²⁰ Разные стороны этих вопросов рассматривались в работах В. В. Виноградова, С. Д. Кацнельсона, В. М. Жирмунского. См.: В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, стр. 25—28; С. Д. К а ц н е л ь с о н, О грамматической категории, «Вестник ЛГУ», 1948, 2; В. М. Ж и р м у н с к и й, О границах слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963.

²¹ «Грамматика русского языка», I, М., 1952, стр. 20.

в разделах, посвященных наречиям, частицам, предлогам, союзам, в состав этих частей речи включаются не только слова, но и сочетания (*на ощупь, под стать, вряд ли, хоть бы, в течение, в продолжение, так как, потому что* и т. п.). В «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. на стр. 304 говорится: «Части речи — это классы с л о в (разрядка наша. — Р. Р.), характеризующихся...», т. е. в качестве частей речи рассматриваются слова, в то время как в разделах, посвященных предлогам, союзам, частицам, в их состав включаются и сочетания.

— Проблема эквивалентов слова важна для лексикографии. Выявление подобных единиц и определение отношения к ним, например, при составлении словарей является одной из задач лексикографии. Это важно не только потому, что необходимо более полное отражение подобных единиц в словарях, но и в связи с тем, где и как описывать такие единицы. Многие из них не попадают в толковые словари. В тех же случаях, когда их включают в словарь, они рассматриваются то как отдельные единицы лексикографического описания, приравненные к слову (редко), например, в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» — *то есть*; то как сочетания, помещаемые по тем или иным его компонентам внутри словарной статьи (*как 1. — как известно*) или иногда в конце словарной статьи в качестве фразеологической единицы (*между тем, во имя, в качестве*). По-видимому, единообразная подача этих единиц в словаре не всегда возможна, но установление определенных принципов необходимо.

Названная проблема имеет существенное значение при обучении русскому языку лиц нерусской национальности. Важно выявить наиболее употребительные в разных типах текстов сочетания, эквивалентные слову, с тем, чтобы они наряду со словами в первую очередь усваивались при изучении русского языка. Из числа фразеологически связанных сочетаний они наиболее употребительны в текстах, тем не менее они не включаются в словари самых употребительных фразеологических оборотов, поскольку не признаются фразеологизмами.

Вопрос о выявлении эквивалентов слова имеет определенное значение для машинной обработки текстов, так как устойчивая форма этих сочетаний дает возможность выделять их из текста с помощью ЭВМ. Извлечение сочетаний из текста с помощью ЭВМ может быть произведено разными путями. Сочетания могут быть заданы списком. Они могут быть выделены по опорным словоформам²², а также по определяемым формальным путем левым и правым границам. Последний способ представляется более перспективным, так как он дает возможность выделить все существующие в тексте сочетания, построенные по определенным моделям. Эквиваленты слова как раз и представляют собой сочетания с неизменным порядком слов, построенные в большинстве своем по определенным моделям. Правильно выбранное слово дает возможность выделить все имеющиеся в тексте сочетания, построенные по этой модели.

Таким образом, эквиваленты слова представляют собой промежуточную категорию между словом и фразеологизмом. Их объединяет устойчивость, неизменная форма, единство значения. Как и слова, они используются в речи в определенных синтаксических функциях, главным образом, для выражения синтаксических отношений, а также для выражения значений, свойственных неизменяемым частям речи.

²² М. В. Данейко, А. Е. Машкина, О. А. Нехай, В. А. Сорокина, А. Н. Шараанда, Статистическое исследование лексической дистрибуции словоформы, сб. «Статистика речи», Л., 1968; Р. П. Рогожникова, Извлечение из текста составных служебных слов при машинной обработке текста, «Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов четвертой лингвистической конференции „Слово в языке, речи и тексте“ 7—8 мая 1974 г.», Новосибирск, 1974.

БОГАТОВА Г. А.

ТИПОЛОГИЯ СЛОВА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

В слове как объекте лексикографического описания на первый план выдвигается ряд признаков, характеризующих его как явление е д и н и ч н о е, ч а с т н о е, индивидуальное. Для лексикографа важны в первую очередь границы слова, определение исходных форм, номинативных значений. Потенциально присутствуют, т. е. могут остаться лексикографически не полно выраженными, такие характеристики слова, как парадигматичность, ситуативная отнесенность, окказиональность и т. п. Такой подход к слову в лексикографии есть не что иное, как рабочий прием, ибо он предполагает предварительное вычленение частного из общего, отнесенность слова к разряду определенных понятий (план содержания), к разряду определенных структурных построений (план выражения), предполагает принадлежность каждого слова к одному из лексико-семантических классов слов, имеющих свои структурные и категориальные параметры, семантические и функциональные характеристики. Все это, проявляющееся в частном от общего, и составляет типологию слова.

В практике лексикографии это проявляется в разработке единых принципов подачи слов, относящихся к одному лексико-грамматическому классу. В исторической лексикологии и лексикографии задача усложняется. В описание истории слова входит выявление динамики в типологических параметрах слова в пределах одного языка в разные периоды его развития. Историческая лексикография постоянно имеет дело с лексико-грамматическими классами слов, сам состав которых не постояен. Слова, выпадающие из состава лексико-грамматического класса или входящие в него на разных этапах развития языка, могут иметь, например, разные исходные данные — ср. *щеп А, звер А, скот А, яр А, клос А, жреб А* и другие слова, не знавшие в своей истории иной формы им. падежа ед. числа. В случаях же типа *роб А — робенокъ, ребяенокъ; тел А — теленокъ; жереб А — жеребенокъ* мы имеем дело с формами, постепенно сменявшими друг друга в позиции лексикографического «лидера», что сразу же осложняет проблему тождества слова для словарей с широким хронологическим охватом, не отменяет принципа единства подачи слов, относящихся к одному лексико-грамматическому классу, но делает его реализацию диахронически обусловленной.

Только так, дифференцированно, можно выразить лексикографическими средствами «идею последовательного и закономерного изменения и развития» для разных слов одной лексико-грамматической группы, «ибо историзм в описании языковых фактов предполагает не столько особый объект (прошлое языковое состояние), сколько сам подход к объекту»¹.

Для словарей с широким хронологическим охватом проблема фронтальных противопоставлений в области истории языка достаточно широка

¹ Ю. С. Сорокин, Что такое исторический словарь?, «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г. Москва», 3 — Теория и практика исторической лексикографии, М., 1975, стр. 20.

и многообразна: южнославянское — русское (восточнославянское, старорусское); общерусское — диалектное; язык народности — язык нации и т. п. Для лексикографа нижняя граница этих сопоставлений начинается значительно раньше, ибо сложение типологических черт многих лексикограмматических классов, начало их истории связаны с дописьменным периодом. Кроме того, формирование каких-то категориальных или семантических признаков класса, начавшееся в дописьменный период и имеющее значение для интерпретации их письменной истории, освещается не всегда одинаково. По мере их изучения высказываются новые соображения, которые можно положить в основу тех или иных лексикографических решений.

Обратимся к тем же *-et*-основам. Они интенсивно изучаются, и здесь мы хотели бы остановиться лишь на тех моментах их истории, которые существенны для лексикографа в типологическом отношении. Древнерусские существительные типа *тѣла* продолжали индоевропейские *-n*-основы. Они распространились на славянской почве суффиксом *-t*². Существует и другой взгляд на этот класс слов: «Можно его рассматривать и как тип дославянский, потому что подобные формы единственного числа существуют и в балтийских языках, например, в старопрусском *smunents* — человек»³.

Отмечается общность функции *-ent*-элемента у балтов и славян при разном исходе: балтийская форма развивается из **-ēn*, славянская из **-en*⁴. В. Махек расценивает *-et*-основы как еще более древние, «их отправная точка должна быть фиксирована в общеиндоевропейском языке»⁵. Теоретически возможность существования форм на *-ent*- в индоевропейский период доказана⁶. Формально вероятно связь глагольных (причастных) форм на *-ent*- и *-et*-основ существительных с индоевропейскими формами на *-ent*-⁷, причастия и имена на *-et*- связаны общностью происхождения.

Семантическая характеристика *-ent*-элемента в глаголах и существительных для того периода может быть сведена к указанию на множественность, т. е. к характеристике формирующейся категории числа. А. Эрхарт высказывает предположение, что *-ent*-элемент в личных окончаниях глаголов 3-го лица мн. числа идентичен *-ent*-суффиксу имен существительных⁸, хотя категориально множественность выработалась как семантиче-

² А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 295; С. В. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы, М., 1974, стр. 197.

³ J. M. Kořinek, Od indoeuroského prajazyka k praslovančine, Bratislava, 1948, стр. 73.

⁴ W. Dobrzyński, Z badań nad rozwojem polskich deminutywów. 1. Historyczny rozwój rzeczowników z formantem-ę na tle słowiańskim, Wrocław, 1974, стр. 67.

⁵ V. Machek, Origine des thèmes nominaux en *-et*-du slave, «Lingua posnaniensis», 1949, 1, стр. 90.

⁶ В. В. Иванов, О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков, ВСЯ, 2, 1957.

⁷ Гипотеза о причастном (отглагольном) происхождении славянских основ на *-et*-, высказанная Н. С. Шапошниковой с опорой на это положение, нуждается, на наш взгляд, в дополнительной аргументации (см.: Н. С. Шапошникова, К вопросу о славянских названиях детенышей живых существ, «Этимологические исследования по русскому языку», III, [М.], 1961). Сам исходный пункт ее гипотезы, строящейся на происхождении *тѣла* с общим значением «рожденное, родившееся» от однокоренного *тѣлѣти ся*, представляется уязвимым, так как требует доказательства, не является ли обратная связь между этими двумя словами первичной. Таким образом, предположение В. В. Иванова о том, что именные основы на *-et*- и причастия с суффиксом *-ent*-, возможно, и связаны общностью происхождения, но не выводятся одно из другого, осталось, на наш взгляд, непоколебленным (В. В. Иванов, указ. соч., стр. 17).

⁸ A. Erhart, Pluralformen und Pluralität, AO, 41, 1973. Панее: A. Erhart, Studien zur indoeuropäischen Morfologie, Brno, 1970.

ский признак *-ent*-элемента у существительных и глаголов независимо друг от друга, последовательно, через стадии интенсивности, собирательности. Это утверждение А. Эрхарта подкрепляется наблюдением, что многие неиндоевропейские языки для выражения множественности в форме 3-го лица мн. числа глаголов и мн. числа существительных также пользуются одним формантом (например, *-lar* в тюркских языках)⁹.

Известно, что имена среднего рода типа *телА, имА, чудо* обладали наибольшей устойчивостью в процессе подравнивания основ с тематическим элементом на согласную по основам на гласную. Больше того, *et*-формант во всех славянских языках развил продуктивность. Это осуществлялось по мере усиления семантизации форманта, определявшейся условиями функционирования экстра- и интритингвистического плана. Экстралингвистический план связан с частотностью употребления слова в том или ином значении, с так называемой с и т у а т и в н о й п р и л о ж и м о с т ь ю. Например, достаточно актуальной ситуацией при обозначении множественности в именных основах было обозначение множественности потомства.

Объективная малость обозначаемого способствовала развитию у слова такого семантического признака, как уменьшительность. Оттенок этот вначале передается всем корнем, как бы накапливаясь в нем, ибо для древнейшего пласта названий потомков характерно разнокорневое (супплетивное) обозначение взрослых и молодых особей (*телА* при *корова, быкъ; ягнА* при *овъца*; ср. вторичные *козлА* при *козелъ, овъчА* при *овъца*). Постепенно категориальный элемент, слабо насыщенный семантически, как бы перетягивает на себя часть семантических импульсов корня¹⁰. К категориальному значению множественности прибавляется семантическая характеристика уменьшительности¹¹.

Кроме уменьшительности, корень древнейшей части названий молодых существ содержал, на наш взгляд, семантический признак собирательности, обобщения. Среди названий молодых животных известен ряд слов, не относящихся конкретно к какому-либо животному: *щенА, зверА* могли относиться ко многим детенышам диких животных (льва, гиены и др.), *скотА* обозначало детенышей домашних животных, *ярА* могло обозначать и ягненка, и козленка. Следы такой обобщенности, собирательности сохранились до настоящего времени в глаголах: *оцешиться*, употребляемом по отношению к собаке, лисице, волчице, *ожеребиться* — по отношению к лошади, ослице, верблюдице, *окотиться* — по отношению к кошке, львице, тигрице, зайчиче, крольчиче, белке и овце¹². Семантическое слагаемое собирательности, полученное как импульс от корня, возможно, также было характерно для суффикса *-et/-' Am-* в древнейший период развития русского языка. Эти явления внутрилингвистического

⁹ А. E r h a r t, *Pluralformen...*; В. Г. Гузев, Д. М. Насилов, К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках, ВЯ, 1975, 3; В. З. П а н ф и л о в, Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее исторического развития, ВЯ, 1976, 4.

¹⁰ О близких по семантике основах, оказывающих одинаковое влияние на смысловое содержание сочетающихся с ними суффиксов, порождающих суффиксальную синонимию, см.: Л. Л. Г у м е ц к а я, Очерк словообразовательной системы украинского актового языка XIV—XV вв. АДД, Киев — Львов, 1956, стр. 13.

¹¹ Семантические структуры, в которых объединяется значение множественности и уменьшительности, имеют свои типологические параллели в истории других языков. См.: В я ч. В с. И в а н о в, К типологическому анализу внутренней формы праслав. **čelovĕk* «человек», «Этимология. 1973», М., 1975, стр. 21; е го ж е, Семантическая категория малости — величины в некоторых языках Африки и типологические параллели в других языках мира, «Проблемы африканского языкознания», М., 1972, стр. 66, 75—80.

¹² См.: В. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, II, М., 1955.

плана можно отнести к разряду семантики взаимопроникновения сочленяющихся частей слова. Возможно, что на ранних этапах развития этого разряда существительных имело место взаимовлияние лексически (всем корнем) выраженных уменьшительности и собирательности и формантно (через тематический элемент) выраженной множественности. (Диффузность значения *-et*-элемента и объясняется этим процессом семантического взаимопроникновения сочленяющихся частей слова.)

Трудно сказать, можно ли было назвать это состояние собирательной множественностью, одним из ее типов, но некоторые явления, например, не выраженная изначально противопоставленность множественности и единичности, могут склонять к этому. Этот вид основ, как предполагают Я. Отрембский и В. Махек, «мог иметь вначале неполную парадигму», парадигма ед. числа сформировалась, по Махеку, позднее, на базе мн. числа (**telęta* > **telęt*; *telę*¹³) по мере нарастания потребности обозначить единичность, что характерно уже для дистрибутивного типа множественности.

По-видимому, в истории этого класса славянских именных основ также имело место «перерастание некоторых показателей собирательных множеств в показатели дистрибутивного типа множества»¹⁴, что позволяет считать дистрибутивный тип множественности для данной группы существительных развивающимся, молодым.

В славянских основах на *-et*-именно парадигма мн. числа оказывается наиболее устойчивой (*telęta*), парадигма ед. числа с исходным *telA* представляется периферийной, структурно уязвимой вследствие неравносложности (*telA*, род. *telAme*) и, как показала дальнейшая история этого типа основ в русском языке, например, относительно изолированной. Происшедшая в течение XVI—XVII вв. морфологическая «смена лидера» *telA* на *теленъ* на мн. число так и не распространилась. Формы типа *теленки* в памятниках письменности фиксируются широко: «Девять гусей живых... у которых гусенковъ [шю вар.] нѣтъ» (Пис. к Матюшкину, 20. 1650 г.¹⁵); «Дѣтенкамъ въ пеленкѣхъ» (СГГД II, 347. 1609 г.); «Рогъ дьявола и дьяволенковъ возвышения» (Ав. Кн. обл., 609. 1679 г.); «7 жеребенковъ годовыхъ» (Южновеликор. письм., 109. 1711 г.).

Возможно, что многие из них отражают, как и сейчас, диалектную норму. С. П. Обнорский отмечает, что появление во мн. числе таких форм объяснялось стремлением «обозначить чистую множественность, как сумму конкретных единичных предметов, как делимую на части совокупность», в противоположность формам на *-ama*, «соединившимся с представлением неделимой множественности, сплошной массы предметов»¹⁶ (*жеребята, опята*). Использование форм на *-енки* во мн. числе по говорам часто имеет свое семантическое обоснование: «рибѣнкавъ, жирибѣнкавъ, главным образом, говорят бабы, и всегда после числительного: у дѣвѣтѣ ребѣнкавъ схаранила, пять жирибѣнкавъ ходють на выгана... Без числительного говорят жирибѣтъ, дитѣй: у нас лѣтася... не былъ жирибѣтъ; у ей

¹³ V. Machek, Origine des thèmes nominaux en *-et-* du slave, стр. 93—94, 96, 98; J. O t r e m b s k i, Przyczynki słowiańsko — litewskie, II, Wilno, 1935, стр. 118. Я. Отрембский указывает, что первичность парадигмы мн. числа подтверждают старые формы мн. числа, содержащие *-nt-* элемент, в других языках: образования на *-ant-*, *-unt-*, *-ntu-* в тохарском А, на *-nta-* в тохарском В.

¹⁴ В. З. П а н и ф о л о в, указ. соч., стр. 37.

¹⁵ Сокращенные обозначения цитируемых источников даются по изданию: «Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников», М., 1975.

¹⁶ С. П. О б н о р с к и й, Именное склонение в современном русском языке, 2 — Множественное число, Л., 1931, стр. 147.

дитей нѣту»¹⁷. Можно говорить, таким образом, и о некоторой семантической изолированности парадигм. До сих пор во мн. числе выступает значительно больший круг слов: кроме общих с ед. числом названий детенышей животных, детей, сюда относится немало уменьшительно-экспрессивных образований, не имевших формы ед. числа: типа *деньжата* или только предполагающих ее. В памятниках письменности фиксируются и такого типа слова: *МѣщАта* (вм. *мощи*): «Поидосте мѣщатѣ (дело идет как будто о мощах св. Симеона)» (Жит. Сим. ст. XIII в. Срезн., II, стр. 215).

История лексико-семантического класса слов, относившихся к старым *-et*-основам или продолжавших их в период XI—XVII вв., дает в распоряжение лексикографа интересный и наглядный в типологическом отношении материал. С точки зрения семантических характеристик он довольно однообразен: во-первых, это детеныши животных (животного) или человека (*телА, робА*); во-вторых, это собирательные или уменьшительно-экспрессивные образования, наделявшиеся признаками первых (*близАта; дьяволАта, мѣщАта*). В соответствии с этим семантическая характеристика слова за очень большой период его бытования в русской письменности, скажем XI—XVII вв., не выходит за пределы типового определения. Оно предстает преимущественно для древнейшей части слов этого лексико-семантического класса как описательное: *скотА* «детеныш домашнего животного»; *зверА* «детеныш дикого зверя (льва, гиены)»; *щенА* «детеныш собаки, волка»; *жеребА* «детеныш лошади, ослицы». Либо может быть переводным, структурно-идентичным или разноструктурным по отношению к определяемому слову по форме: *жеребА* «жеребенок»; *жеребенокъ* «жеребенок»; *близАта* «близнец». О наборе значений, отражающих семантическую историю слова, говорить не приходится. Второе значение, если оно имеется, связано обычно с переносностью или со специальной сферой употребления: *Гусенокъ*, м. «1. Гусенок..., 2. Выкладка строительного материала полукругом или углом»: «А перемыкать тѣ падины гусятами... выверстать рядъ да спустить въ лещеди гусенокъ двоепалочной да жолобъ съ прямою» (Заб. Дом. быт, I, 587, 1666 г.); «А теска в окнах дѣлатъ гусенокъ полкирпичной да валъ полкирпичной» (АЮБ II, 779, 1686 г.).

Таким образом, с точки зрения семантической, рассматривая отдельное слово этого класса даже на протяжении значительного периода, мы не сможем отразить в словаре эволюции, ибо история древнейших лексем, особенно простых по составу, корневых, безаффиксных действительно «не только начинается до первых письменных текстов, но и завершается часто во всем существующем до их появления»¹⁸.

Фонетические и морфологические характеристики более подвижны. Они чаще и определеннее влияют на лексикографическую форму слова и опосредствованно на представленность элементов истории слова в словаре. Проблема тождества слова в словаре, который охватывает несколько языковых состояний (ряд звеньев диахронической цепи), связана в основном с динамичностью этих характеристик. В описании слова в таком словаре на современном этапе исторической лексикографии, этапе инвентаризации лексических средств по столь большому временному периоду, может быть принят сегментационный подход к подаче слова. Цепочка *дощань/дѣщань > тицань/тчань > щань/чань* представляет собой диахроническую последовательность, которую в идеале (историческом словаре), нарисованном акад. Л. В. Щербой, можно будет увидеть в одной словарной статье.

¹⁷ Е. И. Резанова, Наблюдения над говором крестьян деревень Масловки и Хитровки Суджанского уезда Курской губ., ИОРЯС, XVII, кн. 1, 1912, стр. 247.

¹⁸ О. Н. Трубачев, Историческая и этимологическая лексикография (цит. по «Хроникальным заметкам», ВЯ, 1976, 3, стр. 147).

Для современной лексикографической практики такая цепочка не может быть одним лексикографическим словом, так как здесь имеет место значительное расхождение фонетического и морфологического строения конечных звеньев цепи (*дощанъ* — *чанъ*) и отнесенность их к разным реальям (ведь в развитии реалии здесь тоже имела место известная последовательность — от «вместилища, изделия из дерева» к «вместилищу, изделию из металла»). Звенья этой цепи в словаре исторического жанра распадаются по меньшей мере на два лексикографических слова¹⁹. Необходимость такой сегментации уменьшает шансы представить в рамках отдельной словарной статьи историю слова. Однако, если не допустить разрыва цепочки в смысловой трактовке и в лексикографическом оформлении (отсылочная помета при вариантах: *дощанъ* см. *дощаной*; *тъчанъ* см. *тичанъ*, *чанъ* и под.; помета *Ср.*, скрепляющая словарные статьи из одной цепочки), история слова легко «читается» в словаре, особенно с учетом фона ближайшего корневого окружения слова.

Для формы и семантики слова *дощанъ*, например, важны данные прилагательного *дощаной* «сделанный из досок, дощатый»: «Домы дъщаны» (Библ. Генн. 1499 г.); «Усѣчки и урубки дощаные и бревенные и всякие устройти в сторонѣ, гдѣ пригож(е), а не на дороге» (Дм., 131. XVI в.); «В таможенной избѣ в переднемъ углу ящикъ дощаной для поставки казны» (А. Белоз. съезж. избы, карт. 15. 1673 г.). *Дощанъ*, м. «Деревянный сосуд значительной емкости; кадъ, чанъ»: «Продали есми... коженый дворъ... з дощаны с коженными и з золники» (Кн. Поганкина, 45. 1655 г.); «Четыре дощана квасных болших, девет(ъ) дощанов малых» (А. Ивер. м., Росп., сст. 15. 1665 г.); «Куупено на мистрь... два дощана... и тѣ дощаны отданы на городища старцу Сергию кауста солить» (Кн. расх. Ивер. м. № 43, 25. 1668 г.). — Ср. *тичанъ*, *чанъ*.

Определения, толкования в цепочках должны иметь взаимоналагающую общую часть, представленную или легко читающуюся [] в дефинитивной части словарной статьи. Если *дощанъ* определяется как «деревянный сосуд значительной емкости; кадъ, чанъ», то *тичанъ* и *чанъ* соответственно могли бы быть определены как «кадъ, чанъ» или «деревянный или металлический сосуд значительной емкости», чанъ. Это одно из возможных решений вопросов, оставленных в свое время Л. В. Щербой другому поколению для поиска: «будем ли мы создавать историю фонетических слов и их значений или историю слов-понятий или наконец свяжем все это в одно целое, как теоретически казалось бы более правильным»²⁰.

Если вернуться к названию детенышей животных и человека, то слова типа *телА* и *теленокъ*, несмотря на семантическую равнозначность, официальную подключенность к одной и той же парадигме мн. числа, некоторый период параллельного бытования, должны быть даны в двух разных словарных статьях как имеющие разный морфологический статус исходной формы лексикографического слова. К тому же, в случаях более сложных типа *жеребА*, *жеребА*, *жеребенокъ* мы не сможем говорить и о полной идентичности толкований:

Жребя (жеребя), с. Детеныш лошади или ослицы. Снѹ, аз (не) видих жребя, погубляюще мтръ свою. Пов. об Акире, 225. XV в. ∞ XI—XII вв.

¹⁹ Иногда, в словарях с широким хронологическим охватом на самостоятельность может претендовать и промежуточное звено, если оно на каком-то этапе устойчиво соотносилось с определенной реальией и имело достаточное количество одноосновных производных форм, «лежащих в одной семантической плоскости» с исходной формой (Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, сб. «Езиковедски исследования в чест на академик Стефан Младенов», София, 1957, стр. 537).

²⁰ Л. В. Щербова, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3. стр. 117.

Жребя осьяте. Сл. Ипол. об антихр., 5. XII в. Что отрѣшаеа ждребѣа? Она же рекоста, [яко] господь его требуетъ. И приведоста е къ Исусови: и възвергыше ризы своя на жребя, всадиша Исуса. ВМЧ, Окт. 4—18. XVI в. — Ср. *жребѣя*.

Жеребѣя, с. *Жеребенок*. За жеребець, аже не всѣдано на нь гривна кунъ, за жеребѣя 6 ног(ать). Правда Рус. (пр.), 109. XIV в. ∞ XII в. Сука не можетъ родити жеребѣяти: аще бы родила, кому на немъ ѣздити. Сл. Дан. Зат., 72. XVII в. ∞ XIII в. Жеребѣть двѣнадцать молодыхъ. АИ I, 1551 г. — Ср. *жеребѣя*, *жеребенокѣя*.

Жеребенокѣя, м. *Жеребенок*. А грабежу, государь, взяли... двое жеребѣять... да три кобылы. АЮ. 92. 1579 г. Кобыла жеребенка родить, а годные втай и жеребенка и мѣсто скверное кобылье съедятъ. Ав. Ж., 27. 1673 г. 7 жеребенковъ годовыхъ... 15 ягненков. Южновеликорус. письм., 109. 1711 г. — Ср. *жеребѣя*.

Типологически мы также имеем здесь дело с последовательностью в развитии слова, представляющего один лексико-грамматический класс, с динамикой, которая может быть передана в словаре лишь к о м п л е к с н о, с помощью разных средств, лишь с и с т е м н о — путем типизации форм подачи слов одного лексико-грамматического класса, одной лексико-семантической группы.

Можно взглянуть на проблему формирования значения и его словарной формулировки и шире. Сопоставление однокоренных слов, например, с неполногласием/полногласием в корне приводит к выводу об их разных семантических уровнях, объемах, о разной «возрастной» характеристике, что непременно отразится на их трактовке в словаре. Например, *златарь* «золотых дел мастер; мастер-кузнец, выполняющий тонкие работы по металлу». Слово встречается уже в древнейших памятниках. Находится в активном употреблении до XVI—XVII вв. В наиболее ранних текстах наряду со *златаремъ* упоминаются смежно работающие специалисты: «[Гневливого душа] подобна есть къ златаремъ и крѣчѣямъ обоюду клюкание творящемъ, и храмы ти пълни клюка и тълъта» (Златоструй, 92. XII в.); «Члци ажждуше... или мѣдници или златари» (Шестоднев Ио. екз., 1 об., 1263 г.); «Ино адѣяние... златарю, ино желъзному ковачу» (Стоглав, 180. XVII в. ∞ 1551 г.); «Сребродѣлательници ж(е) и златареве, от своя вещи кующе, тако ж(е) и ковачеве [стали делать идолов]» (Корм. Балаш., 444. XVI в.). Сюжетно в большей части тексты не были связаны непосредственно с Древней Русью.

Развитие тех или иных профессиональных приемов, та или иная специализация, изменение объема занятий людей данной профессии в зависимости от времени действий, от места, которое связано с данным сюжетом, не могут не отразиться на толковании слова того же типа: *золотарь* «золотых дел мастер, ювелир, позолотчик». Ввиду специализации круг упоминаемых профессий смежно работающих лиц резко падает (встречаем *золотарь* и *серебряникъ*). Если *златарь* или *златодѣлатель* ковал или лил [шовелъ — златарю — крѣсть съ драгъмь каменъмь съковати] (Патерик Сиг., 334. XI—XII вв.); златари «сковавше ковчегъ» (ВМЧ, Дек. 6—17, 1099. XVI в.); «И златодѣлатели премудрые из злата выливають аки живо птицу или звѣря» (Козм., 408. 1670 г.), то *золотарь* золотит, т. е. «покрывает позолотой (клеевым или ртутно-амальгамным способом)» или «расписывает твореным золотом металл, стекло, дерево, ткань» [«золотили деньги» (Кн. прих.-расх. Каз. пр., 3.1613 г.); «Спасову ризу — на иконе — золотилъ своимъ творенымъ золотомъ» (Столб. ик., 421. 1667 г.); «По дереву по холсту и по тавтамъ и по камкамъ золотять... всякие притчи и травы росписываютъ» (Заб. Ик., 78.1667 г. и т. п.)]. Слова одной лекси-

ко-семантической группы или групп, параллельно развивающихся, могут дать материал для разных по объему дефинитивных частей словарной статьи.

Разрабатывая теоретическую модель исторического словаря, самый тип которого «еще должен быть выработан», Л. В. Щерба писал: «Вопрос осложняется еще тем, что слова каждого языка образуют систему... и изменения их значений вполне понятны только внутри такой системы; следовательно, исторический словарь должен отражать последовательные изменения системы в целом. Как это сделать однако — неизвестно, так как самый вопрос как будто еще не ставился во весь рост... Все это... вопросы для будущего, так как материала для их разрешения еще не накоплено»²¹.

Сейчас, почти сорок лет спустя, когда русской, украинской и белорусской лексикографией накоплены значительные материалы, когда наступило время практического воплощения идей теории исторической лексикографии, вопрос об отражении в словаре «последовательных изменений системы в целом» встал «во весь рост».

Конечно, каждый из создаваемых сейчас словарей исторического жанра будет решать это по-своему, учитывая задачи словаря, возможности собранных материалов, установку на описание одного или ряда звеньев диахронической цепи и многие другие условия. Исследование возможностей лексикографии отразить разные стороны такого многоаспектного понятия, как история слова, идет параллельно с практической работой и будет в ближайшее десятилетие не один раз предметом пристального внимания и дискуссий лексикографов.

²¹ Л. В. Щ е р б а, указ. соч., стр. 117.

ШЮРБЕЕВ Г. Ц.

О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИЯХ В СИНТАКСИСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Современное состояние развития литературных монгольских языков — бурятского и калмыцкого в СССР и собственно монгольского в МНР — характеризуется необычайным расширением сфер их функционального применения, формированием и экспрессивно-стилистической дифференциацией языковых стилей, а также активно протекающим процессом национально-русского двуязычия. Последний особенно показателен для монголоязычных народов Советского Союза¹.

В послереволюционный период в результате небывалого подъема экономики и культуры монгольских социалистических наций произошли весьма существенные изменения во всех звеньях их языковой системы: фонетике, лексике и грамматике. Среди многогранных изменений, вызванных действием разных факторов (социально-исторических, иноязычных и внутренних), определенное место занимают инновации синтаксического порядка. В частности, процесс постепенного сближения старописьменных монгольских языков с живыми разговорными языками, наметивший еще до революции, и последовательный переход их на новые диалектные основы не замедлили сказаться на развитии синтаксических норм современных литературных языков. Во-первых, изменилась сама форма письменного изложения мыслей. Если в стандартном языке старомонгольских сочинений господствовали громоздкие книжные обороты речи со свойственной для них безликостью изложения, то в произведениях современных авторов преобладают конструкции, большей частью относящиеся к синтаксису народно-разговорного языка и отличающиеся лаконичностью и простотой изложения. Во-вторых, под воздействием устной речи как фактора внутреннего порядка, а также с возрастанием степени влияния русского языка, в современных литературных монгольских языках стало возможным явление инверсии членов предложения. Поскольку инверсия преследует стилистические цели, то она имеет широкое распространение в языке художественных произведений. В монгольской, бурятской и калмыцкой художественной литературе инверсия, или нарушение прямого порядка слов для усиления выразительности речи, занимает довольно большое место. Поэтому в отдельных стилях литературных монгольских языков инверсия членов предложения воспринимается уже

¹ Исследованию этих проблем посвящены следующие работы: А. А. Д а р б е е в а, Развитие общественных функций монгольских языков в советскую эпоху, М., 1969; е е ж е, Бурятско-русское двуязычие, в кн.: «Развитие национально-русского двуязычия», М., 1976; И. К. И л и ш к и н, Функционирование калмыцкого литературного языка в условиях развития калмыцко-русского билингвизма. АДД, JL., 1975; Л. Д. Ш а г д а р о в, Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка, Улан-Удэ, 1974.

как факт нормализации и узаконения более свободного порядка слов вообще². Возможность перемещения свойственна не только обычным членам предложения, но и так называемым развернутым членам: причастным и деепричастным оборотам. Причем перемещенный оборот становится более самостоятельным и обособляется. Подвижностью могут обладать и части сложного предложения. Известно, что в монгольских языках сложноподчиненные предложения строятся по господствующему в них принципу «определение — определяемое». Иначе говоря, придаточная часть, раскрывая и поясняя содержание главного предложения, предшествует ему. Однако это условие соблюдается не всегда и не во всех типах придаточных. Например, строго постпозитивными являются придаточные причинные и риторически-объяснительные с союзами: калм. *юнгад гихлэ, яһад гихлэ, учр юмб, учр юндви, учр юм гихлэ*; бурят. *юуб гэхэдэ, юундзэ гзбэл*; монг. *юу гэвэл, яагаад гэвэл* и др. В калмыцком языке такие типы придаточных, как объектные, условные и пространственные, могут в определенных случаях перемещаться из препозиции в постпозицию³. В бурятском и монгольском языках также наблюдаются факты подобного перемещения, что объясняется как стилистическими соображениями, так и стремлением акцентировать внимание читателя на содержании главной части, которая специально выдвигается на первый план: монг. *Э н э ч и н ь у н э м и х г у й б а й н а ш у у, ч а м а й г д а г у у л ж и р с а н г э х э д* («Собла», 1960, 4) «Он же не поверит, если скажут, что привели тебя с собой»; ср. *Ч а м а й г д а г у у л ж и р с а н г э х э д э н э ч и н ь у н а м ш и х г у й б а й н а ш у у*. В пределах сложного предложения иногда можно наблюдать случаи полной позиционной свободы придаточных. Например, в калмыцком сложноподчиненном предложении *Герт] суусн эмтн соңсад, эзн богд Чыңгисхаанд медуулжэнэ, нег көвүн һаза йовад бээнэ гһһэд* («Тууль», II, 47) «Сидевшие в юрте люди, услышав, что на улице бродит какой-то мальчик, сообщили владельцу Чингис-хану» придаточное *нег көвүн һаза йовад бээнэ*, внедрившись в состав главного, может занять интерпозицию; оно может быть вынесено и в абсолютное начало предложения.

Наблюдения над особенностями размещения придаточных и главных в составе сложноподчиненных предложений монгольских языков показывают, что в зависимости от контекстуальных условий порядок их следования может меняться. Для некоторых же групп сложных предложений, например, для бессоюзных предложений с отношениями одновременности и сопоставления, порядок следования частей не имеет значения. В бурятском языке бессоюзные предложения с результативными отношениями, по замечанию Т. А. Бертагаева, имеют порядок, обратный принятому: *Гарини холохонь бээлэйгээ юндэ абаад лэ хаянабши?* «Натрешь мозоли, зачем сбросил рукавицы?» (Бурят. гр., 283).

Демократизация литературных письменных языков содействовала тому, что появились конструкции с вводными словами и предложениями, в которых выражается субъективная реакция говорящего или пишущего на содержание высказывания. Для литературного стиля старого языка с его традицией всячески маскировать все личное это явление было противопоказано⁴. Современные литературные языки обогатились рядом синтаксических конструкций, необычных или вовсе чуждых для старо-

² См., например: Д. А. А б а ш е е в, О порядке слов в бурятском повествовательном предложении, «К изучению бурятского языка», Улан-Удэ, 1969, стр. 86—87; Т. А. Б е р т а г а е в, Бурятский язык, «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 30.

³ У. У. О ч и р о в, Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис, Элиста, 1964, стр. 217—221 (далее в тексте — Синт.).

⁴ Л. Д. Ш а г д а р о в, указ. соч., стр. 58 и 80.

письменных языков монгольских народов⁵. Так, например, характерной принадлежностью отдельных стилей литературных монгольских языков является ранее им не свойственные типы простого предложения с эллиптированным сказуемым. Например, в языке периодической печати находят широкое применение неполные предложения без участия глагола: калм. *Тавн жилэ зураг — болзгаснь урд!* («Хальгьт үнн») «Пятилетку — досрочно»; *Олно малд — дулан увалз* (там же) «Общественному скоту — теплую зимовку»⁶. «Следует заметить, — пишет Г. Д. Санжеев, — что в языке современных монгольских газет не без влияния со стороны русского языка начинают все чаще и чаще появляться в виде заголовков и заглавий статей именные сочетания, представляющие собой в сущности незаконченные или неполные предложения: *Тарианы ургацад өдөр тутмын анхаарал* „Урожаю повседневное внимание“⁷. По нашим наблюдениям, в современных монгольских языках увеличивается число конструкций с безличным значением⁸. Например, в калмыцком языке высокой продуктивностью отмечена модель безличного предложения со сказуемым, состоящим из разделительного деепричастия и вспомогательных глаголов *одх* «идти», *ирх* «приходить, прибывать», *бээх* «быть, находиться, иметься». Безличное предложение с таким составным сказуемым передает состояние природы или состояние самого субъекта: *Харңурад одх* «Потемнело, стало сумрачно»; *Дуларад ирх* «Стало тепло»; *Намаг заратрулад бээх* «Меня знобит». Надо отметить и такое явление, как исторически обусловленное передвижение двусоставных предложений со сказуемым — неразложимым фразеологическим сочетанием — в разряд безличных. С развитием абстрактного обобщенного мышления предложения с формально личным значением типа *нойр хурч байна* «хочется спать», *уур цайж байна* «светает» стали восприниматься как безличные. Постепенно в них субъект действия перестал осознаваться как реальный производитель действия. В результате такого отвлечения произошел синтаксический сдвиг от двусоставности к односоставности⁹. Здесь уместно сослаться и на мнение монгольского ученого, который пишет в отношении подобных конструкций следующее: «Монгольские предложения типа *гэгээ орж байна*, *хүйтэн болж байна* и т. д. внешне, безусловно, напоминают двусоставную конструкцию. Однако с точки зрения не формально-грамматических критериев (а с точки зрения, скажем, семантики) подобные структуры в монгольском языке являются синтаксически цельными»¹⁰.

Как известно, в старописьменных монгольских языках предложения носили преимущественно глагольный характер: первостепенная роль в организации предложения отводилась глаголу, его формам. В современных же языках заметно усиливается роль имени существительного (в том числе

⁵ Формирование в монгольских языках сложных предложений с несколькими придаточными было впервые отмечено Т. А. Бертагасевым (Т. А. Б е р т а г а с е в, О структуре сложных предложений в монгольских языках, «Проблемы востоковедения», 1960, 4, стр. 166).

⁶ Аналогичные факты сообщаются в статье: Ц.-Д. Н о м и н х а н о в, К вопросу развития калмыцкого литературного языка в советскую эпоху, «Записки КНИИЯЛИ», 3, Серия филол., Элиста, 1964, стр. 142.

⁷ Г. Д. С а н ж е е в, Сравнительная грамматика монгольских языков, 1, М., 1953, стр. 122; см. также: Ц а г м э д и й н С у х б а а т а р, Некоторые вопросы стиля и языка газеты (на материалах монгольской центральной печати). АКД, М., 1975.

⁸ Как справедливо отмечает Г. Д. Санжеев, природа безличных предложений монгольских языков еще не стала предметом специального лингвистического исследования (Г. Д. С а н ж е е в, Современный монгольский язык, М., 1959, стр. 85).

⁹ В отношении формы это выражается в тенденции к фонетическому стяжению данных конструкций в слово-предложение. Ср. калм. *өр цэжэ бээх* > *өрцэжээнэ* «светает»; бурят. *ура убдэжэ* > *урэбдэжэ* «сожалеть (о чем-л.)»; сочувствовать (кому-чему-л.) и др.

¹⁰ С. Г а л с а н, Сопоставительная грамматика русского и монгольского языков. Фонетика и морфология, Улан-Батор, 1975, стр. 236.

и отглагольного) в сфере предикации¹¹. Выражением данного явления служит факт все большего распространения безглагольных предложений, состоящих из имени существительного в именительном падеже и его распространителей. Ярким примером такого номинативного предложения может послужить «цепочечная» конкретизирующая конструкция в калмыцком литературном языке: *Бука һуни жиһ. Һуни жиһин эргид сурһуль сурһин, дээнэ хаалһ, шаһна цеггһлһнэ кәдлһи* (Доржий Б., Мини отг, 9) «Целых тридцать лет. В течение которых учеба, дороги войны, работа на государственной службе». Л. Д. Шагдаров, анализируя язык бурятских художественных произведений, особо отмечает явление, при котором сочетание номинативных предложений и присоединяемых к ним предложений с обобщающим значением приводит к созданию яркого образного речевого рисунка: *Танигдаагуу газар, харангы хагсуутай һуни, шуурган намдаха найдабаригуу, гансаара хосорһон Гомбын дотор сүхэрхэ сэдьхэл түрәжэ эхилбэ* «Незнакомая местность, ненастная темная ночь, нет надежды, что буря утихнет, в душе одинокого Гомбо начало зарождаться отчаяние»¹². О том, что номинативные, или назывные, предложения все чаще применяются в литературных тюркских языках, говорится и в исследованиях тюркологов¹³.

Вследствие общего духовного и культурного подъема монгольских народов, сближения их с великим русским народом, язык которого прочно становится средством межнационального и интернационального общения, в современных монгольских языках наметилась определенная тенденция к выработке таких подчинительных конструкций, которые опираются на синтаксические кальки с русского языка. В качестве таковых выступают сложные определительные конструкции коррелятивного типа. «Суть этих конструкций заключается в том, что вопросительные слова *хэн* „кто“, *хаа* „где“, *хэзээ* „когда“ и т. п. при наличии в главном предложении указательных слов, потеряв свое вопросительное значение, применяются в функции союзов подчинения или относительных слов»¹⁴. Например: калм. *Кен шунж кәдлә, тер олн-әмтнд тоосмрта болна* (Синт., 99) «Кто трудится усердно, тот пользуется общественным вниманием», монг. *Хаа бууна, тэндээ хононо* «Где остановится, там и переночует»¹⁵, бурят. *Хайшаа ошоо, тэндэл хурһэн байга* «Куда пошел, туда, наверное, и пришел»¹⁶. Следует подчеркнуть, что степень продуктивности таких конструкций в указанных языках неодинакова. Например, они редко находят применение в монгольском языке, в бурятском они используются несколько чаще. В калмыцком же языке частотность их употребления довольно высокая. Об этом свидетельствует наличие в нем почти всех известных в русском языке соотносительных союзных слов. Достаточно сказать, что на их базе функционируют подчинительные конструкции с придаточными подлежащими, дополнительными, атрибутивными и обстоятельственными.

¹¹ Универсальный характер данного явления на материале разных языков прослеживается в статье: Н. М. А л е к с а н д р о в, О предикативном отношении, «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков», Л., 1975, стр. 133—139.

¹² Л. Д. Ш а г д а р о в, указ. соч., стр. 311. Назывные предложения в качестве газетных заголовков рассматриваются в статье: Э. Р а в д а н, Об отдельных структурных типах заглавий в монгольской прессе, «Научно-методическая конференция преподавателей русского языка вузов МНР. Тезисы докладов», Улан-Батор, 1975, стр. 5—8.

¹³ См.: А. Н. Б а с к а к о в, Типы односоставных предложений в современном литературном турецком языке, «Односоставные предложения в восточных языках», М., 1976, стр. 6—21.

¹⁴ Г. Д. С а н ж е е в, Современный монгольский язык, М., 1959, стр. 93.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Пример взят из книги: Д. Д. А м о г о л о н о в, Современный бурятский язык. Учебник для вузов, Улан-Удэ, 1958, стр. 291.

Через разные каналы общественных функций, в частности под влиянием переводов с русского языка, через прессу, радио и телевидение синтаксическая система монгольских языков несомненно пополняется калькированными построениями сложноподчиненных с о ю з н ы х предложений. Однако этот способ выражения гипотаксиса, преобладающий в индоевропейских языках, не является для агглютинативных монгольских и тюркских языков абсолютно привнесенным извне. По данным сравнительно-исторического исследования Н. З. Гаджиевой, для развития союзного способа связи условия были заложены в самой структуре этих языков: в недрах простого предложения и в развитой системе разного рода частиц, местоименных и наречных слов в их относительном использовании¹⁷. Вывод автора полностью подтверждается и развитием синтаксиса сложных предложений монгольских языков. Обязательная потребность предельно четкого выражения разнообразных грамматических отношений в рамках сложных образований побуждает монгольские литературные языки совершенствоваться и пополнять формальные средства связи. Так, в монгольском языке на базе форм устаревших ныне глаголов-связок *а-бэ* «быть, наличествовать, иметься» появился целый ряд союзов¹⁸: *ахула*, *атал*, *авч* «хотя, если, несмотря на», *агаад* «и, да», *бөгөөд* в том же значении, *бөгөөтөл* «хотя, зато», *бөгөөс* «если, коль», *эсбөгөөс* «или, либо»¹⁹. В калмыцком языке (литературном и разговорном) под влиянием русского языка появились предложения с союзом *а*²⁰. Проникновению их способствует калмыцко-русское двуязычие, которое носит активный и массовый характер. Сочетание русского союза *а* с близким по значению калмыцким противительным союзом *зуг* свидетельствует о его вживании в синтаксическую ткань калмыцкого языка. Кроме того, этому процессу способствует и широкое употребление во всех монгольских языках модальной вопросительно-восклицательной частицы *аа*. В калмыцких сложносочиненных предложениях с союзом *а*, так же как и в русском языке, выражаются отношения сопоставления со значением несходства и противоположности: *Чон угаһар хон бээж чадхнь маһд уга, а хон угаһар чон бээж чадхнь маһдта* (Басцага Б., Бумбин орн, 210) «Что овцы проживут без волка — это точно, а вот что волки смогут прожить без овец — сомнительно». В бурятском литературном и разговорном языке выступает заимствованное из русского языка усилительно-наречное слово *ушөө* «еще»²¹ (ср. сочетания *ушөө баһа*, *ушөө дахин*), которое употребляется в функции союза в сложносочиненных предложениях с присоединительным значением: *Гал гээшээ хуниге гансахан лэ дулаасулдагуй, гансахан лэ эдэе зоолме нь болгодогуй, гал у ш ө ө гансаардаһан хунэй дутын дут нухэр юм* (Рассказууд, 174) «Огонь не только согревает человека, не только помогает приготовить ему пищу, огонь еще и самый близкий друг одинокого человека».

В современных монгольских языках, таких как халха-монгольский и калмыцкий, идет живой и активный процесс номинативизации субъектного имени в генитивных и аккузативных оборотах. В результате употреб-

¹⁷ Н. З. Гаджиева, Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, М., 1973, стр. 372—373.

¹⁸ Арсенал союзов и союзных слов, которыми располагают современные монгольские языки, является более или менее общим. Большинство из них восходит либо к деепричастным и причастным формам отдельных глаголов, либо к наречиям, местоимениям и служебным словам (последологам и частицам).

¹⁹ Таких союзов в современном монгольском языке насчитывается немало. Об этом см.: А. Ш а р х у, К вопросу о союзах и союзных словах в монгольском языке, «Уч. зап. КНИИЯЛИ», XI, Серия филол., Элиста, 1973, стр. 90—100.

²⁰ Заимствование русских союзов и частиц наблюдается в целом ряде языков народов СССР, особенно в тех языках, в которых отмечается наибольшее контактирование с русским языком (см.: Н. З. Гаджиева, указ. соч., стр. 378).

²¹ К. М. Черемисов, Бурят-монгольско-русский словарь, М., 1951, стр. 523.

ления именительного падежа «появляются благоприятные данные в обороте для перехода его в предложение. Совпадение же ведущих слов — причастий и деепричастий — с формой простого сказуемого окончательно закрепляет оборот в качестве предложения»²². Поэтому в названных выше языках причастные и деепричастные обороты испытывают некоторую конкуренцию со стороны формирующихся придаточных предложений. Следствием этого являются факты замещения оборотов подчинительными союзными конструкциями²³.

Вполне естественно, что, помимо общих закономерностей изменения, в строе современных монгольских языков наблюдаются и локальные явления, подчеркивающие их индивидуальность. Например, сказуемым калмыцкого и бурятского предложения, благодаря наличию личноприсудительных частей, присуща большая мобильность. С другой стороны, подлежащее калмыцкого языка может обходиться без соответствующих показателей, тогда как в монгольском и бурятском предложениях опущение показателя подлежащего влечет затруднение в правильном восприятии смысла. Ср.: калм. *Хөн яманас тарһн*, монг. *Хонь бол ямаанаас тарган* «Овца жирнее козы». Если в монгольском примере опустить показатель подлежащего *бол*, то предложение может быть понято как «[что-то] жирнее овцы и козы».

В отличие от калмыцкого и собственно монгольского, в бурятском языке участились случаи согласования определения и определяемого в числе, что было характерно для языка старомонгольских памятников XIV — XVII вв.²⁴: *Т о м о н у д хури н ү д э д соонь арай обёорогдомо эн-харал...* (Рассказууд, 104) «В больших карих глазах едва заметная нежность...». Вместе с тем в бурятском литературном языке почти нередкими случаи согласования сказуемого с подлежащим в числе. Вот что по этому поводу пишет Д. Д. Амоголонов: «...в последнее время под влиянием переводов с русского языка на бурятский наблюдаются попытки согласовать сказуемое с подлежащим в числе: *Д о р ж о Д а р ж а й х о е р суглаа шагналая г а р а б а д* „Доржо и Даржай пошли на собрание“»²⁵. Отметим также, что в современном калмыцком языке в какой-то мере получает права гражданства согласование в роде некоторых заимствованных из русского языка слов — названий профессий и антропонимов с русским родовым окончанием. Ср.: *артист Мимеев и артистка Уланова, колхозник Бадмаев — колхозниц Бембеева, кассир Санж — кассири Баина*²⁶.

По мнению Г. Д. Санжеева, в современном монгольском языке, в том числе в халхаской живой речи, под влиянием письменности за последнее время все чаще начинает употребляться исходный падеж субъекта при обозначении должностных лиц²⁷: *Нөхөр Цэдэнбалаас үг хэлэв* («Үнэн»)

²² Т. А. Бертагаев, Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении. Простое предложение, М., 1964, стр. 251. нечто подобное происходит и в хакасском языке. См. интересную в этом отношении статью: М. И. Богояков, Переход некоторых синтаксических конструкций в придаточное предложение в современном хакасском языке, «Сибирский тюркологический сборник», Новосибирск, 1976, стр. 86—95.

²³ Ср. аналогичное положение, складывающееся в языках тюркских народов СССР: Н. А. Баскаков, Развитие грамматической структуры языков в связи с расширением их общественных функций (на материале тюркских языков), «Проблемы языкознания», М., 1967.

²⁴ Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика..., 1, стр. 137.

²⁵ Д. Д. Амоголонов, указ. соч., стр. 260.

²⁶ И. К. Илишкин, Функционирование калмыцкого литературного языка в условиях развития калмыцко-русского билингвизма. АДД, Л., 1975, стр. 19. См. также: Г. Ц. Пюрбеев, Дифференциальные признаки женских и мужских имен калмыков, «Ономастика Поволжья», 2, Горький, 1971.

²⁷ Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика..., 1, стр. 121.

«Речь произнес товарищ Цэдэнбал». В литературном бурятском исходный падеж субъекта не встречается. Однако в письменных памятниках сеянгинского происхождения подобное явление спорадически имеет место²⁸: *зон-аца аман угэбар мэдэгүлжү...* «народ заявил устно...». В калмыцком же языке исходный падеж субъекта появляется в единичных случаях, главным образом в фольклорных текстах²⁹.

Таким образом, современная синтаксическая система литературных монгольских языков, обладая рядом структурно-функциональных расхождений, продиктованных спецификой их внутреннего развития, охвачена во многом общими и закономерными тенденциями, которые, как показано в настоящей статье, в разных аспектах пронизывают и обновляют строй калмыцкого, бурятского и монгольского предложений. Отражаясь неадекватно в разных сферах применения литературных языков, эти тенденции в своем возникновении и динамике обязаны действиям собственно лингвистических и внешних, социально-исторических, факторов.

²⁸ Об этом сообщает бурятовед Д.-Н. Доржиев, который и приводит указанный здесь пример (Д.-Н. Д о р ж и е в, Употребление падежей в «Прошении Арьяева» и «Рапорте Моджиева», сб. «К изучению бурятского языка», Улан-Удэ, 1969, стр. 82).

²⁹ Субъект действия обозначается исходным падежом и в других урало-алтайских языках, например хантыйском и нивхском, причем данное явление обычно связывается с проблемой эргативных конструкций. Подробнее об этом см.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 137; е г о ж е, Грамматика и логика (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения), М.—Л., 1963, стр. 72.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды.
Библиоблиографический словарь, I. — Минск, изд-во Белорусского
гос. ун-та им. В. И. Ленина, 1976. 320 стр.

На протяжении последних 20—30 лет значительно возрос интерес к истории языкознания: появился ряд специальных монографических исследований (работы К. Е. Гагкаева, В. А. Звезничева, А. А. Москаленко, Ф. М. Березина и др.¹), довольно много библиографических очерков об отдельных выдающихся лингвистах, большое количество статей по различным вопросам истории языкознания и т. п.; на филологических факультетах многих вузов нашей страны читаются спецкурсы по истории развития лингвистической мысли (славистики, русистики, украинистики и т. п.).

Для более глубокого и обстоятельного понимания общего процесса развития науки ценные материалы дает знакомство с личной перепиской ученых. Поэтому и теперь публикации таких материалов уделяется большое внимание². Начали появляться филологические биографически-библиографические словари-справочники. Удачными попытками таких работ являются «Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период» (под ред. и с введением А. Н. Кононова, М., 1974), справочник о чешских богемистах и славистах, подготовленный коллективом чехословацких авторов во главе с М. Куделькой

и З. Шимечком³. Достойное место в этом ряду работ должен занять и рецензируемый труд М. Г. Булахова «Восточнославянские языковеды. Библиоблиографический словарь», первый том которого вышел в издательстве Белорусского университета. В справочнике М. Г. Булахова 131 словарная статья-очерк, в которых даны характеристики деятельности языковедов России, Белоруссии, Украины, их биографические данные, названия основных работ с указанием времени их написания или публикации, кратким критическим анализом наиболее важных трудов, библиографическим списком работ об ученом, а в отдельных статьях еще и портреты, а также факсимиле титульных страниц книг. Весь словарь М. Г. Булахова планируется как трехтомное издание, причем первый том охватывает период с XVI в. до начала XX в. (точнее до начала 20-х годов XX в.).

Книга М. Г. Булахова в отечественном языкознании является первой попыткой отраслевого лингвистического библиоблиографического словаря. По своему содержанию это достаточно сложное и многоплановое исследование, которое, с одной стороны, дает обстоятельное представление об индивидуальном вкладе каждого из большой плеяды отечественных исследователей русского, белорусского, украинского и в целом славянского теоретического, описательного, а также прикладного языкознания за время с XVI в. по 20-е годы XX в., определяет роль и место каждого ученого в истории науки, а с другой стороны, дает общую историческую перспективу развития отече-

¹ См. также сб. «Советское языкознание за 50 лет», М., 1967; Мовознавство на Україні за п'ятдесят років, Київ, 1967; Теоретические проблемы советского языкознания, М., 1968; и др.

² См.: «А. А. Шахматов. 1864—1920. Сборник статей и материалов», М.—Л., 1947; «Документы к истории славяноведения в России (1850—1912)», М.—Л., 1948; «Письма И. В. Ягича к русским ученым. 1865—1886», М.—Л., 1963; «Korespondencija Vatroslava Jagića», I—II, Zagreb, 1953—1970; и др.

³ M. K u d ě l k á, Z. Š i m e č e k, Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník, Praha, 1972.

венной русистики, белорусистики, украинистики, славистики и в значительной степени общего языкознания за указанный исторический период. Важно также, что научная биография каждого ученого ставится здесь в связь с его жизнеописанием на фоне соответствующей эпохи. Этот «контекст» способствует более глубокому осмыслению направлений, особенностей, диалектики развития лингвистической мысли. Характеризуя того или иного ученого, автор пытается во возможности наиболее обстоятельно, объективно показать, что он дал для развития языкознания в свое время, как его идеи воспринимались и способствовали дальнейшему развитию науки, а также выделяет ту часть его наследия, которая сохранила научное значение и актуальность до нашего времени.

Составление рецензируемого словаря, как и других подобных справочников — очень трудоемкая работа. При подготовке его следовало не только обстоятельно изучить хотя бы наиболее важные труды многих авторов за четверста лет, сделать массу самых разнообразных выписок из многочисленных монографий, статей, рецензий, описаний, справочников, указателей и т. п., но и весь этот колоссальный материал соответствующим образом критически осмыслить и оценить, а потом провести надлежащую выборку и отобрать наиболее плодотворную в определенной системе. Дело усложняется еще и тем, что для исследования взято все отечественное восточнославянское языкознание, история изучения которого, как известно, все еще недостаточно исследована. Во многих случаях автор вынужден был провести ряд более или менее широких самостоятельных исследований, используя при этом не только печатные, но частично и архивные источники.

Анализируемая работа подготовлена одним автором (по специальности преимущественно белорусистом). Вполне понятно в этой связи, что рецензируемый словарь не во всех своих частях равномерен, одинаково совершенен, обстоятелен и полон. Вообще, думается, что подготовка обстоятельного, относительно полного и совершенного биобиблиографического словаря восточнославянского языкознания — дело будущего; над таким словарем должен работать солидный авторский коллектив, в который входили бы специалисты по всем трем языкам. Сказанным мы ни в коей мере не умаляем достоинств книги М. Г. Булахова, которая, несомненно, является заметным вкладом в историю отечественной науки и которой с благодарностью будут пользоваться не только лингвисты. Высоко оценивая научную важность работы М. Г. Булахова в целом, мы бы хотели отметить как лучшие статьи-оценки об К. С. Аксакове, И. А. Бодуэне де Куртене, Р. Ф. Брандте, Ф. И. Буслаеве,

А. Х. Востокове, В. И. Григоровиче, В. И. Дале, М. В. Ломоносове, С. П. Микучком, И. И. Носовиче, А. А. Подвысоцком, А. А. Потебне, Ф. Скорине, И. И. Срезневском и др. Вместе с тем считаем нужным остановиться на некоторых общих и частных вопросах, которые, по нашему мнению, вызывают некоторые размышления и замечания.

В кратком «Предисловии» (стр. 3—4) в общей форме мотивируется потребность этого издания, а также указываются использованные при его подготовке историографические, библиографические и филологические обозрения, монографические исследования по истории языкознания, биографические словари, энциклопедии, библиографические указатели и т. п. Кроме печатных источников, автор использовал данные систематических каталогов центральных научных библиотек Москвы, Киева, Минска. К сожалению, в предисловии ничего не говорится о принципах построения рецензируемого справочника, его реестре и структуре отдельной словарной статьи. Однако именно эти общетеоретические вопросы являются очень важными для биобиблиографического словаря (например, проблема реестра, или отбора авторов, статьи о которых должны составлять корпус такого словаря).

Ценность справочника такого типа определяется не только богатством и новизной информации, которая дается в словарных статьях, но и обстоятельностью реестра. Именно в этом отношении работа М. Г. Булахова имеет довольно много досадных недосмотров. В ней почему-то отсутствуют такие известные украинские авторы, как П. П. Белецкий-Носенко; И. Н. Ваглевич, И. Г. Верхратский, Н. Гапчук, Я. Ф. Головацкий, Н. В. Закревский, Е. И. Калужяцкий, Н. Ф. Комаров (Уманец), П. А. Кулиш, Я. Левичкий, М. Лучкай, А. Л. Метлицкий, И. Могильницкий, И. С. Нечуй-Левичкий, М. Т. Номис, М. Осадча, Е. И. Партицкий, И. Я. Франко, Л. Чопей, К. Шейковский и др.

Поскольку это узкоотраслевой биобиблиографический словарь, то представляется важным, чтобы в нем давались хотя бы короткие статьи о менее известных авторах, которые внесли определенный вклад в науку о восточнославянских языках, но имена которых обычно не фигурируют в таких общих справочниках, как энциклопедии, и сведения о которых раздобыть часто довольно сложно. Поэтому хорошо сделал М. Г. Булахов, включив статьи о таких белорусских авторах, как Н. И. Горбачевский, И. И. Григорович, М. О. Коялович, С. П. Микучий, Ф. С. Шимкевич и др. Но, к сожалению, о многих авторах приблизительно того же значения почему-то не вспоминается. С другой стороны, в рецензируемом словаре есть статьи об

авторах, которые в других отраслях имеют солидные заслуги, но собственно для восточнославянского языковедения (как это и представлено в справочнике) сделали очень мало (Г. А. Коссович, братья И. и С. Лихуды и др.). Без вреда для рецензируемой работы эти материалы можно было бы опустить.

Составитель включает в свой словарь статьи о литературоведах, историках и т. п., которые в той или иной степени интересовались и вопросами языковедения. В связи с этим, очевидно, логично было бы специально остановиться в словаре на таких ученых, как историк, этнограф, фольклорист и литературовед Н. А. Янчук (1859—1921), который уделил много внимания исследованию белорусских и украинских говоров, особенно проблемам фонетики, белорусской ономастики, вопросам межязыковых контактов и т. п.; историк В. И. Ключевский (1841—1911), который немало сделал для изучения семантики многих исторических терминов (см. его работу «Терминология русской истории») ⁴, этнограф М. Федоровский (1853—1923), который занимался и белорусской диалектологией; литературовед и фольклорист А. Н. Пыпин (1833—1904) и некот. др.

В словарной статье рецензируемого словаря выделяются три части: 1) важнейшие биографические сведения, связанные с научной деятельностью ученого; 2) краткая характеристика его научной деятельности, методов анализа, критическое обозрение важнейших исследований, перечисление менее важных работ и 3) библиография работ о жизни и деятельности ученого. Последняя часть по сравнению с двумя первыми выделяется и технически — набрана петитом. Вторая часть, конечно, самая большая по объему, и составляет основу всей словарной статьи.

Библиографическая часть словарной статьи имеет два раздела: в первом называются полные собрания сочинений или избранные сочинения ученого (этот раздел есть только в статьях об авторах, которые, кроме языковедения, работали и в других отраслях, например, о М. В. Ломоносове, А. П. Сумарокове, К. Д. Ушинском, Н. Г. Чернышевском и др.); во втором преимущественно в хронологическом порядке указывается литература об ученом. Во многих случаях это очень обстоятельные, почти исчерпывающие (по объему до трех-четырех страниц петита большого формата) библиографии (см., например, статьи о А. А. Потебне, А. А. Шахматове и др.). Правда, здесь обычно даются работы, которые печатались в отечественных изданиях, и лишь изредка указываются публикации из зарубежных изданий. В ряде случаев это

в значительной степени уменьшает объем информации. Так, например, в статье о П. Беринде следовало назвать работы известного польского украиниста и слависта В. Витковского, который много и плодотворно специально занимался изучением наследия П. Беринды ⁵, а также опубликованный М. и А. Карась рукописный украинско-польский словарь 1641 г., в котором первый реестр составлен в целом на основе «Лексикона словеноросского» П. Беринды ⁶. В статье о А. А. Шахматове не лишним было бы вспомнить публикации писем Я. Розвадовского и К. Нича к А. А. Шахматову ⁷. В статье о И. В. Ягиче (а также в статьях о Я. К. Гроте, П. И. Житецком, А. А. Кочубинском, И. И. Срезневском и др.) следовало бы указать ценную и обстоятельно прокомментированную публикацию проф. Й. Хамма «Korespondencija Vatroslava Jagića. Kn. 2. Pisma iz Rusije. 1865—1886» (Zagreb, 1970) и т. п. Однако в библиографических частях словарных статей можно наблюдать и досадные пропуски отечественных работ. Например, в библиографической части статьи о В. И. Дале приводятся статьи и автореферат М. В. Канкава, но ничего не говорится о большой монографии этого исследователя «В. И. Даль как лексикограф» (Тбилиси, 1958); важные новые материалы к статьям о Б. Д. Григиченко, П. И. Житецком, А. А. Шахматове содержатся в не отмеченной М. Г. Булаховым публикации «Заходи Петербурзької Академії наук щодо впорядкування українського правопису» («Мовознавство», 1971, 1, стр. 68—80). В статье о П. Беринде пропущена работа Г. Ф. Шило «Взідки походять Памво Беринда — автор Лексикона Словенорось-

⁵ W. Witkowski, *Fonetyka «Leksykonu» Pamy Beryndy*, «Zeszyty naukowe UJ», LXX, Kraków, 1964; е го же, *Próba lokalizacji gwarowej języka Pamy Beryndy na podstawie analizy jego prac*, «Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN», III, 2—3, Warszawa, 1960; е го же, *O pochodzeniu i nazwisku Pamy Beryndy*, «Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie», styczeń — czerwiec, 1962; е го же, *Nowa siedemnastowieczna wersja «Leksykonu» Pamy Beryndy*, «Slavia Orientalis», XIX, 2, стр. 221—225; е го же, *Jeszcze raz o pochodzeniu i nazwisku autora Leksykonu Sławnioroskiego*, «Onomastika», XVIII, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1973, стр. 257—260.

⁶ M. Karas, A. Karasowa, Mariana z Jaślick Dictionariz słowiańskopolski z roku 1641 (Dictionariz Sclauo-Polonicum...), Wrocław — Warszawa — Kraków, 1969.

⁷ См.: «Rocznik Sławistyczny», XXXII, стр. 73—80; XXXIV, стр. 83—92.

⁴ См.: В. И. Ключевский, Соч. Г. М., 1959, стр. 129—275.

кого» («Тези доповідей у міжвузівській республіканській славистичній конференції», Ужгород, 1962, стр. 106—107) и др.

Нам представляется, что материалы библиографической части словарных статей-справочников типа рецензируемого для удобства пользования следовало бы разделить по следующим разделам: 1) место публикации полного списка работ ученого (например, в статье о А. А. Шахматове: ИОРЯС, XXV, стр. 7—19; С. Шахматова-Коплан, Б. Коплан, Алексей Александрович Шахматов, 1864—1920, Л., 1930); здесь же следует указывать издание полных собраний сочинений и избранных сочинений; 2) работы других авторов об ученом; 3) сведения о публикации его корреспонденции; 4) сведения о месте хранения его архива.

В статье о Ю. И. Венелине следовало бы отметить, что Ю. И. Венелин — это псевдоним, а настоящая его фамилия Гуца. Дата рождения Ю. И. Венелина не 23 VI 1802 г., как указывает М. Г. Булахов (стр. 57), а 22 IV 1802 г. В статье необходимо отметить, что Ю. И. Венелин занимался и вопросами украинской филологии (см. его работы «Об украинском правописании», «Карпато-русские пословицы» и др.).

Библиографию о Ю. И. Венелине необходимо пополнить работами: В. Гнатюк, Кілька причинків до біографії Юрія Гуци (Венелина). — ЗНТШ, XLVII, стр. 4—6, где приводится метрика Ю. И. Венелина; И. С. Свенцицкий, Материалы по истории возрождения Карпатской Руси, Львов, 1905; Ю. Гаджега, Краткий обзор научной деятельности Юрия Ивановича Венелина (Гуцы), Ужгород, 1927; Т. Байцур, Юрій Іванович Венелін, Братислава, 1968 (в последней монографии приводится полный список работ Ю. И. Венелина, в том числе и ненапечатанных, и обстоятельная библиография о нем).

В статье об О. М. Боляском следовало бы специально сказать об издательской деятельности ученого.

В статье о Б. Д. Гринченко полезным было бы указать на переиздания «Словаря української мови», отметить, что он немало работал над созданием учебников («Українська граматика до науки читання і писання», Киев, 1907 и др.) и вспомнить богатые лингвистическим материалом этнографические сборники «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней Губерниях», I—III (Чернигов, 1895—1899), «Из уст народа. Малорусские рассказы, сказки и проч.» (Чернигов, 1900) и др.

В статье о К. П. Михальчуке почти ничего не говорится о биографии этого выдающегося ученого. Автор пишет, что К. П. Михальчук «окончил Киевский ун-т (Университет св. Владимира)» (стр. 169). Однако, как известно, К. П. Михальчуку не посчастливилось окончить универ-

ситет. Следовало бы привести цитату из автобиографии ученого: «Родился я 21 декабря 1840 года в Бердичевском уезде от матери-крепостной, но довелось воспитываться в польской аристократической семье. Учился в уездной школе (в уездном училище» с 1853 по 1856 г.) в Полонном на Волыни, после в Житомирской гимназии (от 1856 по 1859 г.), откуда должен был уволиться по поводу инцидента и, наконец, (от 1859 по 1862 г.) в Киевском университете на отделении историко-филологическом. Университет я не окончил отчасти по семейным обстоятельствам, отчасти по обстоятельствам политическим» («Україна», 1927, 5, стр. 67). В 1862 г. К. П. Михальчук вынужден был уехать из Киева и по 1869 г. жить под надзором на хуторе Сусловцы (Житомирщина). В 1869 г. он поступает на службу в Семеренков, а с 1873 г. работает бухгалтером киевских пивоваренных заводов. Характеризуя К. П. Михальчука как ученого, следует отметить, что он (вместе с А. А. Потебней) является основоположником украинской научной диалектологии, что его основной труд «Наречия, подваречия и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины» — это первое обобщающее описание всех украинских говоров, что приложенная к этому описанию карта классификации говоров украинского языка была первой попыткой составления подобного рода карт в славянской диалектологии. Данный М. Г. Булаховым список основных работ К. П. Михальчука следует пополнить еще такими: «Программа для собрания особенностей малорусских говоров», СПб., 1910 (в соавторстве с А. Крымским); «Программа до збирання діалектних одмі української мови», Киев, 1911 (в соавторстве с Е. Тимченко); «До штання про українську літературну мову» («Український діалектологічний збірник», кн. II, Київ, 1929, стр. 1—42) и его рецензией «Зуваження до праці В. Науменка „Обзор фонетических особенностей малорусской речи“» (там же, стр. 43—74). Библиографию работ о К. П. Михальчуке необходимо пополнить статьей «Невідомий автобіографічний лист К. Михальчука» («Україна», 1927, 5, стр. 59—62).

Статья об Е. Огоновском (стр. 178) слишком кратка, ее следовало бы существенно расширить. Автор не называет Е. Огоновского по отчеству (Михайлович), не указывает точных дат его рождения и смерти (3 VII 1833—28 X 1894), не называет места рождения (с. Григорив Стрийского округа, ныне Рогатинского р-на Ивано-Франковской обл.). Далее следовало бы отметить, что Е. М. Огоновский учился в Бережанской, а затем во Львовской академической гимназии, Львовской духовной семинарии, Львовском университете. В 1869 г. для усовершенствования знаний по славянской фи-

дологии он посещал лекции Ф. Миклошича в Венском университете. В 1865 г. после защиты диссертации «Über die Praerositionen in der altslovenischen und ruthenischen Sprache» (рецензенты Ф. Миклошич, А. Малейкий) занимает должность доцента украинистики Львовского университета, а в 1870 г. становится ординарным профессором этого университета. С 1867 г. (после ухода Я. Ф. Голубацкого) и по 1894 г. он — руководитель кафедры украинского языка и литературы Львовского университета. Представляется важным отметить, что в своем школьном учебнике «Грамматика русского языка» (Львів, 1898) Е. М. Огоновский пропагандировал украинский литературный язык на западноукраинской диалектной основе и этимологическое правописание, что его основной лингвистический труд «Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprachen» (Львов, 1880) написан под влиянием идей Ф. Миклошича, что он отстаивал самостоятельность украинского языка и т. п. Здесь же следовало бы указать на ограниченность взглядов Е. М. Огоновского и критику его со стороны И. Франко, Н. Драгоманова и др. Библиографическую часть необходимо пополнить работой И. Корчузда «Профессор д-р Омелян Огоновский. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності» (ЗНТШ, V, 1895, стр. 1—34).

Досадная ошибка произошла и в статье о А. П. Павловском. Автор пишет: «На подготовку „Грамматики малороссийского наречия“, по свидетельству самого П(авловского), ушло около 30-ти лет» (стр. 179). Это результат недосмотра. В 1822 г. в брошюре «Прибавление к грамматике малороссийского наречия, или ответ на рецензию, сделанную на оную грамматику» своему рецензенту Н. А. Цертелеву А. П. Павловский писал: «...я сочинил свою Грамматику близ тридцати лет назад. А это значит где-то между 1793—1797 гг.» («Slavia», XLIV, стр. 290), когда ему было всего 20—24 года. В этой же статье следовало бы отметить, что А. П. Павловский окончил Киевскую академию, а затем после обучения в Санкт-петербургской учительской семинарии (эта семинария со временем стала называться Учительской гимназией, а в 1804 г. была преобразована в Педагогический институт, Главный педагогический институт, который в 1819 г. реорганизован в университет), что он был также поэтом, переводчиком, печатал статьи по этнографии. Следовало бы упомянуть и о словаре А. П. Павловского «Опыт словаря малороссийского наречия» 1826 г., который включает 595 слов на буквы А—Б (в литературе, которую привел М. Г. Булахов к указанной статье, об этом обстоятельно сказано).

В статье о первом русском печатнике И. Федорове следовало бы отметить, что

свой учебник для начального изучения грамоты «Букварь» («Грамматика», «Азбука») он напечатал во Львове в 1574 г., а в библиографической части указать и киевские издания 1964 и 1975 гг. Здесь же в библиографии читаем: «Быкова Т. А., Выдающийся памятник русской культуры, Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. 14, вып. 5, М., 1965» (стр. 261). На самом деле перед нами часть названия напечатанной в ИАН ОЛЯ подборки статей (полное название «Выдающийся памятник русской культуры — Львовский букварь Ивана Федорова 1574 г.»), в которой первой идет статья В. С. Люблинского «Судьба памятника и его значение в истории отечественного книгопечатания», а дальше статья Т. А. Быковой под заглавием «Место „Букваря“ Ивана Федорова среди других начальных учебников».

В очерке о А. А. Шахматове следовало бы написать о его большой работе в деле организации изучения всех трех восточнославянских языков, в частности диалектологических исследований украинских и белорусских говоров, о его активном участии (вместе с А. Крымским и Ф. Е. Коршем) в издании энциклопедического сборника «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (I—II, Пг., 1914—1916), отметить, что А. А. Шахматов вместе с другими передовыми русскими учеными в условиях, когда царское правительство преследовало и запрещало украинский язык, мужественно выступал за отмену запрета украинского печатного слова, отстаивал мысль о необходимости развития украинского языка и литературы (в этой связи важно указать на написанную в основном им и Ф. Е. Коршем докладную записку Российской Академии наук «Об отмене стеснений малорусского печатного слова», СПб., 1905), обратить внимание на участие А. А. Шахматова в украинской правописной комиссии при Петербургской АН в 1907 г. (см. «Мовознавство», 1971, 1, стр. 68). Среди трудов А. А. Шахматова следовало назвать и прокомментировать его развернутые рецензии на книгу А. Крымского «Украинская грамматика» («Rocznik Slawistyczny», II, 1909, стр. 135—174), работу Е. Ф. Карского «Белорусы» («Сб. отчетов о премиях и наградах за 1910 г.», Петроград, 1915, стр. 200—204) и др.

В статьях об отдельных авторах следовало бы давать характеристики их общественно-политических взглядов и общественной деятельности (например, И. А. Бодуэна де Куртене, А. С. Будиловича, В. И. Ламаского, М. П. Погодина, Ф. Ф. Фортунатова, Т. Д. Флоринского и др.). Это было бы важным материалом для более глубокого понимания философско-теоретических основ научной деятельности и научных интересов того или иного ученого.

Складывается впечатление, что при

написании статей о некоторых ученых автор, используя старые источники, не обращался к новым справочникам, таким, как УРЕ, БСЭ и др. Например, о Ю. И. Венедикте в рецензируемом словаре читаем: «Род(ился) в с. Большая Тибава Бережского комитата в северной Венгрии в семье протоперя Верховины. Учился в Унгварской гимназии, Сатмарском лицее» (стр. 57). Употребленные здесь старые названия могут дезориентировать некоторых современных читателей. Даты рождения и смерти А. А. Кочубинского автор дает: «(1845—?1907)» (стр. 130), в УРЕ они обстоятельнее — 3 XI 1845 — 28 V 1907 (т. 7, стр. 315). То же касается статьи о И. И. Носовиче: у автора: 1788—1877 (стр. 315), в БСЭ: 1788 — 25 VII 1877 (т. 7, стр. 437), то же касается И. А. Бодуэна де Куртена, В. И. Григоровича и др. Это, конечно, детали, однако хотелось бы, чтобы в таком отраслевом библиографическом словаре была более точная информация.

После собственно словаря приводится «Список основных справочных изданий

и словарей» (стр. 311—312). Из более значительных пропусков отметим пятитомник «Українські письменники. Біобібліографічний словник» (Київ, 1960—1965). Когда упоминается «Беларуская савецкая энцыклапедыя», «Українська радянська енциклопедія», «Большая советская энциклопедия», не указывается количество томов, место и время издания, а при последней не указано еще и какое издание.

Высказанные выше замечания и пожелания свидетельствуют, что в рецензируемой работе М. Г. Булахова есть немало недосмотров преимущественно фактического порядка, однако и в таком виде она является полезным справочником, который дает правильное общее представление о развитии отечественной науки о восточнославянских языках и о роли отдельных исследователей в ее формировании. Пожелаем автору как можно быстрее опубликовать и два последних тома этого важного справочника.

Дзюндзевлевский И. А.

Р. А. Будагов. Человек и его язык, второе расширенное изд. — М., изд-во МГУ, 1976. 429 стр.

Для того чтобы вполне оценить значение рецензируемой книги для языкознания, необходимо прежде всего еще раз ясно себе представить состояние этой научной области. Языковому строительству, углублению филологического образования, оптимизации естественных коммуникационных систем и т. д. продолжают мешать все еще проникающие к нам извращенные представления о самом предмете нашей науки, о путях и методах ее развития. Так, хотя философская сущность лингвистической философии уже давно раскрыта и разоблачена философами-марксистами, эту разновидность неопозитивизма нередко продолжают выдавать и у нас за «современную лингвистику», призванную освободить нас от «старого» «традиционного» языкознания (при этом и сам язык нередко подменяется разного рода «формальными репрезентациями»). В том же плане делаются попытки (на первый взгляд, смешные, но, к сожалению, очень опасные) под занавес так называемой «прикладной лингвистики» протасовать справедливо критикуемые нашими философами и социологами теории «постиндустриального общества», «технотронной эпохи» и т. д. и т. п.

Из сказанного ясно, сколь важной и своевременной является постановка вопроса о предмете языкознания в связи с проблемой «технический прогресс и наука о языке». Со свойственной ему глубокой убежденностью и исключитель-

ной ясностью изложения Р. А. Будагов показывает полнейшую несостоятельность смешения языкознания и семиотики, отказа от культурно-исторических традиций, невнимания к содержательным категориям языка, попыток оторвать «отношение» от соотносящихся предметов, так как «обосновать теорию системы невозможно без обоснования теории взаимодействия между категорией субстанции и категорией отношения» (стр. 12).

Как известно, одним из неизбежных последствий все шире развертывающейся научно-технической революции в наши дни является обострение идеологической борьбы. Между тем, как совершенно правильно указывает Р. А. Будагов, «за последние 10—15 лет многие ученые и у нас и за рубежом перестали оценивать ту или иную лингвистическую концепцию с философских позиций» (стр. 11). В результате деление лингвистики на «современную» (т. е. «хорошую», «прогрессивную», «научную») и «традиционную» (т. е. «плохую» и пр.) основывается просто на хронологии — времени выхода того или другого «нового» и никем еще не проверенного домысла. О том, как быстро стареют и сходят со сцены «новейшие» теории, теперь написано уже очень много. Как убедительно показывает Р. А. Будагов, труды классиков советского марксистского языкознания отнюдь не утрачивают своей новизны и свежести, своего огромного научного значения. Хотю добавить, что нередко некоторые амери-

канские теории оказываются, в своей положительной части, простыми повторениями уже давно открытого нашими учеными. Следует специально подчеркнуть в связи со сказанным указание Р. А. Будагова на полную непропорциональность смещения теории и тех или иных частных приемов исследования.

Второй раздел этой части работы, под заглавием «Неточных наук» быть не может, посвящается развернутому обоснованию сущности гуманитарного знания. Со свойственной ему эрудицией в самых разнообразных областях науки на основе большого языкового материала Р. А. Будагов разъясняет понятие «тождества» в применении к языку. Добавлю, что непонимание смысла этого слова некоторыми (к сожалению, довольно многочисленными) позитивистами-прикладниками привело (и, к сожалению, продолжает приводить) к повсеместно отмечаемому падению культуры речи и утрате способности к восприятию эстетической функции языка.

Выше уже было сказано о недопустимости гипертрофии «формальных репрезентаций» в языкознании. В третьем разделе первой части своей книги Р. А. Будагов детально анализирует вопрос о теории языка и его формализации, показывая на убедительных и интересных примерах, почему последняя может иметь только подобное значение в языкознании, так как «все знание грамматики (я бы добавила: и вообще языка. — О. А.) вырастает из таких категорий, которые способны и призваны выражать мысли и чувства людей не приблизительно, не в общих чертах, а во всем богатстве, во всей подвижности их оттенков и градаций» (стр. 23).

В заключительном разделе первой части «Теории языка и его социальная природа» утверждается приоритет советского языкознания в разработке социалингвистики и, что самое главное, разъясняется научное марксистское понимание соотношения языка и мышления с должным вниманием к критике идеалистических представлений.

Переходя к рассмотрению второго раздела «Что такое общественная природа языка», необходимо сделать небольшое отступление для того, чтобы обратить внимание на построение рецензируемой книги, отличающееся необыкновенной стройностью: каждый новый параграф всегда подготовлен предыдущим, вытекает из последнего и развивает его. Подвѣдя читателя к этому важнейшему вопросу нашей науки, Р. А. Будагов на основе очень компетентного исторического экскурса и прекрасного знания современного состояния исследования в этой области приходит к утверждению своего основного тезиса — о том, что «внутренние закономерности развития языка, как и все другие его закономерности, оста-

ются в конечном счете социальными» (стр. 39). Хотя принято считать, что общественная природа языка обнаруживается главным образом в лексике, социальные аспекты грамматики не менее существенны для понимания особенностей развития грамматических средств в разные исторические эпохи. И хотя лексика «подвижнее» грамматики, «в определенные эпохи грамматика может быть социально более показательна, чем лексика» (стр. 49).

Вопрос об общественной природе языка рассматривается далее с очень интересной и оригинальной точки зрения — в связи с проблемой п о н и м а н и я. Р. А. Будагов не только раскрывает длинную историю всевозможных «четырехугольных кругов» (до сих пор вызывающих восторг у любителей «яростно сияющих зеленых идей»), но и утверждает полную несостоятельность попыток считать их «лингвистически правильными»: «Построение.. типа *Этот круглый стол четырехугольный*, — пишет Р. А. Будагов, — несомненно само по себе, оно не выполняет никакой языковой функции (коммуникативной, функции названия, функции выражения мысли или чувства) и поэтому к языку не относится... Социальная природа языка не дает никакой возможности признать построение типа *Этот круглый стол четырехугольный* предложением русского языка. Нельзя одновременно защищать тезис об общественной природе языка и считать только что приведенное построение фактом языка, сама природа которого всегда общественного характера» (стр. 59). Развивая далее это важнейшее положение, Р. А. Будагов привлекает большой научный аппарат и прекрасно подобранные иллюстрации, причем, насколько мне известно, только он обратил внимание советских лингвистов на блестящую статью одного из самых талантливых и интересных американских лингвистов Д. Болинджера «*Gruth is a linguistic question*», напечатанную в журнале «*Language*» (1973, 3). В отличие от Болинджера, однако, в своих исследованиях Р. А. Будагов ставит в центр внимания не весьма второстепенную для языкознания проблему использования языка для сокрытия истины, а его основную и естественную коммуникативную функцию в собственном и прямом смысле этого слова. После изложенных важнейших теоретических положений, составляющих основу последующих исследований, очень уместным является помещение двух ярких эпюдов «Ф. Энгельс и языкознание» и «В. И. Ленин о научном стиле языка».

Вопрос о слове, его значении и, шире, вообще о роли и месте значения в языке затрагивается автором в обсуждавшихся выше частях книги в связи с рассмотрением более общих методологических проблем. Однако в следующем разделе —

«Категория значения в разных направлениях современного языкознания — уже не только раскрываются главные особенности слова как лингвистической единицы, но и разясаются основные ошибки в его понимании и как всегда утверждается традиция русского и советского языкознания. Поскольку и у нас находятся авторы, которые только теперь начинают обнаруживать, на генеративный манер, семантику в синтаксисе и т. д., методологически важным является напоминание о том, что «в истории русского и советского языкознания категория значения в лексике и грамматике всегда была в центре внимания» (стр. 95). Поэтому нам нет нужды преодолевать «национальное отращение к семантике», о котором говорил Хэмп, характеризую общее направление американского языкознания. Но, к сожалению, и у нас до сих пор обнаруживается отрыв от конкретного, собственно-языкового материала естественных языков народов мира, что «глубоко отражается на характере рассуждений о форме и содержании у тех лингвистов, которые сами никогда не находились „в гуще“ подобного материала, никогда не исследовали отдельных языков или групп языков во всей их сложной непосредственной данности» (стр. 101). А подлинные языковые факты с несомненной свидетельствуют о том, что слово и его разные значения существуют объективно и никак не могут сводиться к тем специфическим отношениям, в которые они вступают с теми или другими словами в том или ином контексте. В отличие от лексики, где слова обладают способностью прямого соотнесения с обозначаемым предметом мысли, грамматическое значение имеет обобщенный, абстрактный характер, который и демонстрировали для дидактических целей разные исследователи в разных странах (добавлю к знаменитой «глокой куздре» не менее широко известные *Pirotan karullieren elatish The Dostak distims the doshes; the slithy toves did gyre and gimle through the wabe*). Замечу, что абстрактность грамматического значения можно показать, и не утруждая себя сочинением потешных лексико-фразеологических сочетаний (ср., например, *XU-ed Z*, как это делал А. И. Смирницкий).

Рецензируемая книга настолько разносторонне раскрывает языковедческую проблематику, так богата мыслями и фактами, что попытка ее охарактеризовать ее всю в пределах одной рецензии было бы просто невозможно. Поэтому я ограничусь перечислением наиболее важных направлений исследования в рецензируемой книге. Прежде всего это вопрос об отношении человека к своему языку и сознательном ли него воздействии, одним из аспектов которого является обширная проблема терминологии и интерлингвистики, т. е. переход от языко-

знания как раздела филологии к лингвистической семантике. Тонкий анализ, которому подвергает эти сложнейшие взаимоотношения и переходы Р. А. Будагов, имеет первостепенное значение, так как помогает преодолению грубых и прямолинейных делений, препятствующих плодотворному развитию нашей науки.

На второе место я поставила бы вопрос о стилях языка (или о разных «языках»), таких, как литературный язык, научный стиль языка, стиль художественной литературы, разговорный язык и интонации разговорной речи в драматургическом произведении и т. п. Попытаться придать целостность краткому изложению методологии исследования и характеристике наиболее сложных аспектов этих разделов книги было бы очень важно, но только специально сосредоточившись на их особой проблематике, т. е. посвятив этим вопросам отдельную рецензию.

На третьем месте у меня оказался вопрос о соотношении синхронии и диахронии и, особенно, вопрос о языковом развитии и изменении, о факторах его определяющих в конкретности его разнообразных аспектов. Но это — *last but not least!* Особенно интересны в этом плане наблюдения Р. А. Будагова над лексикой романских языков в ее историческом развитии и в плане сравнительно-сопоставительного ее изучения.

Работу с книгой затрудняет отсутствие указателя. Для монографии, охватывающей такой широкий круг вопросов, такое богатство материала и характеризующейся огромным научно-библиографическим аппаратом, тщательно составленный указатель имен и предметов просто необходим, так как читатель все время испытывает потребность возвращаться к уже прочитанному, сопоставляя трактовку того или другого вопроса в разных разделах, в разных контекстах и в применении к разному материалу. Хочу обратить внимание на распространение в нашей практике «безуказательных» публикаций, что не перестает вызывать недоумение у ученых, не мыслящих научного издания без предметного и именного указателя.

В заключение мне хотелось бы еще раз выразить свое глубокое удовлетворение: необходимо всячески приветствовать второе расширенное издание книги, которая от начала до конца — образец языковедческой работы. Хочется надеяться, что наши молодые ученые поймут, наконец, недопустимость распространения под видом «лингвистики» сочинений, полностью пренебрегающих знанием литературы вопроса и его истории, освободивших себя от исследования языковых фактов и сводящих дело к рекламированию новейших сенсаций того или иного модного открытия.

Ю. С. Степанов. Методы и принципы современной лингвистики. — М., «Наука», 1975. 312 стр.

Рецензируемая книга принадлежит известному лингвисту, автору целого ряда работ по вопросам общего, романского и славянского языкознания. Книга имеет не о б з о р ы й (как это можно было бы заключить из заглавия), но п о л е м и ч е с к и й характер. В ней защищается тезис о том, что современная лингвистическая методология представляет собой стройную и органичную систему взглядов, что она разумна и эффективна. В этом отношении книга Ю. С. Степанова напоминает известную публикацию Ю. Д. Апресяна¹. Как и последний, автор считает главной чертой современной лингвистики ее ф о р м а л ь н ы й характер. Он полагает, что в современной лингвистике «вопрос о содержании ставится в зависимости от решения вопроса о формах и вопроса о методах описания форм» (стр. 34). В то же время подходы Ю. Д. Апресяна и Ю. С. Степанова существенно различаются. У Ю. С. Степанова совершенно отсутствуют Апресяновские задор и непримиримость, он считает, что в наше время структурализм существенно изменился и вступил в новую фазу своего развития, когда он не может уже противопоставляться «традиционной» лингвистике. Есть и другая особенность подхода Степанова. В отличие от Ю. Д. Апресяна, он слишком необычно и своеобразно толкует содержание ряда общепринятых терминов и понятий. Поскольку такое своеобразие нигде не оговаривается, у читателя создается впечатление, что представления автора о положении дел в современной лингвистике и о методах научного доказательства излишне субъективны и не всегда точны.

Структура рецензируемой книги такова. Во «Введении» (стр. 3—17) автор рассматривает три «ключевых понятия» современной советской лингвистики: «методику» — «метод» — «методологию» (§ 1). В § 2 «Введения» Ю. С. Степанов анализирует различные понимания этих «ключевых понятий», и, в частности, сопоставляет подходы американских и советских языковедов к этому вопросу. В § 3 он объясняет свою систему классификации лингвистических методов. Последнее он рассматривает в трех соответствующих частях своей книги: I часть (стр. 18—54) посвящена методике решения конкретных лингвистических проблем, во II части (стр. 55—195) рассматриваются способы теоретического осмысления частного вида (диахронических) исследований, а в III части (стр. 196—300) речь идет об обобщении на методологическом уровне любых лингви-

стических исследований (при этом постоянно происходит подмена термина «синхронический» термином «логический»). Наконец, в «Заключении» (стр. 301—304) Ю. С. Степанов приводит «постулаты», «фактически действующие» в современной лингвистике, которые, по его мнению, уже не соответствуют сосюровским канонам. В качестве такого «антисосюровского постулата» приводится, в частности, положение о том, что «ось одновременности (синхрония) не противопоставлена оси времени (диахрония)» (стр. 303). Приводятся также: «постулат» о тождествах — различных, «постулат» о синтагматике — парадигматике, «постулат» о времени — пространстве.

Несколько слов о методе рассуждений автора. Ю. С. Степанов относится к тем, кто считает, что за всеми явлениями действительности скрываются «простые», «логичные» формулы и схемы, что задача исследователя — «обнаружить» эти «формулы». Обычно Ю. С. Степанов исходит из более или менее известных фактов и старается расположить их так, чтобы получились «правильные», упорядоченные, симметричные схемы (классификационные, реляционные и пр.). Если ему это удается, он считает, что выдвигаемая им концепция доказана, что определенная языковая закономерность о б н а р у ж е н а и т. д.

Так, уже в 1966 г. он излагает свою концепцию языкознания согласно трехчастной схеме Э. Косериу — «речь — норма — язык», которую он дополняет подразделениями: «синтагматика — парадигматика», «план выражения — план содержания»². Позднее он использует трехчастную схему Ч. Морриса «синтактика — прагматика — семантика» для описания структуры языка. Этой триаде он ставит в соответствие три «функции» («предикацию — перформацию — номинацию»), а также три «разновидности» языкового материала³.

Этот же прием мы наблюдаем и в рецензируемой работе. Ю. С. Степанов исходит на этот раз из трехчастной схемы «методика — метод — методология» (стр. 3), которая, как он считает, отнюдь не случайно обладает трехчастным строением и связана с философией и с лингвистическими «процедурами открытия» (стр. 6, 11). Этой схемой, как можно предполагать, предопределяется разделение рецензируемой книги на три части: I — «Направление поиска и линии развития в современной лингвистике»;

² Ю. С. Степанов, Основы языкознания, М., 1966, стр. 4—7.

³ Ю. С. Степанов, Семпотическая структура языка, ИАН ОЛЯ, 1973, 4, стр. 341 и сл.

¹ Ю. Д. Апресян, Идеи и методы современной структурной лингвистики, М., 1966.

II — «Исторический принцип в современной лингвистике»; III — «Логический принцип в современной лингвистике» (ср. стр. 12—14).

В соответствии с принятым планом, «на всем протяжении... книги речь идет по существу об одной и той же группе методических принципов современной лингвистики, но в разных частях они рассматриваются применительно к разным целям и с разной степенью общности» (обобщенности? — Р. П.) (стр. 12). При этом в обобщающем разделе («Логический принцип») эти методические принципы рассматриваются «в их логически наиболее очищенном виде» (стр. 14), т. е. речь здесь идет о «выявлении логики языка и логики описания языка» (стр. 15).

Мы узнаем, что в основе «логики описания языка» лежат шесть «категорий» (множество, дистрибуция, оппозиция, функция, ипликация, репрезентация). Им соответствуют шесть «методов» (теоретико-множественный, дистрибутивный, оппозиционный, фунгирующий, генеративный, семантический), а также шесть «моделей» (теоретико-множественная, дистрибутивная и т. д.) и шесть «теорий» (теоретико-множественная, дистрибутивная и т. д.) — стр. 14. По мнению Ю. С. Степанова, все эти методы и их специфическая терминология соответствуют друг другу (стр. 15, 243—299). В связи с этим им ставится вопрос о «синтезе основных понятий методов» (т. е. о том, что «категории дистрибуции, оппозиции, функции и другие рассматриваются с точки зрения их соответствий друг другу» и о возможности «их транспозиции друг в друга»), об унификации терминологии разных лингвистических школ, о синтезе лингвистических направлений (стр. 15).

Идея синтеза методов находит выражение в «логике языка», которая в конечном итоге воплощается в «структуре системы» или «семантической структуре» языка. Автор представляет последнюю в виде графической схемы (рис. 17, стр. 279), содержащей два «уровня» («экзокретный» и «абстрактный»). «Уровнями» соответствуют «единицы»: аллофон — фонема, алломорф — морфема, слово — «абстрактное слово» и т. п. «Единицы» связаны между собой отношениями «репрезентации», «функции» и пр. (эти отношения описываются с помощью указанных шести формальных методов, моделей, теорий и пр.). В дальнейшем, по мнению Ю. С. Степанова, следует ожидать синтеза «традиционно-филологического» и «формального» подходов к языку, что должно оказать благотворное влияние на методологию всех гуманитарных наук (стр. 300).

Все сказанное может служить поучительным примером применения современного автором архаического метода «с-

тетического» доказательства. Этот метод широко употреблялся в прошлом, когда всерьез считали, что научную концепцию можно и нужно считать состоятельной, если она представлена в виде схемы, устроенной просто и рационально и содержащей различные числовые совпадения и геометрические симметрии⁴. Современная наука, отказавшись от телеологического подхода к действительности, естественно, уже не придает решающего значения формальному совершенству и эстетической стройности описания. К тому же такое «совершенство» по большей части является искусственным: обладая неограниченной возможностью подбирать и комбинировать объекты, понятия, числа, фигуры, всегда возможно при известной затрате времени получить «символические», «значущие» сочетания, величины, симметрии и т. п.⁵

Такой же искусственной представляется и «логика языка и языкового описания» Ю. С. Степанова, которая являет собой результат различных «подгонок» и «натяжек». В явном виде это обнаруживается в том случае, когда Степанов подводит германское «передвижение согласных» под отношение «золотого сечения» (стр. 111 и сл.). Более существенно, однако, скрытые «подгонки» автора. Так, Степанов произвольно объединяет метод в внутренней реконструкции и метод порождения (стр. 55 и сл.). Это — совершенно необоснованное решение, ибо внутренняя реконструкция состоит в получении «диахронических выводов... из синхронического анализа» (Е. Курилович), а «порождающие грамматики», как известно, оперируют только наличными в данный момент в языке элементами. Н. Хомский даже специально подчеркивает различие между видами «творческой деятельности» носителей языка, приводящими к 1) «порождению» предложений и 2) диахроническим изменениям⁶.

Игнорируя это предостережение, автор предлагает понятие «абстрактного процесса», которое «покрывает одновременно категории диахронического изменения и синхронного порождения одних языковых единиц из других» (стр. 95). Отсюда — известный тезис Ю. С. Степанова о единстве синхронного описания и исторической реконструкции (стр. 119—124), в соответствии с которым он приходит к идее «алгебраической» рекон-

⁴ Ср., например: Э. Роджерс, Физика для любознательных, II, М., 1970, стр. 129 и сл.

⁵ Ср.: M. Gardner, In the name of science, New York, 1952, стр. 174 и сл.

⁶ Н. Хомский, Логические основы лингвистической теории, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 478.

струкции, под которой «понимается реконструкция структурных отношений в языке, вне вопроса о том, как конкретно реализовались элементы в этой системе» (в качестве примера «алгебраической реконструкции» приводится восстановление праиндоевропейской системы гласных Ф. де Соссюром) — стр. 59. За этой странной формулировкой мы, однако, обнаруживаем уже знакомый нам прием: обнаружение «простых схем и формул», будто бы стоящих за разнообразием языковых фактов (стр. 59—195). О том, что именно к этому приему сводится в книге внутренняя реконструкция, свидетельствует иллюстрация из Панини (стр. 55—58). По мнению автора, это — «четкий прообраз» метода внутренней реконструкции, хотя это — всего лишь обычный для Панини⁷ сокращенный способ описания практических правил санскрита⁸.

Поскольку же синхронический и подход к языку также сводится, по автору, к «составлению матриц», т. е. упрощенных графических схем (стр. 196 и сл.), то, таким образом, задачи синхронического и диахронического языковедения представляются в книге идентичными: вся современная лингвистика оказывается нацеленной на сведение существующих языковых описаний к схематической и экономной форме.

Этот механический принцип мы также обнаруживаем в тех «линиях развития», которые Ю. С. Степанов считает характерными для современного языковедения. Это: «укрупнение грамматик» (сведение грамматических и лексических значений в «семантические поля», «понятийные категории» — стр. 18 и сл.), «укрупнение лексикологии» (представление семантики слов через их комбинаторику — стр. 28 и сл.), «центральная роль синтаксиса» (представление семантики слов с помощью синтаксических отношений — стр. 31 и сл.), «сближение с современной логикой» (использование логических понятий и символов для описания языка — стр. 33 и сл.), «возникновение формализации в недрах традиции» (использование аппарата теории множеств для описания и классификации языковых единиц — стр. 41 и сл.), «антропоцентризм» (группировка языковых категорий с точки зрения носителей языка — стр. 51), «недискретность» (группировка слов на ос-

новании отношений паронимии — стр. 52 и сл.).

Как мы видим, за «логикой языка и языкового описания» Ю. С. Степанова неизменно стоит один и тот же принцип эстетического упрощения, который является столь же тривиальным, сколь и надуманным. Что же касается «натяжек», при помощи которых эта «логика» создавалась, то они явились, как и следовало ожидать, результатом недопустимо вольного обращения с терминологией. В книге мы встречаем удивительные примеры таких неточностей. К примеру, Ю. С. Степанов смешивает собственно дистрибутивный и комбинаторный валентный анализ (стр. 89 и сл.). Как известно, первый из них служит для отождествления языковых единиц на основе сопоставления их «дистрибуций»⁹, а второй дает описание сочетательных возможностей уже отождествленных единиц¹⁰. Автор же, который считает, что при дистрибутивном анализе «языковые единицы описываются через совокупность их окружений» (стр. 89), видимо, не различает описания сочетательных классов (стр. 209 и сл.) и правил отождествления (стр. 203—205). И эта путаница отражается в примерах.

Так, пары слов *ток — так, том — там* Ю. С. Степанов представляет как совпадающую часть контрастной дистрибуции русских звуков *о* и *а* (стр. 204). Очевидно, однако, что оба звука, не обладающие сходными характеристиками, вообще невозможно исследовать с помощью дистрибутивного анализа; это было бы тем более бессмысленно, что указанные слова образуют безупречные минимальные пары¹¹. Отношение дополнительной дистрибуции Ю. С. Степанов обнаруживает между двумя грамматическими формами одного и того же ст.-слав. слова *сънемъ* и *соньма* (стр. 88). Этот неожиданный вывод он делает на основе отношений между... гласными *ъ, ь* и *о, е* (стр. 87). Автор также считает, что в «известной теории» Э. Бенвенист применяет метод дистрибутивного анализа для реконструкции индоевропейского корня **pérk-/prék-* (стр. 88). Это совершенно неверное утверждение, ибо в своей теории Э. Бенвенист отнюдь не ссылается на дополнительные отношения между дистрибуциями этих алломорфов и, естественно, отнюдь не стремится к установлению их тождества. Э. Бенвенист исходит из тождества этих алломорфов и исключительно на основе теории чередований¹² дока-

⁷ R. N. Sharma, Referential indices in Pāṇini, «Indo-Iranian Journal», XVII, 1—2, 1975, стр. 31.

⁸ Ср.: В. А. Кочергина, Начальный курс санскрита, М., 1956, стр. 26. Ср. также замечание автора о том, что «в теоретическом рассмотрении переносить предмет в прошлое равносильно тому, чтобы сводить его к наиболее простым элементам» (стр. 303).

⁹ Г. Глисон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 125, 229.

¹⁰ Там же, стр. 96 и сл.

¹¹ Там же, стр. 229.

зывает наличие в корне *pérk/prék-суффиксального элемента *-k/-ék¹². И эти выводы отнюдь не зависят от того, встречаются эти алломорфы в пределах одного и того же или же разных индоевропейских диалектов.

Не повезло в книге и терминам «репрезентация» и «знак», ибо автор подводит под отношение «означающее» — «означаемое» также отношение между «конкретными» («наблюдаемыми») и «абстрактными» единицами (ср. алломорф — морфема). При этом оказывается, что (фонетическое) слово одновременно «репрезентирует» и свое значение и некое «абстрактное слово», т. е. является «означающим» и того и другого одновременно (стр. 241—242, 280). Если мы примем эту странную мысль, очевидно, придется как «означающее» рассматривать любой конкретный предмет. Так, каждый стол будет считаться «означающим» некоего «абстрактного стола», каждый трамвай — «абстрактного трамвая» и пр.

Триаду «методика — метод — методология» нельзя сопоставлять, как это делает Ю. С. Степанов, с трейгеровскими терминами «предлингвистика — микролингвистика — металингвистика» (стр. 3), ибо Дж. Трейгер имел в виду всего лишь разделение наук, изучающих язык, на три группы в зависимости от трех возможных точек зрения (approaches) на язык¹³. Автор же на основе этого некорректного сопоставления делает многочисленные выводы о методологических различиях между советской и американской лингвистическими школами (стр. 5 и сл.).

Сопоставляя особенности этих школ, Ю. С. Степанов придает большое значение их отношению к так называемым «процедурам открытия» (стр. 9—11), что также неоправданно, ибо под «процедурой открытия» в лингвистике понимают обычно способы автоматического получения знаний о языке¹⁴. Это — устаревшая точка зрения, восходящая к Льюелю и Лейбницу, полагавшим, что можно создать готовые схемы, по которым новые научные знания будут получаться механическим путем. Естественно, что ни одна серьезная лингвистическая школа не может разделять этой точки зрения¹⁵, хотя ее иногда и высказывают отдельные увлекающиеся исследова-

тели¹⁶. В современной науке отрицание существования «процедур открытия» считается уже традиционным¹⁷ (в рецензируемой книге это воззрение считается почему-то связанным исключительно с теорией «порождающих грамматик», за что неожиданной критике подвергается Н. Хомский).

Термин «множество» в книге толкуется в непрофессиональном смысле как большее число объектов. Ср.: «хотя берется множество форм, по в сущности категория множества здесь совершенно необязательна, вполне достаточно оказывается сопоставление именно четырех форм...» (стр. 43). Из рассуждений автора на стр. 214 можно также вывести, что, по его мнению, два элемента еще не составляют множества, но четыре элемента — это уже множество¹⁸.

«Недискретность» Ю. С. Степанов понимает как эвристический принцип. Выясняется, что при этом он имеет в виду преимущественно паронимические отношения, возникающие в головах носителей языка между некоторыми словами. Непонятно, почему этому маргинальному явлению придается статус характерного современного «приема исследования» (стр. 52 и сл.)? Ельмслевский термин «катализи» автор понимает всего лишь как особый «способ записи» (стр. 15, 74 и др.)¹⁹. Ельмслевский термин «функция» корректируется в книге в духе его приближения к «логико-математическому прототипу» (стр. 236). Но у Л. Ельмслева речь шла о заведомо условном («техническом») употреблении этого термина²⁰. С другой стороны, усовершенствование Ю. С. Степанова приводит лишь к созданию поверхностной аналогии (стр. 257 и сл.). Пропорцию морфологических оппозиций *стол : стол = дом : домик* (стр. 42, 215) автор почему-то называет «логическим квадратом»²¹ и т. д.

Мы воздержимся от дальнейшей демонстрации весьма индивидуального подхода Ю. С. Степанова к содержанию общепотребительных терминов (многие из которых служат выражением базовых для данной работы понятий). Очевидно, что при таком либеральном подходе очень легко создавать и обосновывать самые

¹⁶ Р. В. Пазухин, О моделях вообще и моделях в лингвистике, «Вестник ЛГУ», 1975, 2, стр. 109 и сл.

¹⁷ Ср.: Дж. С. Милль, Система логики, I, СПб., 1865, стр. 11 и сл.

¹⁸ Ср.: Р. Курат, Г. Роббинс, Что такое математика?, М., 1967, стр. 136.

¹⁹ Ср.: Л. Ельмслев, Прологемы к теории языка, «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 349 и сл.

²⁰ Там же, стр. 293.

²¹ Ср.: Н. И. Кондаков, Логический словарь, М., 1971, стр. 274.

¹² Ср.: Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955, стр. 181.

¹³ G. L. Trager, The field of linguistics, Norman (Okla.), 1949, стр. 2, 4, 8.

¹⁴ Н. Хомский, Синтаксические структуры, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 457—458, 463.

¹⁵ Г. Глисон, указ. соч., стр. 107—108.

невероятные лингвистические концепции. Именно поэтому мы не можем принять «эстетического переосмысления» методов и принципов современной лингвистики, которое предлагает автор.

Итак, вместо того, чтобы водворить мир среди языковедов, рецензируемая книга снова возвращает нас к давнему спору о возможности формализации языковых описаний. Этот спор особенно обострился, как известно, после того, как некоторые логики предложили считать язык разновидностью комбинаторных систем, где все определяется набором исходных элементов и правилами их комбинирования²². Отсюда некоторые языковеды сделали поспешный вывод: «Лингвистика представляет собой прежде всего чисто комбинаторное изучение форм (shapes); оно состоит в установлении главных форм и в описании их сочетаний, характерных для данного языка. Описать какой-либо язык — это значит описать все предложения данного языка и в то же время исключить все непредложения»²³. Такой подход, как полагают, «освободил изучение языка от многих аспектов и понятий, которые не могут быть сделаны операциональными. Такие понятия, по большей части семантические, приводили лишь к разногласиям между лингвистами, к непонятным спорам, а также к запутыванию правильных рассуждений о языковых фактах»²⁴.

При разработке этой концепции языкознания не принималось, однако, во внимание классическое наблюдение А. Тарского, согласно которому язык (Umgangssprache) должен быть последовательно противопоставляем формализованным символическим системам (formalisierte Sprachen). Последние по необходимости обладают постоянным репертуаром символов с фиксированными значениями. По этой причине семантика принадлежащих к ним высказываний может быть сведена к синтактике, и именно это обстоятельство делает возможным их формализацию²⁵. Но языку

не свойственны такие фиксированность и замкнутость, и смысл речевых высказываний не определяется однозначно их формальной структурой (синтаксисом). Поэтому язык нельзя относить к классу формализуемых систем²⁶. В последнее время эта последняя точка зрения получила дополнительные подтверждения. Стало очевидным, что неопределенную изменчивость репертуара слов и их семантики следует считать не просто несобственным, но существенным признаком языка: лишенный ее, язык не смог бы функционировать как универсальное средство общения²⁷.

Из сказанного следует, что в языкознании (в отличие от того, что наблюдается в других науках) проблема формализации — не просто технический вопрос, связанный, как иногда полагают, лишь с усовершенствованием лингвистической методологии. В действительности за этой проблемой стоят два взаимоисключающих понимания природы языка. В конечном итоге отрицание или признание возможности «полной» формализации языка ведет к признанию языка соответственно или универсальным, или ограниченно выразительным кодом²⁸. И тот, кто пытается описывать какой-нибудь язык формальными методами (например, с помощью «порождающих грамматик»), тем самым и скрывает структуру языка, придавая последнему черты примитивного, ограниченного кода²⁹. Доводы, содержащиеся в книге Ю. С. Степанова, очевидно, не отрицают данной альтернативы и не способствуют ее решению в пользу «формалистов».

Пазухин Р. В.

²⁶ Там же, стр. 277.

²⁷ Ср.: Р. В. Пазухин, О месте языка в семнологической классификации, ВЯ, 1968, 3, стр. 63 и сл.

²⁸ Ср.: А. Тарский, указ. соч., стр. 278 и 281.

²⁹ Р. В. Пазухин, «Кибернетические» модели в лингвистике, ВЯ, 1976, 5, стр. 35. Это, очевидно, не относится к прикладным формальным описаниям языковых фактов, которые употребляются с учетом их неполной адекватности для достижения ограниченных практических целей.

²² Н. В. Суггу, R. Feys, Combinatory logic, Amsterdam, 1958, стр. 23.

²³ M. Gross, Mathematical models in linguistics, Englewood Cliffs, 1972, стр. 4.

²⁴ Там же, стр. 1.

²⁵ А. Тарский, Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen, «Studia philosophica», I, Lwów, 1935, стр. 279.

Ф. М. Березин. Русское языкознание конца XIX — начала XX в. — М., «Наука», 1976. 366 стр.

Новая книга исследователя истории отечественного языкознания Ф. М. Березина состоит из «Введения», 14 глав и «Приложения». Во «Введении» Ф. М. Березин излагает свою точку зрения на задачи размышлений в области истории науки: по его мнению, в противоположность широко представленному в исследованиях по истории языкознания «атомарному» подходу (описывается деятельность одного отдельного ученого или же коллектива ученых, но в частном разделе лингвистики) следует практиковать так называемый «обобщающий» подход (труд ученого анализируется и оценивается в совокупности его как языковых, так и общеполитических воззрений, непременно на фоне современного ему развития научной мысли и, наконец, с позиций непреходящего вклада исследователя в фонд лингвистических знаний наших дней). Собственно, декларации такого рода известны, однако автору рецензируемой монографии действительно удалось превратить этот принцип в жизнь: хотя и сам он в дальнейшем каждую главу (кроме 14-й) посвящает отдельному ученому, тем не менее, регулярно показывается преемственность концепций, их взаимозависимость (даже если их носители полемизируют между собой) и их место в процессе познания.

В основной части работы, придерживаясь хронологических рамок своего описания, Ф. М. Березин помещает научные биографии А. А. Потебни, Ф. Ф. Fortunatova, А. А. Шахматова, И. А. Бодуэна де Куртена, Н. В. Крушевского и В. А. Богородицкого. Обычно каждому ученому отведены две главы (разбор учения Ф. Ф. Fortunatova, правда, занял три главы): в одной из них излагается жизненный путь исследователя и его общелингвистические взгляды, а в другой специально разбирается тот частный раздел языкознания, в который исследователем был внесен наиболее существенный вклад (например, в учении А. А. Потебни отдельно анализируются его синтаксические построения, в системе Ф. Ф. Fortunatova — его сравнительно-историческая методика, в концепции И. А. Бодуэна де Куртена — вопросы морфологии и типологии языков и т. д.). Подобная композиция монографии представляется удачной: она позволяет, во-первых, охватить всю деятельность лингвиста целиком, а во-вторых, дает возможность сосредоточить внимание читателя на вполне конкретных достижениях рассматриваемого лица. Между прочим, по мнению пишущего эти строки, нередко как раз второе важнее — общая позиция может устареть, ее иногда из-за неясностей изложения просто трудно однозначно понять, а собранный и подвергнутый ана-

лизу позитивный материал обычно сохраняет свое значение навсегда.

В «Приложении» (оно весьма украшает книгу) Ф. М. Березин свел воедино описания архивов лингвистов, научные биографии которых даются. Хотя в большинстве случаев автор ссылается на уже опубликованные сведения, ряд указаний принадлежит ему лично, например, он описал рукописное наследие В. А. Богородицкого (стр. 342—344), а также архив Н. В. Крушевского (стр. 344—345), сохранившийся, как известно, только в бумагах В. А. Богородицкого. Если к описаниям архивов прибавить указания на обширную литературу вопроса (стр. 346—358), то можно утверждать, что перед нами библиографический справочник как собственных трудов Потебни, Fortunatova, Шахматова, Бодуэна де Куртена, Крушевского и Богородицкого, так и работ о них. К сожалению, в иностранной части этого раздела довольно много опечаток.

Рецензируемая книга в немалой своей доле перекликается с материалами, ранее опубликованными Ф. М. Березиным в его известных «Очерках по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.)» (М., 1968); совершенно новы только главы о Потебне. Правда, автор подчеркивает, что опубликованные главы заново просмотрены, но тем не менее перемены в его общей позиции не произошло. Так как «Очерки» уже подвергались серьезному разбору¹, в настоящей рецензии остановимся на тех разделах, которые еще не публиковались: это главы об Александре Афанасьевиче Потебне — ученом, личность и научная деятельность которого постоянно привлекают к себе внимание современных лингвистов².

¹ Мы имеем в виду, прежде всего, обстоятельное «Предисловие» к «Очеркам», написанное А. А. Леонтьевым, а также ряд печатных рецензий (см.: Т. Б а л и а ш в и л и, «Русский язык в грузинской школе», 1969, 4; В. D. J o h n s o n, «Linguistics», 80, 1972; Н. P o h r t, «Deutsche Literaturzeitung», Hf. 2, 1971; Z. B r o c k i, «Poradnik jezykowy», 1, 1973; J. G i r a l d o, «Thesaurus», 3, 1969.

² Характерно, что библиография работ А. А. Потебни и литературы о нем составила 600 наименований (см.: В. Ю. Ф р а н ч у к, Александр Опанасович Потебня, Київ, 1975, стр. 35—89). Ф. М. Березин творчески исследует научное наследие Потебни; см. его публикации: 1) «А. А. Потебня», в кн.: «Хрестоматия по истории русского языкознания» (под ред. Ф. П. Филина), М., 1973; 2) «К вопросу о философских основах лингвистической теории А. А. Потебни»,

Интерпретация научного (впрочем, и любого другого) произведения — дело трудное, ответственное и вызывающее споры. Хорошо известен соблазн «вычитывать» из анализируемого автора то, что созвучно веяниям времени, приписать ему одни мысли и устранить другие, а также усмотреть его приоритет, оригинальность в неясностях изложения или в туманных намеках, — лишь бы дать концепции ученого желательную оценку. Верно, что неадекватные и даже конфликтующие интерпретации в известной мере неизбежны: различные восприятия одного и того же текста обусловлены хотя бы возможностью выделения некоторых его фрагментов в ущерб другим; каждое поколение действительно прочитывает своих предшественников по-новому. Тем не менее, в исследованиях по истории науки принципиально важно сохранять временную перспективу (иначе не будет заметна смена идей); недопустимо, в частности, затушевывать слабые (с современной точки зрения) звенья в концепции³, наполнять удаленные от нас по времени формулировки современным пониманием, отрывочно цитировать, группировать разрозненные цитаты, делать заключения из случайных высказываний и т. д. Короче говоря, поскольку возможна более чем одна интерпретация любого текста, вероятно, и с толкованиями Ф. М. Березина можно поспорить, равно как открыта для дискуссии та интерпретация, которая будет выставлена нами в этом споре.

Новизна книги Ф. М. Березина состоит, в частности, в том, что он стремится поколебать распространенное среди специалистов мнение об определяющем влиянии на А. А. Потебню В. фон Гумбольдта. На стр. 15 своей книги исследователь пишет: «В критической литературе о Потебне встречаются утверждения, что он является проводником гумбольдтианских идей на русской почве. Такое мнение нуждается в существенном исправлении. Сама мысль о преемственности связи между взглядами Потебни и идеями Гумбольдта не вызывает сомнений. „Мысль

и язык“ пестрит цитатами и ссылками на Гумбольдта. Но формулам Гумбольдта Потебня придает иное лингвистическое истолкование, вкладывает в них другое содержание». Надо сказать, что сам Потебня, скорее всего, не видел необходимости давать Гумбольдту «иное истолкование», потому что его оценки этого ученого выдержаны в восторженных тонах⁴, потому что он причислял себя к ученикам немецкого лингвиста; тем не менее, вполне допустимо, что можно, на словах разделяя определенный взгляд, на деле его пересматривать. Ф. М. Березин указывает (правда, всего лишь по одному пункту; см. стр. 15), в чем же именно Потебня расходился с Гумбольдтом. Ф. М. Березин пишет: «Утверждение Гумбольдта о тождестве языка и духа (знаменитый „круг“ Гумбольдта: „без языка нет духа, и наоборот, без духа нет языка“) является, по мнению Потебни, „следствием каких-нибудь недоразумений“ (М. и яз., стр. 35)»⁵. Критикуя Гум-

⁴ Ср. главу «В. Гумбольдт» основополагающего исследования Потебни «Мысль и язык». Здесь и далее ссылаемся на последнее издание этого труда в кн.: А. А. Потебня, Эстетика и поэтика, М., 1976. (На другие цитируемые работы Потебни, если нет оговорки, ссылаемся по этому же изданию.) Начиная «Мысль и язык», Потебня так определяет название своего труда: «изложить некоторые черты той теории языка, основателем коей может считаться В. Гумбольдт» (стр. 35). Потебня называет В. Гумбольдта «великим мыслителем» (стр. 64), «гениальным предвестником новой теории языка» (стр. 72) и даже человеком, «который положил основание языковедению в нашем веке» («Из лекций по теории словесности», стр. 538).

⁵ В этом случае Ф. М. Березин ссылается на труд А. А. Потебни «Мысль и язык» издания 1913 г. В издании 1976 г. цитируемое место находится на стр. 67. Здесь и далее мысли Потебни черпаются преимущественно из работы «Мысль и язык», потому что она занимает в его научном наследии выдающееся место. Об этом весьма метко сказал М. С. Дринов: «Развитые здесь взгляды покойный автор проводил во всех последующих своих трудах, находящихся вследствие этого в столь тесной связи с его сочинением „Мысль и язык“, что читателю, не знакомому с последним, многое в них будет представляться неясным, недосказанным. Это особенно может относиться к запискам А. А-ча по русской грамматике. Здесь, рассыпая поражающие меткостью и новизной выводы при анализе отдельных явлений, он мало заботится об общей связи между частными своими наблюдениями, полагая, по-видимому, что читатели и сами сумеют найти ее при помощи сочинения „Мысль и язык“».

в об.: «Теория и история языкознания», II — Методологические проблемы истории языкознания. Реферативный сборник, М., 1974; 3) «Учение А. А. Потебни о чашах речи», в об.: «Вопросы филологии. К семидесятилетию со дня рождения и пятидесятилетию научно-педагогической деятельности... Алексея Никитича Стеценко», М., 1974; 4) «Лингвистические взгляды А. А. Потебни», в кн.: Ф. М. Березин, История лингвистических учений, М., 1975; 5) «Основные элементы синтаксичной системы О. О. Потебни», журн. «Мовознавство», 1975, 5.

³ По словам А. Х. Востокова, должна быть видна и светлая, и туманная сторона древности.

больдта за то, что тот не сумел оторваться от такой метафизической точки зрения, Потебня соглашается с тем, что дух без языка невозможен, но придает духу иное, материалистическое толкование: „Принявши... дух в смысле сознательной умственной деятельности, предполагающей понятия, которые образуются только посредством слова, мы увидим, что дух без языка невозможен, потому что сам образуется при помощи языка, и язык в нем есть первое по времени событие“ (М. и яз., стр. 37).

Аргументация интерпретатора противоречива. С одной стороны, говорится, что мысль Гумбольдта о неразрывности языка и духа («без духа нет языка и без языка нет духа»), как якобы полагает Потебня, — следствие недоразумения. Итак, мы ожидаем, что Потебня будет учить об отдельном, самостоятельном существовании языка и духа. Однако, с другой стороны, в подтверждение этого суждения приводится выписка из Потебни, в которой как раз сказано, что «дух без языка невозможен». У кого же противоречие: у интерпретируемого или у интерпретатора? К сожалению, у второго. Фразу, в которой говорится о «недоразумениях», Ф. М. Березин не докончил. В полном виде она читается следующим образом: «Но если Гумбольдт утверждает тождество (хотя бы даже и высшее) языка и духа, если он старается выйти из круга: „без языка нет духа, и наоборот — без духа нет языка“ таким образом, что возводит рядом и дух и язык к высшему началу, то это должно быть следствием каких-нибудь недоразумений»⁶. Из приведенной цитаты видно, что Потебня протестует не против тождества языка и духа, а как раз против попыток разрушить связь между ними, пусть даже путем обращения к «высшему началу». Таким образом, в вопросе характеристики связи между языком и духом обоих ученых нельзя противопоставлять друг другу.

На данном примере особенно заметно, что извлечение цитат из связного изложения порождает путаницу. Потебня в своих рассуждениях о духе и языке оперирует не двумя, а по крайней мере четырьмя мыслемыми сущностями, поэтому если интерпретатор представляет его концепцию двучленной, он вольно или невольно обедняет ее.

представляющего стройное и полное изложение почти всех основных взглядов покойного на отношение слова к мысли. Этим своим взглядом Ал. А-ч твердо держался до конца жизни...» («Записка о сочинении А. А. Потебни „Мысль и язык“», «Сборник Харьковского историко-филологического общества», 4, Харьков, 1892, стр. 69).

⁶ А. А. Потебня, Эстетика и поэтика, стр. 67 (далее указания на страницы даны в тексте).

На самом деле: дух для Потебни — это отнюдь не вся психическая деятельность человека, не противоположность материи, а лишь «сознательная умственная деятельность», предполагающая понятия и соответственно слова, т. е. это, как бы мы сейчас сказали, вербализованная внутренняя речь. (Так термин дух излагается только в «Мысли и языке»; в других своих работах Потебня понимает его в обычном философском смысле.) В этом контексте и надо воспринимать высказывание ученого о соподчинении трех членов его концепции: «Язык и дух, взятые в смысле последовательных проявлений душевной жизни, мы можем вместе выводить из „глубины индивидуальности“⁴, то есть из души и как начала, производящего эти явления и обуславливающего их своею сокровенною сущностью» (стр. 69).

Четвертым членом концепции Потебни является мысль, которая, в его понимании, соположена, равноположена духу, отличаясь от последнего степенью связи с языком. Если, как мы видели, «дух без языка невозможен», то «область языка далеко не совпадает с областью мысли» (стр. 68). Потебня многократно, настойчиво, с большой убежденностью подчеркивает нетождественность языка и мысли и, в частности, слова и мысли. «В середине человеческого развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-видимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее ее требованиям...» (стр. 68). Обоснованию этого тезиса, собственно и подчинена вся книга («Мысль и язык», и, в частности, именно на нем покоится известное учение харьковского языковеда о ближайшем и дальнейшем значении слова⁷.

⁷ Потебня тщательно собрал и систематизировал аргументы, согласно которым каждый человек сопологает с внешней формой слова свое собственное содержание. Ссылаясь на Гумбольдта, он пишет (и многократно повторяет эту мысль в других работах), что «никто не понимает слова именно так как другой... Всякое понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях вместе разногласие» (стр. 61). Слова возбуждают в сознании говорящих «соответствующие, но не те же понятия» (стр. 140). Лишь часть семантики слова (называемая ученым по-разному: внутренняя форма, ближайшее этимологическое значение, предствление; см. стр. 146) признается им социальной; он называет ее «субъективной мыслью, независимую от понимания отдельных лиц» (стр. 106). Короче говоря, то, что сейчас мы называем лексическим понятием, согласно Потебне, есть связано с внешней формой слова (т. е., в современных терминах, лексемой) неразрывной

Итак, рассуждения Потебни об идеальном и материальном в языке, о соотношении «членораздельной речи» и мысли весьма сложны для интерпретации, вплоть до действительной возможности взаимоисключающих пониманий.

Упомянутое учение о ближайшем и дальнейшем значении слова проще и, так сказать, нагляднее. Ф. М. Березин приводит соответствующую выписку из «Мысли и языка» (правда, текстуально не совсем точно, см. стр. 34 рецензируемой монографии; мы приводим цитату по первоисточнику): «В слове есть... два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключающее в себе только один признак; другое — субъективное содержание, в котором признаков может быть множество» (стр. 114). Далее Ф. М. Березин показывает переключку этой концепции Потебни с точкой зрения С. Д. Кацнельсона, который ввел в лексикологию разграничение формальных и содержательных понятий⁸. И вот здесь снова возникают трудности для интерпретации, связанные с различными пониманиями ближайшего значения слова, свойственными Потебне.

В приведенной цитате сам ученый называет ближайшее значение этимологическим, причем, по его мнению, эта семантика слова в момент его реального употребления в сознании отсутствует: «Под словом *окно* мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом *око*, оно значит то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия» (стр. 114). Ближайшее значение отождествляется с внутренней формой слова, которая, естественно, может быть и мертвой (так возникает, по терминологии Потебни, прозаическое слово). Следовательно, должны быть мыслимы слова без ближайшего значения слова⁹. Таково понимание ближайшего значения слова в работе «Мысль и язык».

связью; лексическое понятие обладает самостоятельным существованием.

Это положение многократно дискутировалось в различных лингвистических концепциях и остро оспаривалось. Мы в свое время собрали немалое количество фактического материала в поддержку позиции Потебни (см.: Е. М. Верещагин, Слово: соотношение планов содержания и выражения, сб. «Проблемы порождения речи и обучения языку», М., 1967).

⁸ С. Д. Кацнельсон, Содержание слова, значение и обозначение, М.—Л., 1965.

⁹ А. А. Потебня говорит об этом, приводя как пример слово *рыба* («представления о нем вовсе нет, ово потеряно»), в кн. «Из записок по русской грамматике» (I—II, М., 1958, стр. 49).

В более позднем труде «Из записок по русской грамматике» ближайшее и дальнейшее значения слова трактуются по-иному. В этой книге проводится глубокая мысль о разнице между словами и двоименными им терминами, о существовании лексических понятий и тех совокупностей сведений, которые относятся к явлению, называемому словом. А. А. Потебня пишет: «Что такое „значение слова“? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела. Так как говорится о всевозможных вещах, то без упомянутого ограничения языкознание заключало бы в себе, кроме своего неоспоримого содержания, о котором не судит никакая другая наука, еще содержание всех прочих наук. Напр., говоря о значении слова *дерево*, мы должны бы перейти в область ботаники, а по поводу слова *причина* или причинного союза — трактовать о причинности в мире. Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одна, подлежащая ведению языкознания, назовем *б л и ж а й ш и м*, другую, составляющую предмет других наук, — *д а л ь н е й ш и м* значением *с л о в а*. Только ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова»¹⁰. Здесь ближайшее значение слова не отождествляется более его внутренней форме; ближайшее значение практически совпадает с тем, что называется обыденным, необходимым, житейским или просто лексическим понятием, а дальнейшее — с научным, так что указанная Потебней противоположность между ближайшими и дальними значениями слов образует хорошо известный в лексикографии водораздел между энциклопедическими и филологическими словарями¹¹.

Как мы видим, ближайшее значение в «Мысли и языке» и ближайшее значение в работе «Из записок по русской грамматике» — вербально совпадающие, но содержательно совершенно разные термины. Между тем Ф. М. Березин не отметил этого различия, а уже разобранную нами выписку из Потебни, в которой ближайшее значение слова равно его внутренней форме, он прилагает к концепции Кацнельсона, к которой, вообще говоря,

¹⁰ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, стр. 49.

¹¹ Об этом подробнее писал Л. В. Щерба, который показал, какова разница между филологическим и энциклопедическим описаниями семантики слов типа *золотник* (в машине), *прямая* (линия). См.: Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, в его кн.: «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 280.

взгляды Потебни имеют прямое отношение, но только если ближайшее значение слова понимать как обиходное лексическое понятие.

Итак, чтение книги Ф. М. Березина показывает, что возможны расхождения по поводу отдельных интерпретаций: например, на наш взгляд, неточные истолкования возникли из-за внеконтекстного, неполного цитирования и из-за недостаточного учета диванки или даже противоречивости воззрений известного лингвиста. Возможны и расхождения по поводу отдельных оценок: в частности, едва ли справедлив тезис о том, что Потебня не является проводником гумбольдтианских идей на русской почве. Потебне следует поставить в непреходящую заслугу популяризацию лингвистических трудов Гумбольдта в России, потому что они были безусловно прогрессивны для своего времени, да и сейчас они, впрочем, все еще определяют ход лингвистической дискуссии.

В целом же внимательный разбор трактовок Ф. М. Березина, содержащийся в обеих главах, посвященных Потебне,

показывает, что в большинстве случаев автор рассматриваемой монографии, конечно, излагает научную позицию великого ученого вполне адекватно, ясно, последовательно, убедительно и с долей личной заинтересованности, человеческой теплоты.

В целом книга Ф. М. Березина оставляет благоприятное впечатление. Она дает достаточно полное и законченное представление о развитии отечественной мысли в лице ее наиболее оригинальных и авторитетных представителей. Монография, таким образом, значительна для сложившихся специалистов, но еще больше пользы она принесет начинающим лингвистам, тем, кто изучает филологию, готовит себя к научной работе в области лингвистики. Чтение первоисточников в процессе изучения курса истории лингвистических учений, естественно, остается обязательным, а книга Ф. М. Березина может служить надежным руководством в море языковедческой литературы.

Верецагин Е. М.

О. А. Лаптева. Русский разговорный синтаксис. — М., «Наука», 1976. 397 стр.

Задача всестороннего описания спонтанной русской разговорной речи поставлена современной лингвистикой немногим больше десяти лет тому назад, но в этой совсем молодой еще области науки есть уже, несомненно, значительные достижения¹. В наиболее крупных работах обращают на себя внимание последовательное углубление проблематики, отчетливое стремление авторов расширить круг привлекаемых к изучению вопросов и самих описываемых явлений, использовать материал, который не рассматривался еще другими исследователями. Это относится и к рецензируемой книге О. А. Лаптевой. Основные задачи книги заключаются в том, чтобы проанализировать синтаксические построения, которые можно считать корпусом, костяком синтаксической системы разговорной речи (построения, названные автором типизированными), и на основе этого выяснить принцип устройства поля устно-разговорного синтаксиса. Решением этих кардинальных для изучения синтаксиса раз-

говорной речи задач и обеспечиваются наиболее важные результаты исследования. Обобщение типового материала дает возможность построить описание устно-разговорного синтаксиса по принципу выделения моделей, модификаций моделей и конкретных их реализаций в речи, а это уже позволяет получить своеобразную грамматику синтаксического уровня изучаемой разновидности современного русского литературного языка. Свообразие такой грамматики отражает специфику избранного для описания объекта.

Применение системного подхода к изучаемому объекту дает автору возможность вскрыть системный характер устройства устно-разговорного синтаксиса в целом и установить, что ведущим в организации устно-разговорного синтаксического поля является принцип волн с перемежающимися и переливающимися одна в другую зонами сгущения и разрежения характерных черт модели. В работе убедительно доказано (и эти разделы выполнены особенно тонко, филигранно), что такое устройство позволяет полю быть непрерывным, диффузным, не иметь четких границ между зонами, представляющими разные модели. Следует отметить, что сделанный О. А. Лаптевой вывод об устройстве синтаксического поля разговорной речи подтверждается и фактическим материалом, имеющимся к настоящему времени в распоряжении науки.

¹ См.: А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, Душанбе, 1964; «Русская разговорная речь», отв. ред. Е. А. Земская, М., 1973; Kolektiv rusistů UK, Problémy běžně mluveného jazyka, zvláště v ruštině, «Slavia», XLII, 1, 1973; О. Б. Сиротина, Современная разговорная речь и ее особенности, М., 1974.

и другими работами в области синтаксиса современной русской разговорной речи².

Если подходить к вопросу широко, то становится очевидным, что в данном случае взаимно поддерживаются и углубляются основные выводы таких двух самых крупных исследований в области изучения живой современной русской разговорной речи, как книга «Русская разговорная речь» (М., 1973, отв. ред. Е. А. Земская) и рецензируемая книга О. А. Лаптевой. Описание материала, касающегося разных уровней, в «Русской разговорной речи» выполнено под одним и тем же углом зрения — «как изучение явлений синкретизма и расчлененности в системе»³. Но ведь расчлененность делает в конечном итоге все типичные характеристики разговорной речи четкими, а синкретизм в той или иной степени сглаживает границы между ними, в результате чего на всех уровнях разговорной речи создаются зоны сгущения и разрежения признаков. Все это свидетельствует о том, что вскрыто подлинное, причем универсальное свойство синтаксиса разговорной речи, позволяющее объяснить многие ее особенности, и что выводы, сделанные О. А. Лаптевой на синтаксическом материале, есть основания экстраполировать и на другие уровни.

Книга состоит из двух органически связанных между собой частей. В первой части определяется функциональный статус синтаксиса устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка, а во второй — его структурный статус. Действительно, выяснению устройства устно-разговорной разновидности должно предшествовать определение самого понятия «устно-разговорная разновидность русского литературного языка» и установление ее наиболее существенных характеристик, всех ее связей в составе русского национального языка, и прежде всего — в составе современного русского литературного языка. Поэтому в первой части работы анализируемый объект рассматривается в аспекте его внешних связей и экстралингвистических характеристик, а во второй части — в аспекте его внутри-системной организации.

В первой части книги рассмотрены принципиально важные для теории разговорной речи вопросы. Оставшимся лишь на тех, которые представляются наиболее существенными.

В связи с тем, что любая разновидность национального языка функционирует в определенных экстралингвистических условиях, О. А. Лаптева уделяет большое внимание выяснению экстралингви-

стических параметров разговорной речи, но к определению статуса разговорной речи она подходит прежде всего с позиций лингвистических⁴. Естественно, что при этом имеются в виду не конкретные лингвистические признаки объекта (на данном этапе его изучения это не только не представляется возможным, но для решения поставленных задач не является и существенным), а показатели самого общего характера, тесно связанные с экстралингвистическими условиями функционирования разговорной речи, причем показатели эти берутся многопланово. Так, устанавливаются связи и отношения устно-разговорной разновидности литературного языка со стилями письменно-литературного языка, с проявлениями кодифицированного литературного языка в устной форме, с разговорным типом письменно-литературного языка и с другими устными разновидностями русского национального языка, а одновременно с выяснением этих связей рассматриваются признаки разговорной речи, носящие парный характер, и выясняется способность первого члена пары выступать в качестве собственного показателя устно-разговорной речи в отличие от иных типов речи. Имеются в виду оппозиции, перечисленные на стр. 6—7 книги: устная речь — речь письменная, речь разговорная — речь книжная, речь некодифицированная — речь кодифицированная, речь диалогическая — речь монологическая и пр. Это позволяет автору вскрыть собственную специфику объекта.

Сопоставляя устно-разговорную разновидность со стилем, О. А. Лаптева отмечает как черты сходства, так и черты различия. Для устно-разговорной разновидности характерна гораздо большая, чем для стили, усложненность основной функции и ее коммуникативной сферы, что приводит к стилистическому расчленению этой сферы (см. стр. 11, 17, 39—40, 96, 99 и др.). Базой, основой последующих коммуникативно-функциональных градаций, как справедливо замечает автор, являются нейтральные языковые средства, которые играют ведущую роль в обеспечении собственно языкового единства литературного языка: «и стили, и устно-разговорная разновидность входят в общую систему литературного языка в качестве его подсистем с открытым характером системности» (стр. 19). В настоящее время дискуссия о том, является ли разговорная речь самостоятельной системой или реализует одну из подсистем единой языковой системы (как отмечает это и О. А. Лаптева), представляется собой лишь вопрос терминологический, так как «каждая подсистема есть одновре-

² См., например: Н. И. Кузнецова, Атрибутивные отношения и их выражение в русской литературной разговорной речи. КД, Саратов, 1974.

³ «Русская разговорная речь», стр. 31.

⁴ Новейшая попытка интерпретации статуса литературного языка представлена в кн.: A. Jedlička, Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha, 1974.

менно система»: относительный, а не абсолютный характер этих понятий обеспечивается иерархичностью системной организации литературного языка (стр. 19). В пользу этого мнения можно привести и следующие аргументы. Во-первых, у языка в целом и у разговорной речи в частности является единой самая общая цель — служить средством общения, а различаются более частные цели — служить средством общения в определенных условиях. У разных систем также может быть единая цель, но тогда совершенно различными будут средства достижения этой цели. Во-вторых, набор общих, нерелевантных показателей, который есть у литературного языка и разговорной речи, представляет собой отнюдь не случайное совпадение единичных компонентов, как бывает в разных языках, а совпадение в существенных, определяющих систему признаков.

Большое значение, в том числе и практическое, имеет разработка О. А. Лаптевой проблемы нормативности устно-разговорной разновидности литературного языка. Принципиально важным является вывод о том, что устно-разговорная разновидность не только обладает своей нормативностью, но что степень этой нормативности, обязательности норм не ниже, а в известной мере выше нормативности общелитературной. В работе вскрыта и специфика норм устно-разговорной разновидности, и те тенденции, которыми эта специфика обусловлена. Доказательно проиллюстрированы такие признаки устно-разговорной нормы, как особый ее динамизм, сочетание монолитности нормы в отношении одних явлений с большой дробностью в отношении других, своеобразный характер вариативности. Показано, что на нормах устно-разговорной разновидности в области синтаксиса сказывается, с одной стороны, свойство автоматизма спонтанной разговорной речи, а с другой — слабоформальность ее построений, а также то обстоятельство, что формируются эти нормы на пересечении двух осей координат (устная форма реализации и вхождение в состав литературного языка). В результате этого нормы устно-литературной разновидности предстают в тройном виде: нормы общелитературные кодифицированные, нормы общелитературные смещенные, нормы собственно устно-литературные некодифицированные. Вообще особенностью книги является рассмотрение и объекта изучения в целом, и отдельных его параметров в самых разнообразных аспектах, взаимосвязях и взаимовлияниях диалектично и гибко. С этих позиций характеризуются, например, признак ситуативно-тематической обусловленности устно-разговорной разновидности, ее взаимоотношения с диалектами, просторечьем, жаргонами, с такими ее антиподами в пределах литературного

языка, как научный и канцелярско-деловой стили, рассматриваются репродукция живой разговорной речи в художественной литературе, локальные и жаровые варианты, оценивается условность различения диалога и монолога, анализируется вопрос о взаимопереводимости и синонимии разностилевых и общелитературных языковых средств.

Естественно, что в книге, посвященной почти совсем еще не изученной проблеме лингвистического описания разговорной речи и написанной таким образом, что не обходится ни одна из дискуссионных точек этой проблемы, есть положения, которые могут вызывать возражения. Но необходимо отметить, что те возражения и сомнения, которые представляются наиболее существенными, оказываются результатом разных подходов к одним и тем же вопросам. В ряде случаев возражения, по существу, сводятся к использованию терминологии. Так, например, представляется неправомерным включение в устно-разговорную разновидность всех жанров публичных выступлений (ведь о том, что акцент в исследовании сделан именно на речи разговорной, свидетельствует уже заглавие книги — «Русский разговорный синтаксис»). Тот факт, что публичная речь какой-то своей частью лежит на пересечении характеристик обиходно-бытовой речи, для обозначения которой принято обычно использовать термин «разговорная речь», сомнения не вызывает. Но для самой разговорной речи эти области не типичны, периферийны. Включение речи публичных выступлений в целом в ту же разновидность современного литературного языка, в которую включена речь разговорная, делает границы разговорной речи слишком широкими и недостаточно определенными. Следовательно, для изучения ядра, корпуса разговорной речи такой подход вряд ли можно считать вполне корректным. Но все же следует признать, что у обиходно-бытовой и публичной речи есть объединяющие их характеристики. Кроме средств нейтральных, это прежде всего устная форма функционирования.

Во второй части работы на материале предикативных конструкций определяется структурный статус разновидности современного русского литературного языка, которая обозначена термином «устно-разговорная».

Большое значение для осознания специфики устно-разговорного синтаксиса имеет уже самое общее деление его предикативных конструкций на три группы: на слабоформальные, клишированные и типизированные построения, представляющие собой синтаксические модели. Нужно сказать, что область типизированных построений, существование которых в устно-разговорной речи многими не признается вообще, в действительности еще шире, чем это представлено в кни-

ге. Об этом может, допустим, свидетельствовать такой показательный факт: в числе слабооформленных О. А. Лаптева привела ряд примеров, которые, если их рассмотреть в ином аспекте, выделяются в группы построений типизированных. Например: *Ты не съешь бутербродик с сыром? А то мне/лишнее я сделала// Ср.: А то мне много, лишнее я сделала; Мы жили вдвоем/такая/ смежные две комнаты// Ср.:... такая квартира: смежные две комнаты; Я думаю, дыню нужно/ недолго чтоб она лежала// Ср.: Я думаю, дыню нужно съест (скорее съест и под.), недолго чтоб она лежала.* Естественно, нельзя свести все слабооформленные построения к типизированным, ибо, как правильно отмечено О. А. Лаптевой, синтаксис, представленный одними лишь сгущениями характерных свойств модели, не мог бы полностью отвечать свойству спонтанности речевого акта, «раскованному», ассоциативному ходу мыслительно-речевого процесса. Книга О. А. Лаптевой, основным предметом исследования в которой являются именно построения типизированные, конечно, не просто прольет свет на разнообразие и очень мало известные факты, а благотворно отразится на психологии восприятия и оценки некодифицированных явлений живой разговорной речи, оказывающей в наше время большое влияние на формирование и развитие русского литературного языка в целом.

В работе вскрывается действие ряда принципов организации устного высказывания (принципа отсутствия предварительного обдумывания; линейно-динамического принципа, согласно которому информативные центры высказывания доносятся до слушателя раздельно, а наиболее информативно значимый центр высказывания стремится занять инициальное положение; принципа чередования ударных и безударных высказываний и принципа превалирования семантического плана высказывания над формальным), что, конечно, имеет значение для изучения устно-разговорной речи в целом, а не одного лишь ее синтаксического уровня. Вся вторая часть книги пронизана единой идеей — идеей системного описания типизированных устно-разговорных конструкций.

На основе определения функционального статуса устно-разговорного синтаксиса и по формальным показателям устанавливаются признаки типизированных построений, позволяющие отграничивать их от построений нетипизированных (см. стр. 125—126). Затем выясняется внутренняя организация устно-разговорной синтаксической модели: такая модель представляет собой трехчленный гомофункциональный синтаксический ряд, состоящий из собственно модели, ее структурных модификаций и их конкретных речевых реализаций. Собственно модель

представляет собою сгущение структурно-функциональных признаков, отличающих ее от других моделей; в модификациях модели сохраняются основные структурные свойства модели и при этом обнаруживается какое-либо дополнительное свойство (или ряд свойств); реализации модели и ее модификаций проявляются в речевом потоке многообразно и разнообразно, но сохраняют при этом ведущие структурно-функциональные свойства модели (и дополнительные свойства модификации), отличаясь от нее и различаясь между собой характеристиками второстепенными. Как известно, модель в современной лингвистике обычно расширяется как набор одних лишь постоянных признаков, но ведь существуют, кроме того, и стабильно воспроизводимые варианты модели, включающие, наряду с постоянными, строго определенными переменными признаками. Эти модификации обычно лингвистами отмечаются, но за пределы модели выводятся. На наш же взгляд, объединение собственно моделей и стабильных их вариантов в определенное синтаксическое единство (конкретная терминология здесь роли не играет) принципиально важно, ибо отражает их общую языковую природу: ведь языковая система, состоящая из одних наборов с постоянными признаками, статична, не в состоянии действовать. Модели и их модификации, единицы языковые, реализуются в речи. И эти конкретные речевые реализации мы под единым термином «модель» не объединили бы; желательна быстрая дифференциация понятий, связанных с оппозицией «язык/речь»⁵. Но самый факт трехчленной структуры гомофункционального синтаксического ряда сомнения не вызывает: этот ряд состоит на уровне речи из реализации модели, реализации модификаций модели и реализаций с второстепенными характеристиками.

Кроме рядов гомофункциональных, выделяются и ряды гетерофункциональных, синонимические. Организация всего фактического материала в синтаксические ряды этих двух типов позволила установить системный характер устройства поля устно-разговорного синтаксиса, определить основной принцип организации этого поля — его гибкость, текучесть, континуальность, плавные переходы от центров к периферии, четкость центральных и диффузность периферийных областей, выразить и своеобразие этого поля и вместе с тем единство современного русского литературного синтаксиса в целом.

В книге разработана методика описания выделяемых типизированных кон-

⁵ См. в связи с этим: Г. Г. И н ф а н т о в а, Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи, Ростов-на-Дону, 1973, стр. 34—42.

струкций. Новизна подхода к типизированным построениям заключается в сопоставлении их с некоторым корпусом разнородных в формальном отношении, однако организуемых по определенному принципу конструкций, которые, не характеризуясь едиными формальными признаками, представляют собою устно-речевую базу типизированных построений. В результате этого выделяются более широкие и менее широкие области явлений, порожденных одними и теми же устно-речевыми закономерностями. При изучении явлений каждого типа обобщению подвергается материал, однородный по своим формальным признакам. Работа выполнена методом, который назван методом формально-семантического и функционального описания. Для изучения избраны шесть конструкций из состава корпуса устно-разговорного синтаксиса. Однако состав этого корпуса, конечно, не замкнут, так что предлагаемая методика описания синтаксических построений может найти широкое применение при дальнейшем изучении устно-разговорного синтаксиса. Вообще в книге О. А. Лаптевой заложен большой резерв возможности продолжения исследований в области синтаксиса устно-разговорной разновидности. Эти возможности отражены и «открытым текстом» (см. на стр. 374—375 перечень вопросов, ждущих своей постановки и решения), и «скрытым» (много их, например, в разделах, посвященных дискуссионным проблемам, и в иллюстративном материале).

В соответствии с принятой методикой в работе четко определены признаки каждой из анализируемых моделей и признаки модификаций моделей, варьируемые и варьируемые. В отдельных случаях, правда, как это отмечает и О. А. Лаптева, целесообразность выделения той или иной модификации или ее признаки могут быть оспорены. Так, например, модификация 14 явления, названного термином «именительный темп», выделена на том основании, что от модификации 13 ее отличает отсутствие атрибутивных распространителей при именной темпе, который предстает как одиночная форма, т. е. отличает признак, не относящийся к числу существенных. В основу выделения ряда модификаций бессознательных подчинительных конструкций положена разница во временных формах глагола, являющегося сказуемым придаточной части, т. е. признак морфологический, а не синтаксический (см., например, стр. 298—300). Но, конечно, сразу дать вполне завершённую классификацию такой массы самых разнообразных явлений невозможно. Кроме того, следует учитывать, что выделение той или иной группы фактов в качестве модификации иногда диктуется объективными причинами, не связанными с формально-логическими характеристиками явления

(узусом, реальной представленностью, распределенностью материала в речи и т. д.; см. стр. 372).

Некоторые модификации моделей представляют собой явления промежуточные. В именной темпе, например, такой характер имеет модификация 8, занимающая промежуточное положение между модификациями I и II группы (см. стр. 148), и модификации 13, 14, занимающие промежуточное положение между именной темпе и предложениями простого состава, которые рассматриваются в связи с явлениями экспансии именной темпе (стр. 158—160). Наличие модификаций такого рода при континуальном устройстве поля устно-разговорного синтаксиса вполне естественно. Промежуточное положение модификаций при их описании в тексте книги обычно отмечается. Целесообразно было бы отразить это и в общей системе классификации модификаций модели, выделив промежуточные модификации в отдельную рубрику.

Выводы этой части работы убедительно обоснованы большим количеством иллюстративного материала. Правда, в составе иллюстраций можно найти отдельные примеры, не с полной несомненностью относящиеся к типам, в которые они включены. Но запас прочности фактического материала во всех без исключения случаях так велик, что один-два сомнительных или неудачных примера не могут отразиться на правомерности выделения типа построений. Так, в составе многочисленных иллюстраций разновидности 2 модификации 11 именной темпе приведен пример, который следовало бы отнести к разновидности 4: *Раньше продавали такие рисунки делала* (стр. 152). Но иллюстративный материал модификации 11 в целом дает основания для объединения разновидностей 1—3 и разновидности 4 в пределах одной модификации. Для этого следует сопоставить примеры таких типов: *Ты помнишь картину мы смотрели; Ты помнишь фильм шел мы смотрели; Ты помнишь фильм мы смотрели*. Ср. также: *Раньше продавали такие рисунки были; Раньше продавали такие рисунки делали*. Наличием подобных случаев наглядно подтверждается одна из основных идей работы — вывод о континуальном устройстве поля устно-разговорного синтаксиса: переходы от типичного к нетипичному, от четкого к менее четкому очень плавны, и в результате этих переходов оказываются связанными совсем различные с точки зрения кодифицированной грамматики явления.

Обилие материала в книге такое, что автору не составляло, конечно, особого труда отобрать лишь самое типичное и бесспорное, но тогда не была бы отражена эта живая игра красок непринужденной

спонтанной речи. Именно стремление не отмахнуться ни от одного из фактов, попавших в поле зрения исследователя, придает иллюстрациям книги особую прелесть. Можно лишь порекомендовать, во-первых, во всех absolutely группах примеров располагать материал еще более строго по направлению от центра к периферии, а во-вторых, при дальнейшем изучении континуальной структуры поля использовать специальный значок, за которым давались бы примеры, констатирующие признаки разнотипные.

Следует учитывать, что на оценке синтаксических фактов, в том числе и с точки зрения их типичности/нетипичности, при всех условиях неизбежно скажутся многие обстоятельства. Неповторимый динамизм, разнообразие возможностей в синтаксисе разговорной речи обычно тесно связаны с конкретным интонационным воплощением синтаксического построения. Нужно сказать, что автором рецензируемой книги часто это учитывается и даются пояснения относительно того, с какой интонацией были произнесены те или иные высказывания (см. стр. 150, 159, 160, 169, 209 и мн. др.). Но в ряде случаев возможности неоднозначного суперсегментного оформления высказывания не комментируются или в графическом оформлении примера не отражается интонация, с которой высказывание было произнесено. Так, видимо, не было бы недоразумений в восприятии вызвавшего бурное пуристическое обсуждение примера *Четыре копейки, граждане, за проезд оплачивайте*, если бы было подчеркнуто, что по-разному произносится ... *оплачивайте за проезд* (вместо *оплачивайте проезд*) и *Четыре копейки, граждане, за проезд, оплачивайте [проезд]* (с некоторым перепадом тона между словами *проезд* и *оплачивайте*, а возможно, и с небольшой темпоральной паузой при общем тоне «взвизывания» форм).

В организации сегментного состава синтаксических построений и в их суперсегментном оформлении вообще таятся большие возможности для дальнейшего изучения разговорной речи во всех ее проявлениях. Так, например, в результате аудиторского анализа и интонограмм высказываний с наложением, выполненных на интонографе И-67 в Лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи МГПИИЯ им. Мориса Тореза (консультант — зав. лабораторией Л. П. Блохина), *оказались возможными* уточнить предлагаемые в книге О. А. Лаптевой интонационные характеристики таких высказываний. В частности, выяснилось, что не может считаться релевантным для высказываний с наложением интонирование общего члена на тоне повышения (ИК-1), но что, действительно, динамическое усиление интенсивности звучания на нем возможно (вообще отчетливо проявляется тенденция к выде-

лению общего члена разными интонационными средствами). Большие ресурсы для дальнейших исследований заложены также в идее О. А. Лаптевой о совпадении в разговорной речи психологически несходных моделей на уровне их реализации (см. стр. 297 и др.).

Все шесть анализируемых в книге явлений сопоставляются с аналогичными явлениями в речи диалектной, что позволяет обнаружить, что речи диалектной свойственны не только иной состав, но и иная функциональная распределенность синтаксических средств. Эти разделы, конечно, будут способствовать продолжению подобных сопоставлений, что важно и для изучения диалектов, и для всестороннего изучения устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка.

Во второй части книги рассмотрены вопросы, которые представляют интерес не только теоретический, но и практический. Сюда можно отнести, например, выяснение закономерностей способов словорасположения, в том числе и закономерностей ассоциативного «наизвывания» слов; наблюдения над чередованием в устно-разговорной речи ударных и безударных звеньев, над взаимосвязью ритма и словорасположения; выделение по признаку степени коммуникативной (информативной) нагрузки такой единицы актуального членения, как коммуникативный (информативный) центр, и вывод о влиянии на организацию устно-разговорного построения центров с разной информативной нагрузкой. Эти наблюдения и выводы могут быть использованы в практике преподавания русского языка как русским, так и нерусским.

Безусловно, и во второй части книги есть моменты дискуссионные. Представляется, например, слишком широким использование термина «ментальный темп». По уже довольно прочной традиции он закрепился за гораздо более узким кругом явлений. Однако все построения, рассматриваемые автором книги под данным термином, несмотря на свое структурное разнообразие, подчинены одним и тем же общим тенденциям и обладают общими признаками (стр. 162—163).

Обращает на себя внимание, что все основные выводы книги наглядно представлены в схемах и таблицах; библиография, данная по тематическому принципу в тексте книги и в ее конце списком, к моменту завершения работы является очень полной.

Несомненно, что, будучи выполненным на специальном материале, оригинальное и глубокое исследование О. А. Лаптевой имеет большое значение не только для проблемы описания спонтанной русской разговорной речи, но и для лингвистической теории вообще.

К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова.
Фразеологичен речник на българския език, I (А — Н). —
 София, изд-во на Българската академия на науките,
 1974. 760 стр.; II (О — Я) — 1975. 780 стр.

«Болгарско-русский фразеологический словарь» А. К. Кошелева и М. А. Леонидовой (София — Москва, 1974), отраженный около 9500 фразеологических единиц (далее — ФЕ), стал первым большим переводным фразеологическим словарем славянских языков. Рецензируемый труд К. Ничевой, С. Спасовой-Михайловой и Кр. Чолаковой продолжил серию славянских фразеологических толковых словарей, начатую советскими и польскими лексикографами¹, и стал первым полным сводом болгарской фразеологии, материалы которой прежде были разбросаны в словарях, диалектных и других источниках. По принципам описания ФЕ этот труд более близок к опыту советских лексикографов, в то же время во многом отличаясь как по объему включаемого материала, так и по конкретному аппарату исследований.

Задача двухтомного словаря — подробно и системно описать богатую фразеологию болгарского языка всех пластов: разговорно-литературного, книжного и диалектного, раскрыть в ходе такого описания специфику ФЕ как особой языковой единицы и как можно полнее отразить все ее возможные модификации в языке и речи (I, стр. 7).

Решить такую задачу можно было лишь с привлечением конкретного материала из самых разнообразных источников. Авторы словаря — опытные лексикографы — опирались на пятимиллионную картотеку, в течение многих лет собираемую в Институте болгарского языка АН НРБ и являющуюся базой академических толковых словарей. На основе полной выборки из этой картотеки и описано 13 тыс. болгарских ФЕ и их вариантов. Материалом словаря поэтому служат в основном извлечения из болгарской художественной литературы, как классической, так и современной: в списке использованных источников (I, стр. 52—77) около 400 авторов, причем многие из классиков (Хр. Ботев, Ив. Вазов, Г. Райчев и др.) раскрыты почти полностью. Не менее широко представлены и материалы современной прессы, реже — научно-популярная литература и народное творчество.

Особую ценность представляет последовательное описание фразеологии, бытующей в живой устной речи. Причем авторы описывают не только просторечную и сленговую фразеологию, отраженную в использованных ими печатных ис-

точниках, но и включают в словарь свои собственные записи. Известно, что правомерность включения во фразеологический словарь литературного языка диалектной фразеологии часто оспаривается. Можно было бы назвать дискуссионным и интенсивное отражение фразеологических диалектизмов в данном словаре: в нем расписаны все известные паремологические сборники, диалектологические словари и даже разрозненные заметки этнографов. Дискуссия такого рода, однако, здесь носила бы схоластический характер, поскольку читатель словаря не может не видеть практической обоснованности постоянного отражения в нем диалектной фразеологии.

Во-первых, это оправдано демократическими традициями болгарской литературы, постоянно искавшей и находившей источники своего обогащения именно в народной, диалектной речи. Не случайно поэтому записи диалектологов и паремологов неоднократно перекрещиваются с литературной фиксацией.

Во-вторых, в словаре убедительно показано, что фразеологические диалектизмы, как правило, органично продолжают ряд трансформаций ФЕ, свойственных и литературной фразеологии, расширяют ее вариантыные потенции в речи. Особенно это характерно для лексической вариантности, специфика которой не может быть выявлена без обращения к диалектному материалу. Так, ФЕ *права с чужда пита* («майчин») *помен* «проявлять щедрость к другим, используя чужие средства; распорядиться чужими средствами как своими», широко известная литературному языку, как бы находит свое продолжение в диалектн. *права с чужда пшеница помен*, *права с чужд хляб бащин помен* и *права с чуждо жито помана* (II, стр. 182); а оборот *на (във) всяко гърне и пипер*, *на всяко гърне мешалка* и др. (I, стр. 616).

Наконец, именно отражение диалектной фразеологии, как кажется, и позволяет авторам представить фразеологический материал системно. Фразеологическая система болгарского языка благодаря обильному материалу живой речи описывается не фрагментарно, а как цельная, хотя и далеко не компактная и не однородная масса единиц, чрезвычайно мобильных как по структуре, так и по семантике. Максимализм авторов делает болгарский фразеологический словарь словарем полного типа, тезаурусом национальной фразеологии.

Естественно, что при таком подходе неизбежно возникает опасность перена-

¹ «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, 2-е изд., М., 1968; *St. Skogupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego*, I—II, Warszawa, 1967—1968.

сыщения фразеологического фонда литературного языка, принятию полноты может вступить в противоречие с необходимостью ориентироваться на норму литературного употребления. Тем более, что во фразеологии проблемы кодификации и функционально-стилистической характеристики языковых единиц особенно сложны, до сих пор не решены даже такие практические необходимые вопросы, как разграничение разговорной и просторечной или просторечной и диалектной фразеологии. Даже само понятие «диалектная фразеология» справедливо считается некоторыми учеными (например, А. М. Бабкиным) чрезвычайно неопределенным по своим границам объектом, смыкаясь с одной стороны, с литературной, а с другой — с просторечной фразеологией и даже составной терминологией. Опасность последовательного полного описания болгарского фразеологического фонда поэтому была велика не только в практическом, но и в теоретическом отношении.

Этой опасности, однако, авторам рецензируемого словаря удалось избежать путем тщательной разработки системы функционально-стилистических помет, строго нормирующих описываемые ФЕ и проводящих довольно четкие границы между основными пластами болгарской фразеологической системы. Эти пометы, с одной стороны, характеризуют ФЕ с точки зрения сферы их употребления (*книжн., ритор., диалектн., простореч., жарг., нар.-поэт.*), с другой — градуируют их по степени экспрессивной и стилистической окрашенности (*ирон., насмеш., пренебр., бран., укорит., зэфем., шутл., едг., груб., неодобр.*). При этом, учитывая разговорный характер большинства болгарских ФЕ, включенных в словарь, авторы справедливо отказываются от пометы *разг.* Такая двусторонняя функционально-стилистическая характеристика весьма точно определяет место той или иной ФЕ в системе литературного языка.

Словарная статья строится по единой схеме: 1) ФЕ в исходной форме, 2) указание на грамматическое употребление ФЕ (чаще всего характеристика ее сочетаемости с другими словами), 3) стилистическая характеристика, 4) толкование, 5) иллюстративный материал, 6) объяснение происхождения ФЕ, если оно известно², 7) демонстрация лексической вариантности ФЕ в виде отсылок на обороты, построенные по аналогичной структурно-семантической модели. Иные виды фразеологической вариантности широко отражаются в начале словарных статей.

При лексикографической разработке ФЕ, как известно, наиболее сложно тол-

кование их значения. С этой задачей составители успешно справились: семантическая характеристика ФЕ точна и исчерпывающая. Она дается с постоянным учетом грамматической соотнесенности, что позволяет выработать систему относительно унифицированных формул толкования, соответствующих той грамматической категории, к которой близка ФЕ. Учитывая семантическую осложненность ФЕ, авторы обычно избегают однословных эквивалентов и чаще всего прибегают к развернутым определениям фразеологического значения.

По этой же причине составители словаря принципиально отказываются от фразеолого-синонимической дефиниции: она, по их мнению, «не может быть ни точна, ни тем более достаточна для того, чтобы объяснить толкуемый фразеологизм» (1, стр. 43). Такой отказ, несмотря на объективную теоретическую посылку, не кажется оправданным. Использование фразеологических синонимов в одноязычных словарях играет обычно не только чисто «дефиниционную» роль, но и позволяет демонстрировать взаимодействие ФЕ одного семантического ряда, их «дополнительность» по отношению друг к другу³. Отказываться от демонстрации синонимических отношений во фразеологическом словаре — значит в какой-то мере жертвовать принципом системности, который во всех других аспектах описания (фразеологическая вариантность, омонимия, полисемия и др.) последовательно соблюдается авторами.

Необходимо отметить, что стремление описать фразеологию болгарского языка как единую систему, с учетом взаимоотношения ФЕ самых различных языковых пластов и их широкой внутрикомпонентной мобильности в речи, пронизывает весь словарь. Этой цели подчинен и специальный указатель, созданный на основе 40 тыс. карточек-отсылок (II, стр. 542—779), который значительно облегчает пользование словарем. Указатель построен по стержневому принципу: в нем приводятся все ФЕ на то или иное опорное слово. Он обеспечивает координацию всех фразеологических вариантов и позволяет более точно выявить их сходства и различия, а также унифицировать их семантические толкования. Трудно переоценить научную пользу такого указателя как для изучения собственно болгарской фразеологии, так и для сопоставительных штудий.

Системное описание болгарской фразеологии в словаре достигнуто как лексикографической практикой, так и глубо-

² К сожалению, исторический комментарий дается в словаре чрезвычайно редко, что обусловлено неразработанностью вопросов этимологизации славянской фразеологии вообще.

³ См. их использование для таких целей в «Фразеологическом словаре русского языка» и в кн. «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний» М. И. Михельсона, СПб., 1912.

ким теоретическим осмыслением материала. Разрабатывая принципы своего словаря⁴, авторы основательно изучили опыт советских и польских фразеологов-словарников, творчески переработали его и создали во многом самостоятельные и оригинальные фразеологические концепции. В обширном введении (I, стр. 11—49) изложены основные результаты их теоретических поисков: К. Ничева разработала проблематику объема и границ болгарской фразеологии, а также ее стилистической градации, С. Спасова-Михайлова — вопросы семантической характеристики, толкования ФЕ и фразеологической вариантности, Кр. Чолакова — проблемы структуры словаря, формы ФЕ и их грамматической характеристики. Раздел о сущности и характере ФЕ написан коллективно.

Определение ФЕ, как известно, до сих пор вызывает острые дискуссии, границы фразеологии сужаются или расширяются в зависимости от критерия, признаваемого тем или иным исследователем⁵. И в этом принципиальном вопросе авторы словаря исходят прежде всего из потребностей лексикографической практики. Их заслуга — в комплексном, а потому и объективном определении ФЕ: под фразеологизмом понимается сочетание, отличающееся постоянством своего состава и традиционной воспроизводимостью в речи, представляющее самостоятельную языковую единицу со своими специфическими признаками, имеющее сложную раздельнооформленную структуру и единое, целостное значение, которое характеризуется экспрессивностью (I, стр. 11). Особенно важным представляется включение экспрессивности в комплекс релевантных признаков ФЕ, подчеркиваемое и в других местах (I, стр. 12, 17, 31, 33). Фразеологическая экспрессивность во многом обуславливается спецификой значения ФЕ, созданной семантической трансформацией компонентов.

Семантике справедливо отводится особое место и в определении ФЕ, и в разнообразных характеристиках ее функционирования и развития (I, стр. 30—34). Она обуславливается как слитностью значений компонентов, так и структурными, функционально-грамматическими и лексическими качествами ФЕ. Объективен вывод об однородном, едином характере фразеологической семантики, обеспечи-

вающим как относительную устойчивость ФЕ при разнообразных трансформациях, так и ее тождественность в диахронической плоскости (I, стр. 34).

Именно сквозь призму семантической специфики ФЕ решается и вопрос о границах фразеологии. Так, вхождение той или иной лексемы в состав ФЕ ставится авторами в прямую зависимость от степени ее десемантизации (I, стр. 32)⁶. Границы фразеологии характеризуются в трех противопоставлениях: 1) «устойчивые сочетания: ФЕ», 2) «устойчивые фразы: ФЕ», 3) «слова: ФЕ» (I, стр. 13 и сл.). На их основе отсеиваются те виды сочетаний, которые не соответствуют принятому определению ФЕ, выработанным болгарскими фразеологами.

Особое внимание уделено аргументации исключения из корпуса словаря составных терминологических наименований, сложных союзов, предлогов и других служебных элементов, так называемых «фразеологизированных конструкций», или «синтаксических ФЕ», а также пословиц и крылатых слов (I, стр. 15—17). Такое ограничение фразеологического фонда кажется чрезвычайно удачным, поскольку позволяет отразить в словаре лишь однородные языковые единицы, имеющие тождественную функцию — прежде всего функцию эстетическую, экспрессивную.

Необходимо отметить, что авторы пунктуально и строго следуют принятым ограничениям в практической разработке фразеологии. Единственным исключением, пожалуй, является некоторая непоследовательность в отношении пословиц: паремнологическая традиция, особенно сильная в области диалектной фразеологии, заставляет авторов включать в свой сборник некоторые из пословиц, хотя это противоречит как изложенному выше пониманию ФЕ, так и очерчиваемым в словаре границам фразеологии. Так, непонятно, почему в состав словаря вошли такие пословицы, как *Бог високо, цар далеко. Господ високо, цар далеко. Цар далеко, бог високо* (I, стр. 97, 220); *И стените имат уши. И плет има уши* (I, стр. 460); *Лисица на лазар не излиза* (I, стр. 562); *Хитрата лисица влезе в стъпница с двете позе* (II, стр. 489) и мн. др. Ведь они не относятся к тому переходному типу между пословицей и ФЕ, который оговаривается в предисловии (I, стр. 17). Связь между пословицей и ФЕ несомненна. Но она лежит в диахронической плоскости. Синхронные, функциональные свойства этих единиц, однако, весьма различны.

⁶ Характерно, что авторы сознают и определенные трудности такой зависимости, иллюстрируя их показательным примером компаративной ФЕ *дрънкам като празна воденица*, где переносное значение глагола *дрънкам* дублирует фразеологическое значение сравнительной части.

⁴ Эти принципы были предложены к обсуждению более десяти лет назад (см.: К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова, Някоя въпроси във връзка с изработването на «Фразеологичен речник на българския език», БЕ, 4—5, 1963).

⁵ Полемический обзор этих дискуссий см.: Л. И. Ройзензон, Лекции по общей и русской фразеологии, Самарканд, 1973.

Тесно смыкается с проблемой границ фразеологии и проблема вариантности ФЕ. Она разработана в словаре очень глубоко. ФЕ признается вариантной по отношению к другим лишь при условии стабильности целостного фразеологического значения и грамматических функций (I, стр. 26). Объективно подчеркиваются трудности разграничения индивидуально-авторских и общепародных вариантов ФЕ (I, стр. 20). Словарь фиксирует все виды варьирования: структурное, словообразовательное, морфологическое и лексическое.

Последнему справедливо уделяется особое место, поскольку лексический вариант — самый сложный вид трансформации ФЕ. Теоретическую разработку этого явления (I, стр. 28—30), так же как и ее практическое воплощение, в целом можно признать удачными. Главным критерием вариантности и здесь остается единство образа, которое регулирует и грамматическую, и синонимическую обусловленность замены компонентов. Оправданно утверждение, что невозможно установить, какой лексический вариант в языке является основным — чаще всего удается констатировать лишь параллельность их образования (I, стр. 28).

Образуются лексические варианты ФЕ, по мнению болгарских фразеологов, двумя путями: 1) заменой синонимов и 2) метонимией, метафорой, ассоциативной связью. В первом случае семантика компонентов почти тождественна, во втором — речь идет лишь о «родстве понятий», о «близости в семантике» (I, стр. 29). Эта классификация кажется противоречивой, поскольку она основывается на двух различных критериях: констатация синонимичных замен исходит из синхронного признака, в то время как констатация метонимических, метафорических и ассоциативных — из признака диахронического. Ведь многие синонимические ряды, в том числе и ряды лексических вариантов ФЕ, строятся именно на метонимии или метафоре. Так, опорные компоненты ФЕ *празна катуна*, *празна чутура* «глухой человек, глупец», *празна ми е лелката* «я глуп» (II, стр. 183) образованы именно метафорическим путем, как бы продолжая менее коннотативную единицу — *празна глава* (там же). Вместе с тем лексема *глава* — *катуна* — *чутура* — *лелка* являются несомненными синонимами⁷. Следовательно, воспользовавшись предложенной авторами словаря классификацией, необходимо было бы данные лексические варианты причислить

сразу к двум ее рубрикам. По-видимому, если придерживаться строго синхронно распределения таких вариантов, то их можно разделить на полные синонимы (например, *празна катуна* — *празна чутура*), неполные синонимы (*празна глава* — *празна ми е лелката*) и тематически близкие лексемно-заменители [например, *муца* и *брьмбар* в ФЕ *влиза ми/влезе ми муца в глава* — *влиза ми/влезе ми брьмбар в главата* (I, стр. 171) «вбивать себе в голову какую-н. бесполезную, неразумную мысль или идею, которая кого-н. занимает, беспокоит постоянно»]. Такая классификация может показать те семантические пределы, в рамках которых лексическая замена остается фразеологической вариантностью, а не превращается в синонимию ФЕ.

Проблема разграничения лексического варианта ФЕ и фразеологического синонима вообще отличается большой сложностью. И неудивительно, что в некоторых конкретных случаях составителей словаря можно упрекнуть в непоследовательности: при этом разграничении иногда применяется чисто количественный подход. Так, аргументируя возможность перерастания вариантности в синонимию, авторы диагностируют синонимическое отношение оборотов *държа си езика* и *свивам си устата*, хотя сами при этом показывают целую цепь лексических замен, соединяющих эти ФЕ вариантными отношениями (I, стр. 29). В подобном случае, как кажется, нарушается принцип определения фразеологических вариантов, выработанный самими авторами: здесь сохраняются и единство образа, и тождество структуры, и аналогичность фразеологического значения. В таком случае необходимо было бы признать синонимичность и многих других ФЕ, у которых лексической замене подверглись несколько компонентов, но тождество образа и структуры сохранилось. Таковы, например, *брькам си нос* (I, стр. 109) и *пъхам си гагата* (II, стр. 233) «вмешиваться туда, куда не следует, нежелательно или проявлять неоправданный, ненужный интерес к чему-н.», связанные между собой цепью последовательных лексических вариантов: *брькам си гагата* и *пъхам си нос*, *бутам си* (*ера си*, *въирам си*, *завирам си*, *навирам си*, *муша си* и др.) *гагата* и *бутам си* (*ера си*, *въирам си*, *завирам си*, *навирам си*, *муша си* и др.) *носа* и под. Именно учет подобных последовательных замен, как кажется, дает возможность описать фразеологическую систему как систему моделируемую.

Проблема вариантности связана и с проблемой так называемого «стержневого», или «опорного», слова и тем самым со структурной словарной статьи. Исходя из посылки, что основной единицей во фразеологическом словаре служит ФЕ, а не слово-компонент, авторы решитель-

⁷ См.: Л. Нанов, *Български синонимен речник*, София, 1968, стр. 76. Слово *лелка*, правда, этим словарем в данном значении не отражено: оно, видимо, является окказиональным и специфичным для фразеологического употребления.

но отказываются от выделения каких-либо стержневых лексем (I, стр. 21—22). Все ФЕ даны в строго алфавитном порядке, причем поскольку они часто начинаются со служебных слов, то составителям приходится обращаться с ними как с морфемами, в результате чего границы слова лексикографически нарушаются. Вот, например, типичный порядок следования ФЕ в словаре: *за било и не било, забит кол, забих биглата, заблудена овца, за бога, за бог да прости, за бодка, забождам/забода нос* и т. д. (I, стр. 320—324). В результате компонентно далекие друг от друга ФЕ оказываются рядом, а такие близкие по образу, компонентному составу и значению, как *на кукювден* (I, стр. 636) и *кога <то> дойде кукювден* (I, стр. 524) «никогда», отражаются в разных частях словаря. Следствием такого расположения оказывается особая перегруженность, монотонность статей, начинающих на высокочастотные слова или морфемы.

Нельзя не видеть, что такой порядок подачи материала излишне формализован. Эта формализация выглядит особенно условной на фоне активной вариантности ФЕ, столь широко и последовательно отражаемой в словаре. Если границы и состав ФЕ мобильны (а эта мобильность нередко затрагивает и начало ФЕ: ср. *на дъното стоя и в дъното стоя, забит кол нямам — ни побит кол — побит кол, от света навън — вън от света*), то возникает сомнение в целесообразности столь строгой формальной фиксации описываемых ФЕ.

Можно было бы в такой формализации усмотреть серьезный недостаток, если бы болгарские лексикографы сами не устранили его. Это сделано с помощью уже упомянутого покомпонентного указателя,

который позволяет полностью восстановить лексическую взаимосвязь между ФЕ различного состава и представить все фразеологические варианты в комплексе. Этот указатель хорошо отражает и частотность того или иного «стержневого» слова в составе болгарской фразеологии, делая тем самым спор о месте его в словаре второстепенным. Более того — при наличии такого указателя невыгода формальной подачи ФЕ оборачивается даже определенным достоинством: она более прозрачно отражает внутрисинтаксические отношения ФЕ — прежде всего предложно-именную обусловленность фразеосхемы.

Собственно говоря, алфавитное расположение ФЕ в словаре совместно с покомпонентным указателем и демонстрируют основные системные отношения болгарских ФЕ. Чтобы такая демонстрация была полной, был бы полезен еще один указатель — идеографический. Он мог бы отразить и синонимические связи этого уникального фразеологического материала, а тем самым обеспечить его лучшее практическое использование как литераторами, так и исследователями.

Фундаментальный труд К. Ничевой, С. Спасовой-Михайловой и Кр. Чолаковой имеет большое значение как для болгарского и славянского языкознания, так и для общей теории лексикографической обработки фразеологии. Практический и теоретический опыт этого богатейшего собрания ФЕ будет еще внимательно изучаться и широко использоваться на материале фразеологии других языков. Словарь болгарских лексикографов — свидетельство глубокой заботы о своем литературном языке, живой народной речи и национальной культуре, отраженной в зеркале фразеологии.

Мокшенок В. М.

CONTENTS

The 60-th Anniversary of the Great October Socialist Revolution. **Articles:** Filin F. P. (Moscow). Soviet linguistics: theory and practice; Berezin F. M. (Moscow). Sixty years of Soviet linguistics; **Discussions:** Piotrovskij R. G. (Leningrad), Bektaev K. B. (Cimkent). Theory, experience and application of machine translation; Cernyšova I. I. (Moscow). Current problems of phraseology; Tadžiev D. T. (Dušanbe). Problems in the study of complex sentence; Miloslavskij I. G. (Moscow). Synthesis of word-cluster and derivative word; Potseluevskij E. A. (Moscow). The comparative degree and free use of adjectives; **Materials and notes:** Bogoljubov M. N. (Leningrad). Dating of Aramaic inscriptions of the Ašoki epoch; Raevskij M. V. (Tula). The present-stem in *-jan* and the status of lengthened consonants in West Germanic; Tarlanov Z. K. (Petrozavodsk). A systematic analysis of personal pronouns in East Lezghin languages; Eremina L. I. (Moscow). Poetics of psychologically motivated words; Rogožnikova R. P. (Leningrad). On word-equivalents in Russian; Bogatova G. A. (Moscow). The typology of the word and the historical lexicography; Pjurbeev G. C. (Moscow). Some syntactical innovations in the sentence of Mongolian languages. **Reviews.**

SOMMAIRE

À l'occasion du 60-me anniversaire de la Grande Révolution socialiste d'Octobre. **Articles:** Filin F. P. (Moscou). La linguistique soviétique: théorie et pratique; Berezin F. M. (Moscou). 60 ans de la linguistique soviétique; **Discussions:** Piotrovskij R. G. (Léningrad), Bektaev K. B. (Tchimkent). La traduction automatique: théorie, expériences, applications; Cernyševa I. I. (Moscou). Problèmes actuels de la phraséologie; Tadžiev D. T. (Douchanbé). Problèmes de l'étude de la phrase complexe à proposition subordonnée; Miloslavskij I. G. (Moscou). Synthèse de la combinaison de mots et du mot dérivé; Potseluevskij E. A. (Moscou). Le comparatif et l'emploi libre des adjectifs; **Matériaux et notices:** Bogoljubov M. N. (Léningrad). Datations des inscriptions araméennes de l'époque d'Ashoka; Raevskij M. V. (Tula). Les bases du présent en *-jan* et consonnes allongées du germanique occidental; Tarlanov Z. K. (Petrozavodsk). Essai d'analyse systématique des pronoms personnels en lezghien oriental; Eremina L. I. (Moscou). La poésie du mot motivé psychologiquement; Rogožnikova R. P. (Léningrad). Equivalents de mot en russe; Bogatova G. A. (Moscou). La typologie du mot et la lexicographie historique; Pjurbeev G. C. (Moscou). À propos de certaines innovations dans la syntaxe de la proposition des langues mongoles; **Comptes rendus.**

Технический редактор Т. Н. Сенченко

Слан» в набор 28/VI-1977 г.	Т-16806	Подписано к печати 8/IX-1977 г.	Тираж 7115 экз.
Зак. 2547	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Усл. печ. л. 14,0	Бум. л. 5
			Уч.-изд. л. 15,8

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10